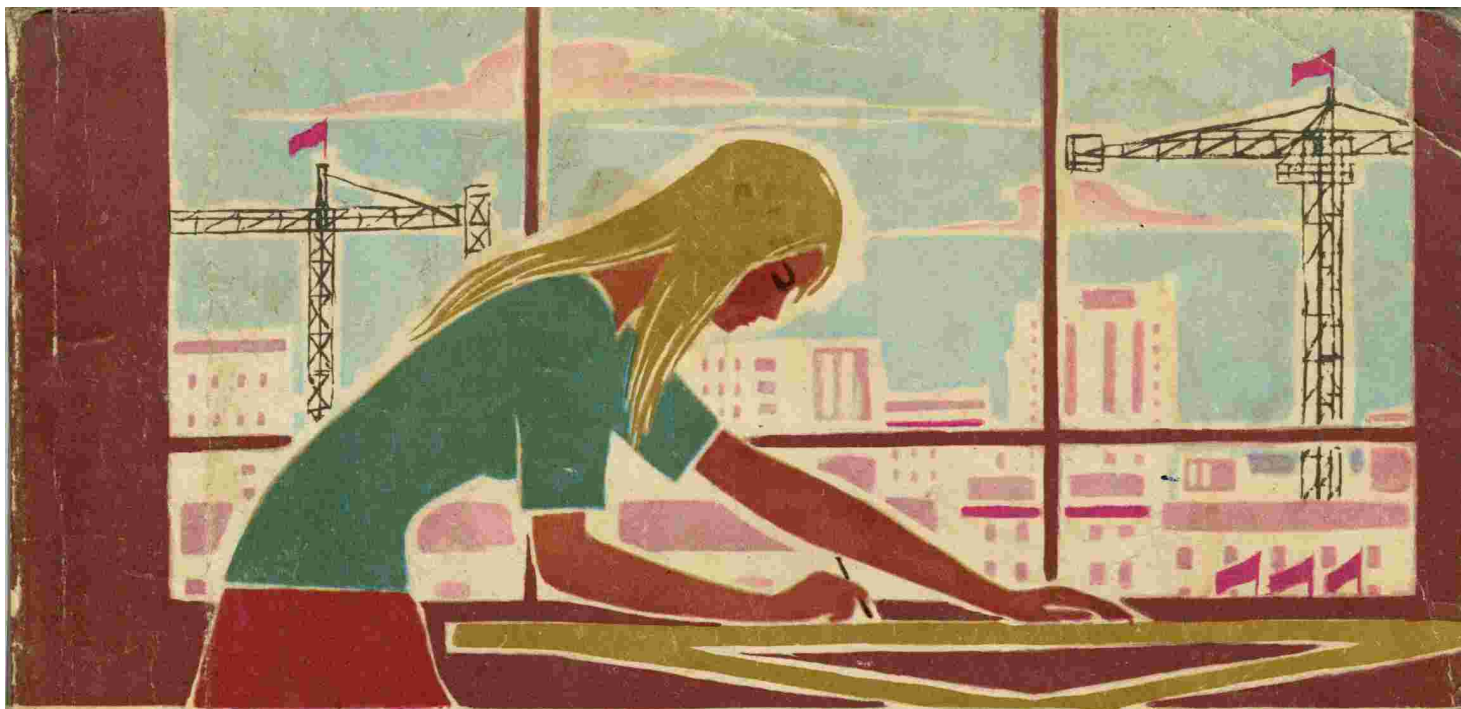


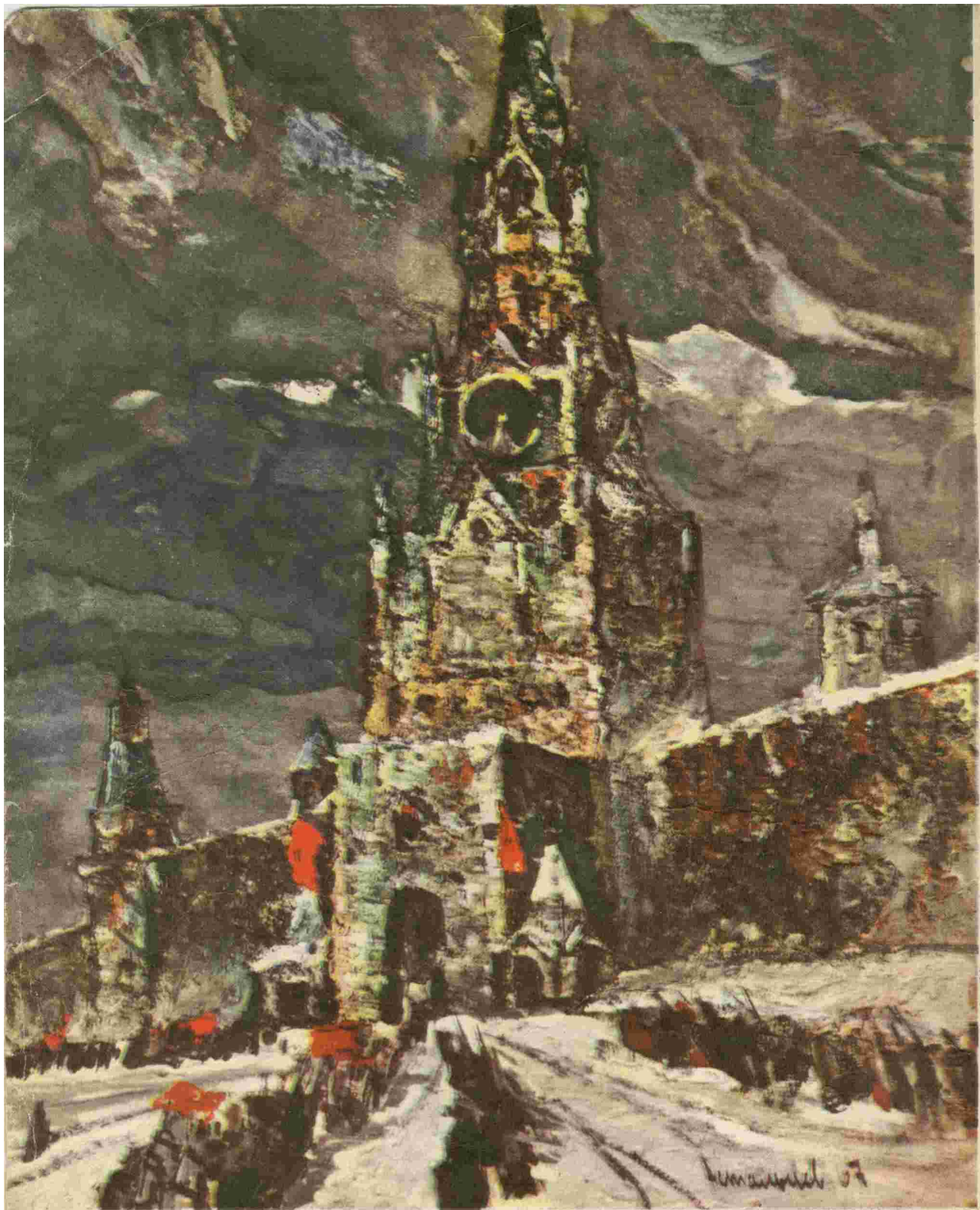


ЮНОСТЬ

*Литературный
Зн.*

11

1968



В. АСТАЛЬЦЕВ.

Октябрьские дни. Красная площадь.

4.11.72

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



*Слава комсомолу, награжденному
орденом Октябрьской революции!
Будем и впредь верны
заветам Ленина!
Будем всегда в авангарде
строителей коммунизма!*

год издания
четырнадцатый

11

(162)

НОЯБРЬ

1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

• ПРОЗА

- Владимир ОРЛОВ. После дождика в четверг. Роман. Окончание . . . 4
- Анатолий ГЕНАТУЛИН. Две недели. Рассказ . . . 40
- Борис ЛАСКИН. Папа и мама. Рассказ . . . 48

• ПОЭЗИЯ

- Илья ФОНЯКОВ. Из цикла «Путешествие к истоку» . . . 2
- Петр ВЕГИН. Петроградский экспресс. «Я все забыл — деревья и цветы...» . . . 36
- Андрей ДЕМЕНТЬЕВ. «Грустит ночами старый дом...». Зависть. «Поселилась древняя Помпея...». «Стареет поколение мое...». «Людей друг у друга крадут...». «Я помню первый день войны...» . . . 36
- Берды КЕРБАБАЕВ. Шестистишья. Перевод с туркменского Я. Козловского . . . 37
- Олег ДМИТРИЕВ. «Вот я иду, влюбленный...». Тишина подмосковных перронов. Псков . . . 38
- Глеб СЕМЕНОВ. Верховья. «Моя зима — мой снег — мои следы...». Бах . . . 39
- Агния БАРТО. В пустой квартире. Я люблю ходить вдвоем. Мы в парк идем . . . 54
- Евгений ХРАМОВ. В лесу. «Средь недель, друг на друга похожих...». «Я это в памяти берегу...». «Целую твои тоненькие руки...» . . . 65
- Александр КУШНЕР. Баллада. «Я был в тот вечер вкрадчивою тенью...». «Средь солнца, ветра и дождя...» . . . 66

• ПУБЛИЦИСТИКА

- Иван ШАПОВАЛОВ. П. ЮЗЮК и В. ЧЕРНЯВСКИЙ. П. ГУК. С. МОТУЗ. Так закалилась сталь. Страницы героической летописи . . . 55
- Р. РОМА. Тогда, в сорок третьем. Из записок актрисы . . . 62
- М. БИЯНОВА. Мы — ВиллюгЭС . . . 67
- Виталий ГУЗИКОВ. Сашкина Одиссея . . . 75

Алла ГЕРБЕР. Фанатики жизни . . . 80

Анастас МИКОЯН. Бакинское подполье при английской оккупации (1919 год). (Из воспоминаний.) Продолжение . . . 84

• К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. С. ТУРГЕНЕВА

Виктор ШКЛОВСКИЙ. Воздух Тургенева . . . 52

• ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Станислав РАССАДИН. На перекрестке традиций. О творчестве Кайсына Кулиева . . . 70

• ПОЧТА «ЮНОСТИ»

Михаил ПАРКАНСКИЙ. Ученик, найди учителя . . . 94

• НАУКА И ТЕХНИКА

Игорь ГУБЕРМАН. Власть и бессилие эмоций . . . 96

• ДЕБЮТЫ

Хайбула АЕДУЛГАПУРОВ: «Быть честным перед самим собой» . . . 101

• ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

* Варлам БАДЗАГУА. Самая древняя и самая молодая * В. ХАРУТО, В. РОЗЕН. Процесс палачей Бабьего Яра . . . 102

• СПОРТ

Елена СЕМЕНОВА. На санях с «русских гор» . . . 105

• «ПЫЛЕСОС»

Гр. ГОРИН. «Внимание! Вы забыли набрать цифру «2». Убийца . . . 108

На 1—4-й стр. обложки рисунок Э. РАПОПОРТ.

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52.

Тел. 255-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00491. Подп. к печати 25/X—1968 г.

Формат бумаги 84×108¹/₁₆.

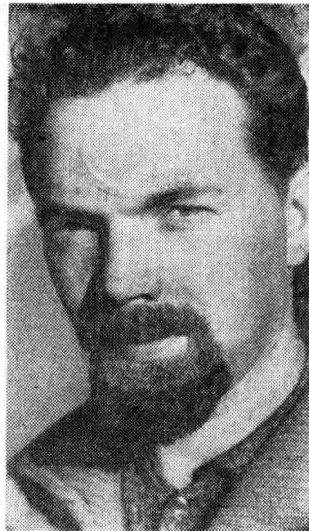
Объем 12,18 усл. печ. л.

17,62 учетно-изд. л. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 2035. Заказ № 2470.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина,
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Илья
Фоняков



ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКУ

Пролог

Признак возраста: все быстрее
Стал он, возраст мой, прибывать.
Я сегодня медлить не смею!
Я обязан там побывать!

В мире многим я озабочен,
И мои нелегки шаги.
Чтоб в Сегодняшнем был я точен —
День Тогдашний, мне помоги!

...Вижу: вечер, небо свинцово,
Петроградская даль строга,
И впечатан в паркет дворцовый
След солдатского сапога.

А на площади — тени сини,
И костров полыхает цепь,
Словно вдруг
из глубин России
Ко дворцу
прихлынула
степь!

В красном, грозном и зыбком свете
Люди греются у огня.
День кончается.

Все мы дети
Или внуки
этого дня.

Сотни раз ему отразиться
В каждом сердце, в каждой судьбе.
Только с этих дано позиций
Кое-что нам
понять
в себе.

Очень давняя весна

...И вот совершается чудо:
Как это бывает в кино,
Откуда-то вдруг

ниоткуда
К лицу
подплывает окно.

И вижу: за шторой туманной,
Косясь на красавиц кузин,
Не пьяный, а просто румяный
Кричит молодой господин:

Что смрадом и тлением тянет,
Что сытость туманит глаза,
Что грядет, вы слышите, грядет
В ближайшее время
гроза!

Кто скажет, что, ах, нарочит он!
Ни капельки не нарочит!
Он дерзок, умен и начитан,
Весна ему кровь горячит.

И взгляд его синий лучится,
И сладко,
пророча беду,
Знать, верить,
что если случится,
То, даст бог, не в этом году,

Что завтра по крайней-то мере
В присутствии,
строен и стар,
С привычным почтением
двери
Откроет брадатый швейцар.

И вкладов незыблема целость,
И Мертенс меха продает...
И это особую смелость,
Представьте, словам придает:

Что хочешь в застолье пророчь ты —
Мир прочен, крепки тормоза...
Но самое главное — то, что
Она-таки зреет —
гроза.

Сходка

Про то,
Что день рабочий тяжек,
Что жизнь, как серый шлак, сера,
Что у хозяев не поблажек,
А прав
Потребовать пора
И что в подвалах
Чахнут дети,
Как в скверах
Скудная трава,—
Про все про это
Есть на свете,
Оказывается,
Слова.
Не горький крик
С пивной отрыжкой,
Чтоб только душу отвести,—
Слова, печатанные книжкой —
Ну, как евангелие почти!

Всему название там, как надо —
Послушай, коли не читал:
«Эксплуатация»,
«Магнаты»
И всех главнее — «капитал».

...А кто присутствует на сходке?
Старик в очках, в косоворотке,
С фабричной, жесткой, жестяной
На подбородке
Сединой,

Да с ним ребята помоложе
В рабочей стираной одежде,
Да узкоплечий —
Из врачей,
Да паренек
Незнамо чей,

Да с чуть татарскими глазами,
Любитель спорить горячо,
Студент недавний,
Из Казани.

О нем услышится еще.

Демонстрация

Выходим колонной на площадь,
Тесним верхоконный патруль.
Ветрище над нами полощет
Полотнище
в дырках от пуль.

Безмолвные, слева и справа,
Трамвайные стынут столбы.
Мы полные гнева.

Мы правы.

Мы боремся.

Мы не рабы.

Сквозь низкие, мрачные тучи
Нам виден грядущего свет.
Планету мы сделаем лучше.
Мир миру,

власть нам,

бога нет!

А ты, сострадатель вчерашний,
Вздохатель о нашей судьбе,
Гуманный мыслитель домашний,
Ты рад или страшно тебе?

Братья

Вот где встретились мы снова,
Брат: в бою,
Лицом к лицу.
Слов не надо,
Нынче слово —
Неподкупному свинцу.

В этой выжженной, завядшей,
Богом проклятой степи
Я узнал тебя,
Мой младший,
В атакующей цепи.

Как в писанье: брат на брата!
Впрочем, если прямиком,
Уж не тот я, с кем когда-то
Бегал ты, брат, босиком.

Смог во многом разобраться,
Понял новые слова,
Есть, узнал я,
В мире братство
Выше кровного родства.

Как с тобою мы ни свичны,
Как там сердце ни болит,
Наступить ногой на личное
История велит.

Над убитым плачет ветер,
Сухо травы шелестят.

Комиссар сказал, что дети
Все поймут
И все простят...

Праздник

Все улицы красны-прекрасны,
Проспекты красны-прекрасны,
И лица людские прекрасны,
И речи словами красны.

Давно ли, скажи мне, давно ли
Хлестала нагайка сплеча
По красному цветку-крамоле,
Жандармскую кровь горяча?

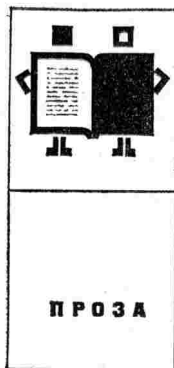
В дозволенном мире давно ли
Был красен лишь лик палача,
И год приходился неволи
На каждый аршин кумача?

И вот он встает над планетой
Цветеньем невиданных зорь,
Теперь он увенчан победой,
Теперь с ним попробуй поспорь!

Вчерашним хозяевам тошно:
На улицах — красная власть.
Сегодня крамольно все то, что
Вчерашней крамоле не в масть.

Пусть голодно, голо и где-то
Земля от разрывов дрожит —
Полотнищам красного цвета
Грядущее принадлежит.

Проходят колонны в легенду,
И трубы играют вдали.
Любимая! Красную ленту
По праву на грудь приколи.



Владимир Орлов

РОМАН

ПОСЛЕ ДОЖДИКА В ЧЕТВЕРГ

Рисунки Г. Завьяловой.

19
-Терехов, один человек желает поговорить с тобой.

Чеглинцев стоял перед Тереховым и улыбался. Дождевые капли бежали по его носу и щекам.

— Ты, что ли, этот человек?

— Лично товарищ Исполнов. Василий.

— Он тебя послал за мной?

— Послать он не мог, потому как мы с ним в разных организациях. А намекать — намекал.

— Поговорить захотел?

— Почему бы перед отъездом и не поговорить?

— Когда отъезд-то?

— Скоро. Говорят, вода в Сейбе начала спадать.

— Голова у тебя болит?

— Немного есть. А у тебя?

— Болит. Слушай, я здорово пьян был вчера?

— Ты? Да нет, не заметил. Танцевал, помню, отчаянно.

— Я сегодня с трудом встал. Вдруг увидел — солнышко. Луч на полу. Вот обрадовался! А потом снова дождь.

Они шли медленно, прогуливались, как курортники, дышавшие после обеда лечебным воздухом. Сопки стояли вокруг взлохмаченные и мокрые, и облака гуляли по ним.

— Слушай, — сказал Терехов, — ты все около Арсеньевой вертишься. Ты серьезно или просто так?

— Просто так: А тебе-то какое дело?

— Я ее привез. Хотел, чтобы жизнь у нее наладилась.

— А может, я и есть наладчик? Может, у меня намерения...

— Знаю я твои намерения... А ей сейчас очередной кобель не нужен... Иначе все по-старому пойдет... Я тебя прошу...

— Ладно, — сдвинул кепку на лоб Чеглинцев. — Если ты просишь... Я-то не обедею...

— Слово даешь?

— Ну, даю... Я вообще остепениться решил. Такие у меня планы. Доучиться хочу. Вы с Севкой в Курагине учились?

— Да. Сколько у тебя классов?

— Девять. Но я девятый хочу повторить. Все забыл. Придется по вечерам таскаться в Курагино.

— Вот и пришли.

— Валяйте поговорите, а у меня дела. Пока.

Исполнов сидел за столом в рыжей ковбойке, ворот расстегнул и морщил лоб. В комнате было жарко, печка пылела, черные портянки и ватные штаны были разложены на ней, ароматили воздух. Исполнов заулыбался, улыбка его, как всегда, была нагловатой, но и чуть заискивающей.

— Раздевайся, начальник, — сказал Исполнов.

— Слушай, — сказал Терехов, присев, — то, что вы гравий вместо бута наложили — это ерунда. Но вот зачем Будкову врать надо было, почему он так спешил, а? И как комиссию обвел?

— А зачем тебе все это знать?

— Из любопытства.

— Не темни, Терехов.

Исполнов смеялся, и было в его смехе злорад-

Окончание. Начало см. в № 10 за 1968 г.

ство, будто он заранее знал, к каким злоключениям и нервотрепкам приведет Терехова его рассказ, и это доставляло ему удовольствие.

— Он спешил, — сказал Исполнов, — и нас подгонял. Но с ним хорошо было. И нам он понятный, и мы ему. И за людей нас считал, не то что Фролов. Ух, это гад. Плетку бы ему в руки. А Будков ничего. Мы забывали, что он начальник, — так, плотник, и не самый последний. Все книжки таскал с советами, как лучше работать, учиться заставлял. Мы сначала думали — стилига, а потом он нам понравился. И не трус, это уж точно.

— Вроде бы не трус, — кивнул Терехов.

— Но обидчивый и своего не упустит. Однажды он мне выговорился. Как-то мы с ним выпили с устатку. Обидно, говорит, что такие люди, как Фролов, держатся. Время их прошло, а они все еще на постах. Ничего, говорит, мы свое возьмем, от нас толку будет больше. Я понял так, Фроловым начальство недоволено, плохо у него дело идет, замену ему ищут и его, Будкова, заметили. Вот и надо ему срочно себя проявить. А тут мост. И идея Будкова, и сам строит. Он и спешил. И переспешил. Бут нам только к названному в плане сроку обещали доставить. Срубы уже стояли, а камня нет. Отчет Фролов должен был делать, разное ему готовили, вот тут Будков и засуетился. В Абакане секут начальника поезда, последнее предупреждение ему делают, а тут приходит телеграмма от его прораба, молодого, толкового: «Мост раньше срока построен». Представляешь, как все шепчут друг другу: «Вот кого надо делать начальником поезда, я вам давно говорил...»

— Психолог... — проворчал Терехов.

— Это он мне тогда говорил. В общем, махнул рукой и велел засыпать гравием.

— А комиссия, — спросил Терехов, — была комиссия?

— А что комиссия? Была. Двое приезжали. Бревна пощупали, по мосту походили, обмеры сделали, еще чего-то проверяли. Сейба тогда маленькая, тихая была, кто бы мог подумать, что с ней такое случится. А Будков тогда перетрухал, — засмеялся Исполнов, и было видно, что вспоминать, как Будков трусил, ему приятно.

— Ты все знал?

— Знал, — загоготал Исполнов. Почему бы мне не знать? Премия я за этот мост получал.

— Купил тебя Будков?

— Не деньгами купил. Грело мне душу, что Фролова он свалил. В этом я ему помогал. Я работать умею, ты знаешь, только надо, чтобы и платили мне прилично, а Будков не скупился, нам кое-что приписал. Чтоб не ворчали... И потом он не раз прибавлял в бумагах нам всякие работы, чтобы мы довольны были...

— За рассказ тебе спасибо, — сказал Терехов. — Возьми-ка ты ручку и лист бумаги и изложи все по порядку. А?

— Да? — загоготал Исполнов. — Документ от меня получить хочешь? Нашел дурака!..

— За деньги ты не бойся, никто с тебя их не потребует... Уж если потребуют, то с Будкова...

— Ты меня не успокаивай. Я свои права и без тебя знаю. Ученый... Да и не затем тебе все это рассказывал.

— А зачем?

— А затем... Оба вы с Будковым у меня в печенках... Ненавижу вас... Волю бы мне...

Терехов поднялся.

— Мне все равно, любишь ты меня или к стенке готов поставить... Но на кой черт звал?..

— Просто так, позабавиться... Как вы с Будковым сцепитесь... Ты же теперь не успокоишься, ты теперь справедливости захочешь добиться...

— Нужен мне твой Будков! — сказал зло Терехов, он хотел добавить, что скоро сам уедет из Саян и ему все здешнее безразлично, но сообразил, что эта весть только обрадует Исполнова, и потому замолчал.

Исполнов смеялся, издеваясь над Тереховым, радуясь будущим сражениям своих недругов, и был противен Терехову, и страшноват ему, и непонятен.

— Ладно. — Терехов направился к двери.

Он старался быть спокойным: все равно он уезжал из Саян.

20

В конторе Терехова ждали гонцы с Сосновской стороны.

Севка, переправивший их через Сейбу, сидел в комнате возле шоколадного сейфа и курил. Лицо у него было земляное и равнодушное, и слова он выдавливал из себя с трудом. «Скорей бы спадала вода, — вздохнул Терехов, — дал бы я Севке сутки отоспаться. И сам бы прилег». Но это были только мечты, потому что гонцы, посланные Ермаковым, передали его предупреждение держаться и быть на стреме: вода могла пойти снова и к тому же из лесозаводской запани повывмывало лес, и теперь вырвавшиеся на свободу громадины летели к мосту.

— Не было печали! — выругался Терехов и собрался было сходить к мосту, но почувствовал неожиданное равнодушие к судьбе деревянной махины, то ли шло это безразличие от придавившей его усталости, то ли еще от чего. «А-а, катилось бы все к черту!» — выругался Терехов и решил пойти в общежитие, посидеть в пустой комнате полчаса, подремать полчаса или хотя бы побриться. Печку разжигать пришлось бы долго, и Терехов надумал обойтись холодной водой.

— Терехов, можно к тебе?

На пороге стояла Надя.

— Заходи, — сказал Терехов и отвернулся к окну.

— Я не буду раздеваться, я ненадолго, а у вас холодно.

— Как хочешь...

— Но плащ у меня мокрый, я его все же сниму...

— Сними...

— Ты занят, Павел?

— У меня перекур. — Терехов достал сигарету.

— Я тебе не помешаю?

— Нет.

— Но ты недоволен, что я зашла, да? Я вижу...

— Я просто устал, — сказал Терехов и встал.

Теперь, когда он, как бы поджидая кого-то, прохаживался от тумбочки и до стола, где он оставил лезвие, помазок и блюдо с холодной водой, он не смог удержаться и не взглянуть на Надю. И, взглянув на нее, удивился ее преображению: вчерашняя королева бала померкла и постарела, и даже нечто скорбное и вдовье проявилось в мокром, опущенном ее лице.

— Все мы устали, — сказал Терехов. И добавил, помолчав: — Снимай, снимай плащ. И не стой у порога.

Не было тепла в его словах, а была подчеркнутая

тая вежливость, и Надя могла это почувствовать, на Надином же лице была улыбка, робкая и отчаянная, но все же улыбка, и Терехов нахмурился.

— Я был вчера пьян, — сказал Терехов, — извини, если доставил вам с Олегом неприятность.

Он произнес это старательно и предложил сказанному Наде все, что между ними было вчера, все его свадебные слова, танцы, шутки и прочие выходки забыть и посчитать, что в ответе за них вовсе не он, Терехов, а хмель, сидевший в нем.

— Хорошо, — сказала Надя. — Я принимаю извинения.

Она опустила на стул у Севкиной кровати, опустилась тяжело, не глядя, и волосы почти закрыли ее лицо. Она сидела молча, и Терехов прохаживался молча от тумбочки и до стола, чувствовал себя скверно, а Надино присутствие злило его и казалось ему бессмысленным и противоестественным.

— Почему ты меня не гонишь? — подняла голову Надя.

— А почему я тебя должен гнать? — спросил Терехов.

Она заплакала, зашептала, всхлипывая:

— Что я наделала!.. Что я наделала!.. Терехов, какая я дура... Господи, что я наделала!.. Зачем я!..

Терехов остановился, теребил нервно щетину на подбородке, суматошное свое желание подойти к Наде, успокоить ее он подавил жестоко, молчанием своим предоставляя Наде возможность выплакаться, раз уж она не могла сделать это где-нибудь в ином месте.

— Почему ты меня не гонишь? — повторила Надя.

Терехов пожал плечами. «А, собственно, почему я тебя должен гнать? Меня уже ничто не волнует, и ничему я не верю, а этим слезам в особенности, к тому же мне все равно, и я сейчас спокоен, и есть ли ты, нет ли тебя, мне безразлично».

— Хорошо, — сказала Надя, вытерла слезы. — Я больше не буду реветь. Ты меня извини.

Терехов присел у окна, Надя была сбоку, за его плечом, и он на нее не смотрел.

— Ты знаешь, зачем я к тебе пришла?

— Нет, — сказал Терехов. — Не знаю.

А в голосе его было: «Не знаю, да и знать не хочу».

— Плохо мне, Павел, ох и плохо... Что я наделала...

Терехов обернулся, Надины слова, произнесенные, как ему показалось, чересчур нервно, его испугали, но он тут же понял, что не упадет она сейчас в обморок, не случится с ней удар, и он снова стал глядеть в оконное стекло.

— Ты меня не слушаешь, Павел?

— Слушаю...

— Ничего у нас с ним не выходит... Что я наделала!

— Ты пришла, чтобы я тебя успокоил?

— Не знаю, зачем я пришла...

— Ты сумасбродная девчонка. Сама это прекрасно знаешь... Через полчаса у тебя изменится настроение, и ты отругаешь себя за то, что приходила сюда.

— Нет, Павел. У меня не изменится настроение...

— Но ты хочешь, чтобы я тебя успокоил?..

— Ничего я не хочу... Я тебя люблю, Павел...

— Вот как? — удивился Терехов.

— Я тебя люблю...

— Зачем же тогда... — начал было Терехов, но осекся, почувствовав, что сказать ничего не сможет да и не узнает ничего больше. Сто раз ему казалось, что она любит его, сто раз он убеждал себя

в этом, сто раз надеялся на то, что она любит его, а все остальное обман, и потом сам разбивал свои надежды, теперь же, услышав Надины слова, увидав глаза ее, он стоял и не понимал, что ему делать, как быть, не понимал не разумом, а всем существом своим, как ему быть, как жить ему.

Надя смотрела ему в глаза и не отводила взгляда, и Терехов знал, что она сказала ему правду. Глаза ее были влажные, добрые, любимые, и нужно было подойти к Наде, обнять ее и целовать эти любимые глаза. Все, что было между ними раньше, все, что было между ними и другими людьми раньше, стерлось, все не имело ни малейшего значения, ничего и не было вовсе.

— Ты мне не веришь? — спросила Надя.

— Не верю, — сказал Терехов.

Он сказал это, и сам удивился глупой и дешевой лжи своих слов и их суровости, и в душе отругал себя, но стоял молча.

— Я понимаю тебя, — сказала Надя и опустила голову.

Плакала она или нет, Терехов не видел, наверное, не плакала, а просто сидела, отрешенная от всего, сжавшаяся, ставшая вдруг маленькой, и Терехов жалел ее, а подойти к ней не мог.

— Конечно, после всего, что случилось, после вчерашнего, — проговорила Надя, — ты мне не будешь верить...

— А ты сама себе веришь?

— Не знаю, — прошептала Надя, — ничего не знаю...

Она замолчала и снова как будто отключилась от всего, что было перед ней, силы истратив на признание. Терехов понимал, что Надя говорила искренне, ей на самом деле было плохо, и сейчас, сию минуту, ей казалось, что она любит именно его, Терехова, и никого больше, но эта несчастная минута должна была пройти, не могла не пройти, мало ли в Надиной жизни было таких сумасшедших минут. Обида уже забирала его, подсказывая Терехову мысли злые, он стоял и уверял себя, что никогда не сможет простить Наде вчерашнее, он считал теперь, что Надя предаст Олега и его собирает-ся сделать предателем названного младшего брата.

— Я все время уверяла себя, что люблю его, а не тебя, — сказала Надя. — И мне стало казаться, что я люблю его, а не тебя... А теперь все полетело...

— Да? — сказал Терехов.

— Ты мне можешь не верить, Павел, это твое право...

— Спасибо за это право...

— Или ты ничего не помнишь?

— Может, у вас начались семейные сцены? — сказал Терехов, понял, что сказал пошлость, но не смутился, потому что ему хотелось говорить Наде слова грубые и сердитые.

Но она, к его досаде, не заметила этих слов, а все думала о своем, что-то вспоминала или силилась вспомнить что-то важное для себя и для него, Терехова.

— Ты не забыл, Павел, как ты шел по дуге моста ночью, а мы ждали тебя на той стороне канала и я ждала?

— Было такое, — сказал Терехов, — ну и что?

— Ничего, — сказала, сникнув вдруг, Надя.

«Мало ли всякой ерунды случалось в моей жизни!» — подумал Терехов.

— Я тогда стояла мокрая, дрожала, платьишко носила тоненькое. Но какое небо было чудесное, ты помнишь? Мне еще казалось, что ты сейчас шагнешь с той волшебной дуги в небо. Я завидовала...



— Не помню я никакого неба, — сказал Терехов.

— А дня через два я сама прошла по той дуге над каналом, тоже ночью, не удержалась. Я думала, если пройду по твоей дороге, по ночной дуге над черной водой, я на самом деле смогу шагнуть в небо и искупаться в нем. Или смогу провести указательным пальцем свою полоску по небу, чтобы кто-нибудь подумал, что это упала звезда, и загадала желание, самое-самое, и оно бы сбылось. Но небо так и не стало ближе, и даже оттого, что оно не стало ближе, оно стало дальше. Понимаешь?

Почему так? Может быть, вообще нельзя приблизиться, ну хоть на шаг к своей мечте, к своей тоске, к своей радости...

— Очень может быть, — сказал Терехов.

— Почему, почему так, Павел? Почему люди такие глупые?

Терехов молчал, подчеркивая этим самым, что вынужден стать ее слушателем, а это дело нелегкое, но, впрочем, он выполнит требования вежливости, хотя сам в разговоре участвовать не будет и рассчитывать на его сочувствие Наде бессмыслен-

но. Желание подойти к ней и обнять ее теперь казалось Терехову слабостью, которой он будет еще стыдиться, теперь-то он был уверен точно, что Надин приход — минутное сумасбродство и вызвано оно или размолвкой с Олегом, или вечным Надиным брожением, которое было неясно ей самой, но всегда жило у нее в крови и, наверное, в ту влахермскую ночь потянуло ее на скользкие от росы стальные фермы моста, а от них до воды лететь было метров двадцать.

— Ты не думай ничего плохого про Олега, — быстро, будто спохватившись, сказала Надя, — он чудесный человек.

— Ну и прекрасно, — кивнул Терехов.

— Это я, наверное, такая...

— Ни о нем, ни о тебе я сейчас не думаю...

— Мне часто казалось, что это настоящее... Что я люблю его... Иногда я жалела его, но чаще я думала, что люблю его... А без тебя я никогда не могла... И с Олегом у меня началось из-за тебя... Ты этого не поймешь... Или мне на роду написано любить сразу двоих...

— Ничем не могу помочь, — сказал Терехов.

— В том-то и дело, что я люблю одного... И нынче стало ясно как дважды два... Дай закурить, Павел...

— Держи...

— Спасибо.

— А ты хотел бы, чтобы я была твоей сестрой?

— Нет, — сказал Терехов. — Не хотел бы.

— Я бы тебе штопала носки, стирала бы рубашки, а ты бы засматривался на моих подруг...

— Хорошо, — сказал Терехов, — сестрой так сестрой.

Раздражение шевелилось в Терехове, остренькими своими коготками перебирало ему нервы, как струны, и они позванивали, а Терехов все еще сдерживал себя, все еще думал, что спокойствием своим, ледяным своим равнодушием он смутит Надю, заставит ее выкинуть из головы минутный бред и ей же от этого легче будет.

— Павел, что же теперь делать-то, — зашептала Надя, — как же быть-то? А? Ну скажи?

— Все пойдет, как надо, — сказал Терехов, — успокойся и забудь про этот разговор. Все будет хорошо.

Надя вдруг встала.

— Как ты не поймешь, Павел, что все должно полететь к чертовой матери! Что все обман, ложь! Что я так не могу! И никому не нужен этот обман! Ведь ты же любишь меня...

Терехов молчал.

Надя подошла к нему, руки положила ему на плечи, была совсем рядом, и глаза ее, влажные, ждущие, были совсем рядом.

— Павел, милый, — зашептала Надя, — сделай что-нибудь... Ну придумай... Ведь так не может продолжаться... Я люблю тебя... Ну придумай что-нибудь... Увези меня, ну укради меня... Павел.

Терехов снял ее руки, сказал:

— Уходи!

— Куда же я пойду, Павел?

— Уходи! Успокойся и тогда поймешь, что любишь не меня, а своего мужа. Уходи.

— Мы с тобой, Павел, как в той сказке, — попыталась улыбнуться Надя, — как цапля и журавль, они все ходили свататься друг к другу по очереди...

— Я свою очередь пропущу. Уходи.

Она повернулась и пошла к двери, подняла голову, выпрямилась; прекрасная женщина уходила от

Терехова, и теперь уже навсегда, и он был рад тому, что она уходила.

И когда он понял, что она уже не вернется, не постучит к нему, он опустился на стул у окна и закрыл глаза.

Теперь он думал о нынешнем разговоре с Надей по-иному и сам себе стал казаться последним идиотом, и ему было стыдно и противно. «Неужели я говорил ей все эти глупые слова, неужели я выгнал Надю... старая сказка о цапле и журавле, а теперь моя очередь налаживать отношения... И я полплетусь, полплетусь... иначе не смогу жить...» Терехов ругал себя, вспоминал каждую Надину интонацию, каждый взгляд ее, и то ему казалось, что она любит его, то он уверял себя, что Надю привело минутное настроение, и в конце концов он убедил себя в том, что да, минутное настроение, но от этого ему не стало легче, а мысли вспыхивали еще мрачней, и явилась одна, холодящая, о смерти, и Терехов пытался вытравить ее, уйти от нее, но не смог. Он думал о том, зачем он живет и как все бессмысленно и страшно. И тут он понял, что страх его ушел бы и жизнь его не была напрасной, если бы у него росли сынишка или девчонка от этой длинноногой женщины, которую он любил и которая ушла от него навсегда.

В дверь постучали. Не дожидаясь ответа, в комнату вошел Уфимцев. Дело было поганое, еловые стволы, украденные водой из лесозаводской запани, уже врезались в мост, парням с баграми пришлось потрудиться. Терехов сказал, чтобы все шло на мост, он тоже придет, чуть-чуть отдохнет и придет, а то он себя неважно чувствует. «Хорошо», — сказал Уфимцев и ушел, а Терехов никуда идти не собирался. «Чтоб хоть снесло этот проклятый мост!» — выругался он. И вдруг подумал, что на самом деле хорошо бы снесло этот мост, тогда уж не поздоровилось бы Будкову, явились бы комиссии и вывели бы лодку на чистую воду. И Терехов твердо решил никуда не идти, он свое сделал, пусть все будет как будет, рабочий день кончился, и пошло все к черту.

Он закрыл глаза.

21

Мимо Нади бежали парни и кричали, что всем надо спешить к мосту. Долгожданные бревнышки, обещанные прорабом Ермаковым, приплыли-таки, заявили, немного их пока, но все еще впереди.

Честно говоря, Наде хотелось бежать к мосту, но она знала, что встретит там Олега и Терехова, а она не могла быть сейчас рядом с ними.

Но с Олегом-то ей все равно предстояло встретиться, ведь он был ее мужем как-никак, и, шагая к дому, она раздумывала, что и как сказать Олегу, но ничего не придумала путного, а решила, сославшись на усталость или на болезнь, залечь спать и, если сон не придет, притвориться спящей.

И все же она не легла, потому что все бежали к реке, как на пожар. Надю знобило, укутавшись в ватник, она уселась у окна, и прямо перед ней появлялись и исчезали людские фигуры. Разглядеть, кто пробежал, она не успевала, только однажды ей показалось, что мимо проскочил Терехов.

И тогда Наде стало жалко себя, совсем горько стало ей, и она заплакала, и ей было стыдно, что она ходила к Терехову, она вспоминала, как он разговаривал с ней и как выгнал ее.

Она искала в себе злость и обиду на Терехова, которые помогли бы ей, но ни злости, ни обиды ни на кого, кроме как на себя, не было. «Нет,— думала она,— я не смогу промолчать, да и не надо молчать, я все открою Олегу, а там будь что будет!»

Она вспоминала зимний день, добродушное новогоднее Курагино, с головой упрятавшееся в снег, зимний день, не такой уж и примечательный, но все же застрявший в памяти. День был тихий, медленные дымы стили над снегом, негнувшиеся и неподвижные, серебряными нитями аккуратно привязанные к небу. В тот день Надя ходила по Курагину ряженая, для шести поселковых ребятишек устраивали праздник, и ей была поручена важная роль, не Снегурочки, нет, без Снегурочки можно было обойтись, а Деда Мороза: за неимением способных мужчин пришлось согласиться на эту роль. Чуть подвыпивший начальник поезда Будков уговаривал ее долго и с шутками, по нему выходило, что не так уж плохо быть первым на станции Курагино Дедом Морозом, может быть, первым на всей трассе Дедом Морозом, угворил-таки, снял со своих плеч овчинный тулуп, вывернул его наизнанку, белым мехом наверх, и протянул Наде: «Держи, дедушка. Ребятишек весели». Потом Надя мудрила над костюмом, бороду приклеила отменную, и красный нос из картона получилась как натуральный. Елка стояла важная и толстая, а лампы на ней горели шестидесятисвечовые, крашенные, как пасхальные яйца. Ребятишки резвились, в Деда Мороза верили, хотя кто-то и заявил, что это не дед, а тетя Надя Белашова, нигилиста уняли, веселились и хотели от Деда Мороза слишком много. Надя катала их так, что спине стало больно, и прыгала рядом с ними с удовольствием, и пела про елочку, родившуюся в лесу. Дверь в красный уголок, в местный Колонный зал, была открыта, взрослые глазели из-за порога, а то и переступали через него, и Наде они не мешали. Однажды, когда она сказала ребятишкам: «А теперь мы с вами полетим в Антарктиду, где королевские пингины дежурят в моем доме отдыха»,— появился на пороге Терехов. Она не видела его лица, но ей казалось, что это он приехал из своей распрекрасной Сейбы и нашел ее. Терехов, видно, понял, что смутил ее, не хотел мешать детям веселиться и исчез, а она побежала за ним, не сразу, но побежала. Терехов шел впереди нее и не оборачивался. А когда он обернулся и с удивлением посмотрел на нее, вернее, не на нее, а на Деда Мороза, неизвестно зачем гнавшегося за ним, Надя увидела, что это не Терехов, а незнакомый ей человек, мираж, придуманный ее мечтой.

Ночью встречали Новый год, и Наде везло, ей объяснились в любви четверо; кто в шутку, а кто всерьез, и она хохотала, и танцевала, и целовалась с кем-то, а потом увидела грустного Олега и спросила, почему он такой грустный. «Сама знаешь почему,— сказал Олег,— потому что ты рядом». «Не надо, Олежка, зачем ты?» — заговорила она ласково. «Я не могу без тебя», — сказал Олег. «Не надо об этом, сегодня не надо,— упрасивала Надя,— а то я уйду». «Не могу, и все...» «Я уйду...» И она на самом деле пошла к выходу и боялась, как бы не заплакать на глазах у всех, и Олег шагал за ней, просил вернуться, а она молчала.

Она сидела в своей комнатухе долго, забравшись с ногами на постель, и думала о Терехове. Она не видела его уже полгода и была рада этому, так ей казалось до нынешнего дня. Он уехал, сбежал или, наоборот, поступил благородно, черт с ним, все равно тогда она решила, что ничего не простит ему и унижаться перед ним никогда не станет, ни перед кем не станет унижаться, и это ее решение было

похоже на клятву. Она выстрадала эту клятву, когда тянула, торопила машину, угнанную ею из сонного гаража, торопила ее домой из теплой таежной деревни, где так и не увиденная Надей женщина пригрела Терехова, торопила и молила машину послушаться ее рук и врезаться в кедр потолка, да так, чтобы металл искорежить напрочь. Она все еще помнила тогда, как стояла на подножке машины и как удивленный ею Терехов, выскочивший в дремоте на крыльцо, злился и советовал ей забыть детство.

Когда он уехал на Сейбу, она только тем и занималась, что забывала детство, а вместе с ним и отрочество и юность. Все ее прежние годы, все ее злоключения и радости невесты казались ей теперь наивными выдумками темной, провинциальной девочки. И она понимала, что пришла пора наверстывать упущенное; отставать от правил века, а может быть, от вечных правил, было бы скучно и неразумно, и она поблагодарила Терехова за науку. Серебристое платье свое, над которым она корпела ночь, перешивая материнское, Надя хотела выбросить, но все же пожалела, сунула на самое дно чемодана, как антикварную вещь из лавки древностей. При этом с удовольствием вспоминала слова своей подруги Светликовой: «Надо выкинуть весь этот хлам, весь этот комплекс тургеневских женщин». Светликова, дочь известной на фабрике ткачихи, осталась во Влахерме, а может быть, теперь жила в Москве, может быть, училась на переводчицу или стала ею, о чем и мечтала. Девушка она была неглупая и начитанная, вот только некрасивая. Впрочем, нынешняя косметика, нынешние способы укладки волос и усилия лондатонов, нынешние юбки и кофты помогли ей стать женщиной ничего себе, и парни, а то и мужчины постарше относились к ней со вниманием, тем более что она проповедовала свободу нравов. Она любила говорить об этой свободе, статистикой подкрепляла свои рассуждения о физиологии, еще в девятом классе под страшным секретом рассказывала Наде, как она стала женщиной. Надя ей поддакивала тогда вроде бы со знанием дела.

Она в ту пору рада была ступить по тропке своей подруги, но мешал доставшийся ей атизм — ее собственное глупое понятие о порядочности, и надо было, чтобы Терехов скорее вернулся из армии и освободил ее от невестинной обязанности ждать, которую она сама на себя взвалила. Впрочем, сколько бы ни крутилось вокруг нее парней, — а ее уж называли звездой Влахермы, — она все время думала о Терехове, и ей казалось, что она и вправду любит его, хотя она и забывала его лицо и его голос.

А когда он вернулся из армии, он ее и не заметил, прошел мимо, и не заметил, и в дверь не постучал, а она высматривала его из окна, видела повзрослевшего, хмельного и трезвого, и было ей горько и обидно. «Что, дочка, забыл он тебя?» — посмеивался отец. Надя кривила губы: «Подумаешь! Это я его забыла!» А сама надевала лучшее, что висело у нее в шкафу, и перед зеркалом вертелась подолгу, потому что надеялась, а вдруг он подойдет сегодня. Он увидел ее на девятый день на пыльной площади перед фабрикой и, как ей показалось, обрадовался и даже удивился ее преображению. А у нее ноги подкосились, но она выдержала, говорила небрежно и даже с иронией, как ни в чем не бывало. Постояли, поболтали и разошлись, мало ли и у нее и у него таких знакомых. «А, Надя, здравствуй, как я рад...» «А, Терехов, здравствуй, как я рада...»

Когда он говорил «до свидания» и уходил, с ней ничего не происходило, не случалось разрыва серд-

ца, и Надя твердила себе: «Видишь, я спокойна, мне все равно, а сегодня вечером мне будет хорошо с Левкой. Или с Сергеем...» Но приходило старое, и во всем и везде она видела Терехова и думала, хоть уехал бы он куда-нибудь, исчез бы с глаз навсегда, легче было бы...

А он и уехал. Взял и уехал в голубые Саяны. «Вот и хорошо, наконец-то», — обрадовалась Надя, но потом начала разыскивать карту Сибири и вроде бы в шутку стала подбивать Севку и Олега поехать в тайгу. Подбивать пришлось долго, но идея все же овладела массами, тем более что и Олегу и Севке тягостно было с их настоящими мужскими профессиями жить в текстильном городке. В Саянах поначалу ей было легче, Олеговы признания она старалась не принимать всерьез, отшучивалась или успокаивала его, но потом и ей стало худо. Терехов был рядом и все так же далеко, а она уже повзрослела и любила вовсе не изображение на экране. Но когда Терехов отправился на Сейбу и не попрощался с ней, не мог попрощаться, когда она упрятала свое серебристое платье на дно чемодана, она вспомнила слова Светликовой о комплексе тургеневских женщин и избавиться от него посчитала первойшей необходимостью.

И она принялась жить так, чтобы все смотрели на нее с завистью и пересчитывали ее парней, чтобы все знали, какая озорная, беззаботная, а потому и счастливая у нее жизнь, чтобы Терехов это знал. Но хотя нередко ей бывало весело, очнувшись, она понимала, что желание ее переступить черту вызвано отчаянием, а проклятый комплекс, над которым они со Светликовой посмеивались, вбит в нее и в этом ее несчастье. Сбежав со встречи Нового года, она сидела в своей комнате, а рядом молчал Олег, он умел молчать, и Надя подумала, что она, глупая, делает ошибку за ошибкой. Табунились вокруг нее парни, но вытеснить из ее души Терехова они не могли, излечить ее от Терехова не могли. А Олег мог. Он любил ее всерьез, и с ним все должно было быть только всерьез.

Ей стало казаться, что Олег ей нравится, противен Наде он никогда и не был, теперь же она думала «а почему бы и нет?» и в конце концов внушила себе, что любит Олега. И когда их бригады приказом переводили в Сейбу, она не огорчилась, не испугалась, она была спокойна, потому что любила Олега. Но стоило ей увидеть Терехова, как волнение снова поселилось в ней, и она начала торопить Олега со свадьбой, чтобы быть привязанной к нему долгом, цепочкой, кованной из того самого комплекса, к которому, по несчастью, она родилась предрасположенной. Олег видел, что она нервничает, и ему надо было взорваться, устроить сцену, отхлестать ее по щекам, но он молчал и грустил снова, то ли был не уверен в себе, то ли слов, каких надо, не мог найти. А она все торопила свадьбу, вчерашний шумный пир если не во время чумы, так во время наводнения, но вчера ей было хорошо и казалось, что все идет, как надо, и они с Олегом вместе надолго, и она любит его. Было здорово, когда танцевали при свечах, и когда Олег читал стихи, она гордилась им и смотрела на него с восхищением и любовью. Может быть, вчерашний день и был правдой...

В коридоре послышались шаги. Вошел Олег.

— Что с тобой? — спросил Олег.

— Голова болит, — соврала Надя, — ужасно болит.

— Лежи, лежи, — сказал Олег. — Я пойду. Носки переодену, мои промокли, и воды напьюсь, весь день жажда мучит.

Он подошел к ней, улыбался смущенно и виновато, протянул руку, чтобы погладить ее волосы.

— Не надо, не надо! — сказала Надя. — Когда болит голова, лучше не трогать.

Олег промолчал, а Надя лежала с закрытыми глазами, слышала, как он гремел табуреткой, присаживаясь, чтобы переодеть носки, слышала, как падали на пол его сапоги, как потом он лил из чайника воду и размешивал сахарный песок ложечкой и она звякала о стеклянные бока стакана. Все эти звуки ее раздражали, они были бесконечными, она лежала, стиснув зубы, и думала: «Я не выдержу этого, когда же прекратит он пить, и чмокать, и ложечкой крутить сахар, я не выдержу, мне противно слышать это, и сам он противен мне, господи, до чего я дошла!»

Она открыла глаза. Олег стоял у порога в нерешительности.

— Иди, иди, — сказала Надя, — я попробую уснуть.

— Хорошо, — кивнул Олег и открыл дверь.

— Да, — сказала вдруг Надя, — я вспомнила... Твоя мать любила моего отца. Может быть, и сейчас любит... Ты не знала?

— Нет, — замер на пороге Олег.

— Дважды я слышала, как приходила к отцу твоя мать, второй раз после его тюрьмы... А он отвечал ей, что однолюб...

— Почему ты рассказываешь это сейчас?

— Не знаю... Вспомнила, и все... Иди, я попробую заснуть.

Он ушел молча, а Надя лежала и думала о том, что она подлая женщина, что вместо слов о своем отце и матери Олега ей надо было сказать Олегу правду и уйти от него, над сумасбродным родом Белашовых висит проклятие, ее отец никак не мог поверить, что Надина мать погибла, он выгонял из дома Олегову мать, красивую и властную женщину, и все твердил ей, что он однолюб, однолюб, однолюб и в их роду все однолюбы. Неужели и ей достался в наследство драгоценный подарочек и потерять она его не сможет, как черепаха свою костяную коробку?

22

В коридоре Олег остановился.

Портянка, намотанная поверх носка, сбилась и мяла пальцы.

Олег подумал, что он чересчур волновался в присутствии жены и спешил, а теперь придется стягивать сапог.

В коридоре было темно, и он вышел на крыльцо. Олег всегда мучился с портянками, не раз дело кончалось волдырями, и теперь он старательно обтягивал фланелью ногу и мечтал о сухом дне, когда можно будет надеть мягкие модные туфли.

«Надо же, — думал Олег, — мать-то моя... Надя не могла сказать неправду, она-то знала, видела... А мать? Вот так да... А отца моего она любила? Наверное, да. Но он уже девятый год лежал в украинских степях... Теперь понятно, почему мать так нервничала, с такой яростью пророчила мне несчастья с загадочной для нее девчонкой из белашовского рода. А может быть, мать была права?» — обожгло его.

Он стал думать о том, что его больше взволновала не суть рассказа о матери, не открытие ее любви, а сам факт Надиногo рассказа. «Почему именно



сейчас открыла она мне давний секрет,— подумал Олег,— почему именно сейчас? То ли расстроить меня хотела, то ли намекнуть, что и у нас, как и у наших родителей, ничего не получится? И глаза у нее были испуганные и брезгливые, когда я хотел погладить ее волосы...»

И он снова уверил себя в том, что она его не любит. Значит, раньше он разрешал себе заблуждаться, потому что так было легче жить. До поры до времени, до сегодняшнего дня, до нынешней минуты, до Надиных брезгливых глаз. Что делать дальше? Разойтись?.. А что подумают вокруг, будет ужасно стыдно...

И он понял— в приключившейся с ним истории его будет тяготить не только то, что у них с Надей жизнь не получится и им придется разойтись, но главным образом то, что их развод так быстро, после вчерашней свадьбы, будет выглядеть смешным и его, Олега, никто не поймет, но все осудят и с удовольствием изберут мишенью для острот.

Олег остановился. Он чувствовал, что приходит столь знакомый ему приступ копания в душе, или, скорее, самобичевания, и он знал, что приступ этот ничем не предотвратишь, да и не надо этого делать, потому что после него станет легче.

У моста могли потерпеть сейчас и без него, все равно он будет только мешать занятым, умеющим все людям, и никто не заметил бы его отсутствия.

Он обернулся, увидел слева пенёк, по коричневому срезу которого прыгали капли, и сел на этот пенёк.

Он снова ощутил всю усталость последних дней, последних лет и удивился, как он это выдерживает. Запретная, потаенная мысль о том, что ему нужно уехать отсюда, потому что кесарю — кесарево, а он рожден для иной жизни и в той жизни он может принести людям больше пользы и быть честным, мысль об этом шевельнулась в нем, но он не стал ее развивать.

Он подумал, что как это ни странно, как он ни любит Надю, будет лучше, если она уйдет от него. Жизнь с ней, ответственность за эту жизнь будут тяготить его и будут ему не по силам. Ему уже и сейчас не нравились его обязанности и его постоянное беспокойство за Надю и за ее отношение к нему, а предстоящие заботы и подавно пугали. Кроме всего прочего, он снова почувствовал сладость грусти, благополучие разочаровывало его, оно требовало не слов и не грез, а действий, он же был неумехой, по-влахермски, и ему доставляло удовольствие чувствовать себя обиженным, даже несчастным, страдающим ради других; в дурманящие приступы тоски он часами рисовал себе картины будущих реваншей и будущих самопожертвований, и в картинах этих он был великодушен и справедлив. «Вот тогда все узнают... Вот тогда все пожалеют...» Он и сейчас чуть было не принялся раздумывать о

том, кем он станет, и что совершит, и как пожалеет Надя, встретив Олега лет через пять, и как будет кусать локти в раскаянии.

«Опять за свое! — раздраженно сказал он себе. Это — детство. Не пора ли мужчиною стать! Лучше разберись, почему ты всего боишься, почему находишь удовлетворение в сочиненных воображением картинах очищенной жизни, а реальная жизнь тебя пугает. Почему ты, как жалкий гоголевский Шпонька, боишься женщины и уже заранее готов потерять ее, чтобы о ней же и тосковать потом? Почему ты такой неспособный к делу человек?»

Выложив это, он и не думал спорить с самим собой, наоборот, он стал вспоминать те эпизоды из своей жизни, в которых, как он считал, им двигала осторожность, а то и трусость или просто желание отделаться от тяготившего его занятия.

Он вспомнил снежный поход, куда сам напросился, потому что надеялся переломить себя и быть, как все, но на второй же день замерз и, продрогнув, потерял веру в то, что они выберутся, выплзут из проклятой белой ловушки, он скис и ходил среди горячившихся десантников унылой, сгорбившейся тенью.

Без всякой связи со снежным походом вспомнил он и позавчерашний случай с анекдотом, который рассказал ему его товарищ по бригаде Коротков. Анекдот был смешной, в общем, и, слушая его, Олег смеялся искренне. Но тут же стал оборачиваться по сторонам. Потом ему хотелось рассказать этот анекдот, но ведь люди разные, и кто знает, что там у них на душе, а потому Олег всюду говорил, что Коротков рассказал ему смешной анекдот, но у него такая особенность, он не запоминает анекдотов, вот если Коротков напомнит... И Коротков начинал рассказывать, а Олег оставался в стороне, и в случае чего пожурили бы Короткова, а Олега бы и не называли.

Был год, когда он дал слово очищать революцию от фальши и скверны. Но потом ребята сказали ему, что он «революционер чувства», а нужны неспешные, но и нелегкие дела, он, обидевшись поначалу и хлопнув дверью, все же согласился с этими словами, почувствовал себя прежним, неспособным на многое человеком, тогда он и дал клятву, вспомнив чеховские слова, сделать все, чтобы выдавить из себя раба. Случались моменты, когда он был доволен собой и никому не завидовал, но чаще приходилось заниматься самобичеванием, а это был для него верный путь обрести душевное равновесие. Но особенно пугала Олега и свербил ему душу постоянная боязнь, что в один прекрасный день люди, относящиеся к нему с уважением и с приятностью, разглядят в нем голого короля и выгонят к чертовой матери, посмеявшись.

Ему стало жалко себя, и он представил, как, обиженный и разбитый, он уедет с трассы, как будут потом жалеть о нем все на Сейбе, а Надя особенно, как узнают сейбинцы из газет или просто из писем о его героической жизни где-то вдали от них и как они будут раскисать в своей жестокости и слепоте.

«Опять, да? Опять!» — взвился Олег.

И все же он немного успокоился, напомним себе о том, что не один он виноват в бескрылой своей жизни, и ноющая неприязнь к матери, к солнечным, но пугливым годам детства всколыхнулась в нем. И от этой ненависти ему стало легче, он снова встал в кучу своих сверстников и был так же всемогущ, как они.

Теперь Олег знал, что через минуту или через

две он пойдет к мосту, в самое пекло ночной осады, к ребятам, которых любит и которым готов отдать все, он встанет с ними рядом и отстоит мост, все выдержит, пересилит себя, и это будет первым его шагом к новой жизни. Он уже не раз давал себе слово начать новую жизнь или хотя бы подготовить себя к ней, но все это, как он считал теперь, были попытки несерьезные, а нынче он на самом деле шагнет в новую жизнь, и все будет хорошо, все встанет на свои места, и с Надей у них все наладится.

23

— Сапоги у тебя не дырявые? — спросил у Олега Рудик.

— Нет.

— А у меня дырявый левый сапог. И дырочка-то всего ничего, как от гвоздя, в нее вода заходит, а обратно — шиш. И хлопает и хлопает. Дай-ка я о тебя обопрусь.

— Возьми у меня левый сапог, — сказал Олег и наклонился с готовностью.

— Зачем, зачем! А ты?

— Я только пришел, — великодушно сказал Олег, — а вы тут давно крутитесь. Как-нибудь выдержу.

— Нет, нет, у тебя и сапог-то больше размера на четыре. Нет, нет, и не думай. Слушай, прекрати. Я сейчас достану.

Олег смотрел Рудiku в спину, и ему было жалко, что Рудик отказался от его помощи, и все же Олег радовался собственному великодушию и готовности к жертвам ради других.

Оглядевшись, Олег удивился спокойствию людей, оберегавших мост, и тишине водяной осады. Люди были молчаливы, и их нынешние враги — прижавшиеся к воде, упрямые, темные стволы — были тоже молчаливы. Худые багры или просто ободраные наспех стволы молоденьких деревьев без всякого почтения прыгали на спины сытых намокших великанов и толкали их, погоняли их, учили их уму-разуму, как нашкодивших недорослов, за шиворот тащили к пенистым проймам между бревенчатых мостов.

— Видишь, Олег, сапожок-то ничего! Понял!

— У тебя, — сказал Олег, обернувшись, — оба правых.

— Наше дело правое, — сказал Рудик, — мы победим. — А чего ты стоишь? — спросил он тут же. — Пошли.

— Куда-нибудь, где погорячей, — обрадовался Олег.

Рудик тянул Олега за рукав к мосту, как будто минуту назад Олег сопротивлялся и только силой можно было заставить его идти к воде. Олег был благодарен ему, потому что, не явись Рудик, проболтался бы он без дела долго. Бригад тут не было, все смешалось, никто никем не руководил, да и не надо было руководить: все знали, зачем они здесь, как знали и то, зачем отправились в Саяны. Олег шагал, узнавал своих молчаливых товарищей, кивал им, улыбаясь, словно не видел их долго, и они улыбались ему, вспоминали, наверное, вчерашнюю свадьбу.

— Сюда, сюда, — сказал Рудик, — Тут я стоял. И ты тут пристраивайся. Вот палки валяются, хватай...

Здоровые, неошкуренные жердины с отбитыми сучками лежали на траве, порядочных, всамделишных багров было в поселке мало, пришлось в суматохе губить молоденькие деревья, времени не оставалось на сожаления. Олег выбирал себе шест нетерпеливо, но все же долго, а Рудик уже тыкал в летящие стволы, ворованные Сейбой из лесозаводской запани, ржавым костылем, вбитым в жердину да еще вдобавок сверху прикрученным проволокой.

Шест, выбранный Олегом, был тяжеловат и не слушался его рук, короткая рогатина шеста соскальзывала с мокрых спин бревен или только чуть-чуть утапливала темные громадины, но они тут же выныривали и летели дальше, и ребятам, стоявшим ближе к мосту, приходилось толкать их усердно к пенистым проймам. Олег поначалу огорчился, но потом решил, что сразу ремеслу плотного не научишься, а кто-нибудь исправит его неловкость — людей стоит за ним много. Сейба была в его сапоги, холодила ноги и пахла травой и листьями смородины; за спиной Олега темнел откос уцелевшей насыпи, парни, теснившиеся ближе к мосту, вынуждены были шагнуть в воду глубже, и Олег завидовал им. Он старался перехитрить воровавшийся в его руках шест, подчинить его себе, чтобы, как пальцами своими, деревянными и гигантскими, прихватывать бревна и тянуть их к стрелю промоины. И когда он рогатиной шеста ловко ухватился за обрубок сука, когда он вцепился в загнивший невиданный сейбинского зверя и отволол его прямо к багру своего соседа справа, он обрадовался и закричал Рудику:

— Видишь, как мы их! Мы еще им покажем!

Рудик закивал и ткнул ржавым костылем в сосновый бок.

А Олег все еще радовался своей удаче, он знал, что теперь он будет орудовать ловко и умело, спуску тяжеленным стволам не даст, повернет их на путь истинный. И действительно, все у него пошло хорошо, редкие бревна ускальзывали теперь от него.

И так как дело у него пошло, Олег успокоился и стал поглядывать по сторонам. Бревен было все же не так много, и шли они не густо, деревянное их стадо разбредлось на водяной дороге. А потому люди успевали оберегать ряжи да еще покуривали по очереди. Сейбинские жители стояли на берегу: на откосах насыпи, на горбине моста, стили в воде перед крайними ряжами, живые волноломы, покрепче бетонных, и Олег подумал, что там, возле ряжа, расположился Терехов, и ему самому захотелось перебраться на то боевое место. Но пока он все отправлял бревна к соседу справа, и занятие это стало надоедать.

— Что-то мало их, — сказал он Рудику. — Так уснешь.

Рудик покачал головой, протараторил, что это все цветочки, а надо ждать худшего, пока прутся, наверное, самые нетерпеливые бревна, что будет, если явятся целые косяки этих мокрых чудищ. Пока он говорил, одно из бревен, неловко направленное шестью, ударилось о третий ряж, и звук столкновения был неприятен. Еще Рудика беспокоил береговой залив слева от моста, куда хитро затягивало бревна, и они прибивались там к берегу, приживались там на время; Сейба собирала в заливе у излучины резервный отряд, чтобы в случае чего бросить его в бой.

Олега они не пугали, осада казалась ему уже спокойной и нудной. Прошел час, второй, третий, потихоньку подбиралась темнота, а Олег все стоял под дождем и толкал вперед и вправо сосны и

ели. А бревна все летели и летели, и не было им конца.

Олег уже чувствовал, как портянка снова натирает ему пальцы, как горят ладони и ноет спина, и ему было не по себе, и он боялся, как бы снова не забрало его ненавистное состояние апатии и безволия.

«А какие молодцы вокруг, — думал Олег, — тянут свою лямку, не ропщут и не устают, и уж который час подряд, вот люди!» Он сообразил, что его молчаливый брезентовый сосед справа не кто иной, как Исполнов, а за ним, наверное, Соломин. Терехов же был вовсе не в воде, а на мосту, секунду назад он распрямился, крикнул Чеглинцеву и Севке, чтобы включили свет в своих машинах; и вспыхнули фары, и даже от их жидких желтых лучей, посеченных дождем, стало веселее и спокойнее.

Но бревна все летели, и по всему чувствовалось, что стоять тут и тыкать шестом черные спины сосен и лиственниц придется всю ночь и весь завтрашний день, и весь июнь, и весь июль, и весь август, и сентябрь, и только в октябре дремотный дедмороз постучит по сопкам своим посохом-холодильником и распушит сейбинских бедолаг по домам. В деловитом мужицком молчании своих соседей Олег угадывал готовность мерзнуть, мокнуть и напрягать мышцы, сколько потребуется; даже уволившиеся Исполнов и Соломин, которых он презирал, никуда не торопились, а погоняли, погоняли бревна. «Надо и мне выдержать во что бы то ни стало, — думал Олег, — а иначе я...»

И вдруг на мосту или впереди в кустах кто-то закричал испуганно: «Плот несет!» И все выпрямились, с тревогой выглядывали, что за подарок катит к ним Сейба, и Олег забыл о шесте, смотрел вперед и видел там что-то большое и черное, плот ли это был или что еще, понять было трудно, но при виде этой черной массы, черной ударной силы Олег обрадовался: наконец-то наступали горячие минуты!

Севка пробежал к своему трелевочному, развернул его. Свет фар был слаб, дождь гасил его, но желтое пятно поймало черную массу, и стало ясно, что это не плот, а сгусток бревен и в нем, может быть, десять плотов.

На мосту, на берегу, на насыпи зашумели, засуетились, будто знали уже, что предпринять. А косяк между тем застрял, зацепился, наверное, краями за деревья и кусты у берегов или был так неуклюж, что на кривом повороте своим Сейба не могла его подтолкнуть, вывести на самую стремнину, а лишь со злости выбивала из него бревна, как спички из коробка, и гнала их к мосту.

Олег вытащил свой шест из воды и побежал к мосту, он знал, что его место теперь там, он был разгорячен и, поскользнувшись, упал на насыпь, набрал в сапог воды, но выливать не стал, он чувствовал, что совершит сейчас что-то хорошее и важное.

Но он не успел добежать до моста, когда тревожные крики остановили его, и он замер на насыпи, поглядывая на Сейбу. Он видел, что от косяка оторвало сгусток бревен, понесло его неожиданно влево к берегу так быстро, что через секунду бревна эти могли вылететь на травяной берег, но тут бревна развернуло, и, замерев на мгновение, они понеслись прямо на мост, прямо на крайний левый ряж. Все застыли в растерянности, сознавали неотвратимость удара во сколько-то там метровых стволы. Олег готов был броситься в воду, чтобы встать перед ряжем, но что он мог один, что могли сейчас шесты и багры, толкачи и погонялы. «Машину!» — услышал он сзади. «Машину!» Рванулся по мосту и Чеглинцеву

Терехов, закричал что-то Чеглинцев, подскочил к машине, она завелась сразу, так ему повезло, и, дверцу не захлопнув, двинул самосвал вниз. Машина сорвалась с откоса с прерывистым, истеричным визгом, словно захлебываясь водой, проползла, проплыла в Сейбе и утихомирилась напрочь перед самым ряжем.

И еще какое-то мгновение Чеглинцев был в кабине, высунув голову из открытой дверцы справа, как капитан не желая уходить с гибнувшего корабля, но тут в самосвал врезались могучие бревна, глухо били по железу, мяли, коржили его, сдвинули перед машины к мосту, а большего сделать не смогли и, успокоившись, стали обходить машину и сворачивать к промоине и ко второму ряжу. Чеглинцев выскочил из воды, из кабины, вскарабкался в кузов и, подхватив брошенный ему багор, стал со злостью отгонять страшил, корживших его сокровище.

Они тыкались тупыми своими мордами и скользкими корявыми боками в бревна второго ряжа и до третьего добирались, но скорость их была сбита и сила заглушена, а парни на мосту успокоились, расправлялись с ними ловко и умело.

Теперь к мосту летели одиночки. Чеглинцев и двое парней из кузова отгоняли их от машины, но иногда они все же ударяли по металлу, и Чеглинцев с досады громко ругался.

Потом пошли еще косяки, и кому-то пришла в голову мысль лезть в воду и заранее гасить скорость бревен, толкать их сгустки вправо, чтобы легче было ребятам на мосту управляться с ними. Добровольцы с шестью поспешили спуститься в воду, и Олег побежал неуклюже; он не мог упустить этой минуты.

Рядом он видел Терехова, Севку, Тумаркина и еще многих: лица у всех были мрачные; всем эта волянка надоела еще больше, чем Олегу, а он, наоборот, ощущал сейчас непонятный прилив сил и яростное желание воевать с Сейбой.

Терехов уже шагал в воде, шест нес у груди, как бель в детстве, когда собирался переплыть канал, и Сейба скрыла его сапоги, добралась до пояса, но свалить не могла. Рядом с Тереховым остановились еще парни, а Олег не смог удержаться и пошел, покачиваясь, дальше, чтобы встать первым в их лихом отряде. Он брел долго, напролом, и смеялся над Сейбой, и успокоился только, когда оказался метрах в пятнадцать впереди Терехова и его парней. Теперь Олега шест первым вступил в бой с бревнами, часто промазывал, но это было неважно, главное, что он, Олег, не боялся Сейбы, ничего не боялся, стал хозяином и с ребятами, с работящими мужиками был в одном ряду, даже впереди их, и чувство, что он с ними на равных, чувство кровного родства с этими людьми радовало его и давало ему силы.

И вдруг он услышал крик на берегу, или крик этот ему померещился, но он все же обернулся и ничего зади себя не увидел, и только когда повернулся влево, заметил, что из березового залива, пугавшего Рудика, прямо на него летит черная громадина. Он растерялся, словно не соображал, что происходит, смотрел на громадину, как загипнотизированный.

Бревно, тяжелое и длинное, болтавшееся в тихом сейбинском закутке, в хитром сейбинском резерве, а теперь брошенное ею в свалку, летело стремительно, словно мстило за сонное свое пребывание в заливе, летело тараном прямо на Олега. И он ощутил тело свое, оно показалось ему беззащитным и хрупким, пластмассовым. Он почувствовал, что сейчас бревно сомнет его, раздавит, покорежит ему живот и грудь, и мысль об этом была как порез бритвой,

и он понимал также, что ничего не сможет сделать. Еще он вспомнил, что за ним стоят люди, которые этого бревна не учуют, а оно их ударит с разгона, и надо ребятам предупредить. Он хотел сделать движение, но так и остался стоять, а бревно, здоровенное, как баржа, было уже в метре от него, и тогда он, бросив шест, кинулся в сторону, успел сделать два скользких шага и свалился в воду, почувствовав холодеющей спиной, как проскребла по нему своим обдиристым колючим боком сосновая машина. Он поднялся, отплывая ломившую зубы воду, опомнился, увидев уплывающее бревно, дотянулся до шеста, крутившегося рядом, но не достал им до бревна и застыл в оцепенении, видя, как бревно несло на парней из группы Терехова и должно было ударить их, надо было ему кричать что-то, а он потерял голос. И все же в последнюю секунду парни почувствовали опасность, но было уже поздно, и кто-то из парней шагнул вперед и бросился на бревно грудью, словно мог остановить его. Бревно замерло на мгновение и как бы нехотя повернуло вправо. Парень, остановивший его, вскрикнув, осел и пошел под воду, но ребята подхватили его под руки.

Олег бросил шест и, торопясь, пошел в сторону парней. Страх, не успевший вспыхнуть в секунды опасности, теперь разошелся и поигрывал в кончиках пальцев, покалывал их мерзко. Олег догнал парней и увидел, что они волокут Тумаркина. Тумаркин кашлял и охал, Олег оттеснил плечом кого-то и шел, легонько дотрагиваясь до руки Тумаркина. «Осторожней, осторожней», — приговаривал Олег.

Почувствовали под ногами почву подтверже и остановились. На травяном бугре было холодно, и подлая дрожь стала бить Олега.

— Теперь я сам, — сказал Тумаркин.

Он отстранил всех недовольным движением руки, как будто его вели насильно, и стоял, пошатываясь, а потом закашлялся.

— Постучите по спине, — прохрипел он.

Сочувствующих нашлось много, но Олег успел первым.

— Заработаете тут с вами чахотку, — сказал Тумаркин.

— Тебе надо в теплушку, — сказал Терехов, — дойдешь?

— Дойду, — кивнул Тумаркин и решительно шагнул вперед, но колени у него подкосились, и он сел на траву, взявшись руками за бок.

— Ему надо помочь, — сказал Олег.

Терехов стал поднимать Тумаркина, и тот, выпрямившись, сделал испуганное и возмущенное движение рукой: «Я сам...»

— Что же ты бревно не остановил? — сказал Олег Севка. — Хоть бы крикнул, что ли.

— Я кричал! — соврал Олег.

Севка сказал это без осуждения, он просто сожалел, что Олег не остановил бревно, а Олег ответил с возмущением, но через секунду ему стало противно, что он соврал.

— Мог бы и остановить, — буркнул Севка.

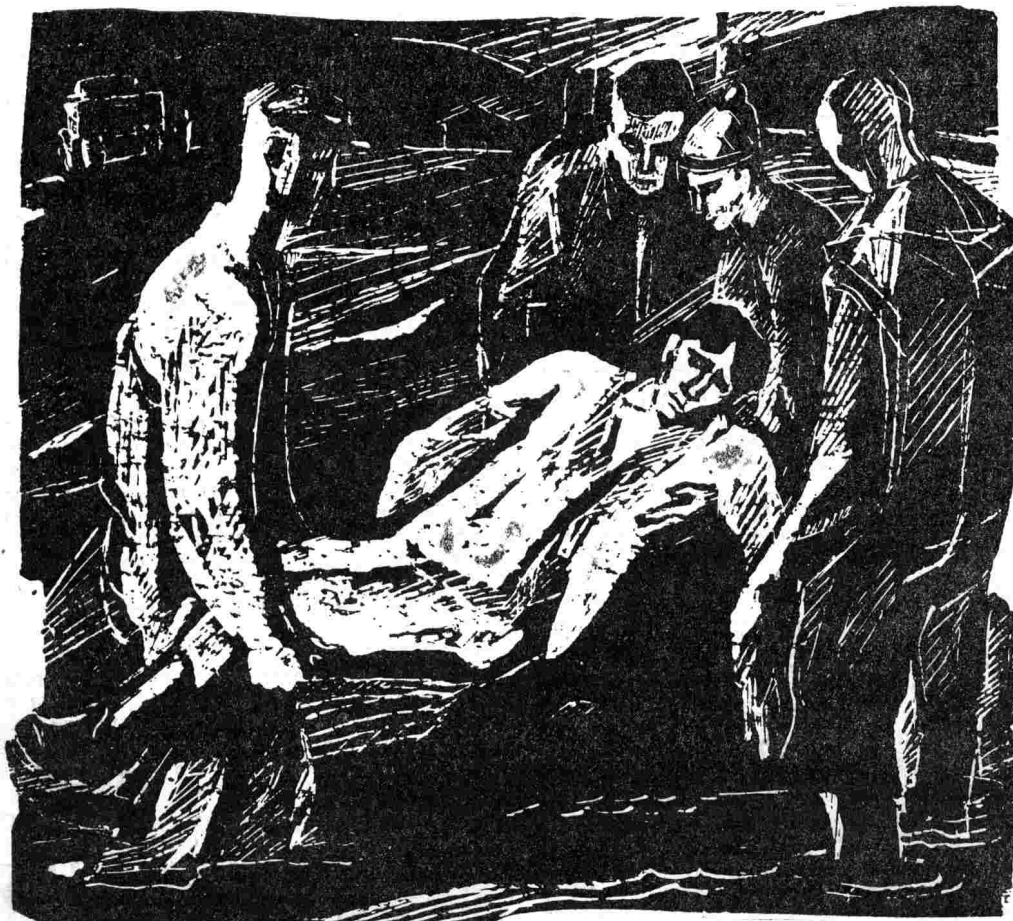
— Чего ты к нему пристал, — сказал Терехов, — он-то тут при чем?

— Попробовал бы остановить! — обиженно сказал Олег.

— Никто не виноват, — устало проговорил Тумаркин.

— Я разве говорю, что кто-то виноват? — возмутился Севка.

В теплушке было темно, и Терехов, ворча, искал по карманам спички, а Олег все поддерживал Ту-



маркина и говорил ему: «Сейчас приляжешь, легче будет». Свечка загорелась, и слабый огонек ее осветил мученическое лицо Тумаркина. Тот поторопился улыбнуться, но улыбка получилась у него жалкая.

— Где болит-то? — спросил Терехов.

— Вот тут и вот тут, — показал Тумаркин и добавил нерешительно, с некоторой боязнью, но и с надеждой, что его успокоят. — И внутри вроде что-то...

— За Илгой послали, — сказал Терехов.

— Только бы внутри ничего не отбило...

— Мы тебя еще в футбол играть научим...

— Я пойду, — сказал Севка.

Севка пошел, и ребята потянулись за ним; и Олегу надо было идти к Сейбе, но он стоял, и слова Терехова его обрадовали.

— Слушай, Олег, — сказал Терехов, — кому-то надо посидеть с Тумаркиным. Посиди, а?

— Хорошо, — кивнул Олег. — Но чем я помогу?

— Скоро Илга придет.

— Ты просто посиди, — тихо сказал Тумаркин.

Терехов застегнул пуговицы плаща, нахлобучил мокрый капюшон и пошел к двери.

— Мы тут работаем, мокнем, — тихо сказал Тумаркин, — а поезд на нашей станции будет останавливаться лишь на минуту... Сколько у нас всего тут было! А поезд остановится на минуту...

Терехов молчал, думал, Олег тоже молчал, его поразили слова Тумаркина, не слова, нет, а вот это

неожиданное осознание минутности их жизни в Саянах, минутности их жизни вообще на земле. «Работаем, мокнем, — звучало в ушах Олега, — а потом все сожмется, спрессуется в одну-единую минуту, которой не хватит заспанным пассажирам в арбузных пижамах, чтобы выскочить на перрон и купить у бабок пучок черемши...»

— Ладно, я пойду, — сказал Терехов и вышел.

— Олег, поправь ватники... — попросил Тумаркин.

Олег поправил ватники, потертые и жесткие, вовсе не пригодные быть больничными подушками, а сам глядел на свои руки, потому что боялся встретиться со взглядом Тумаркина.

И как он ни старался, а все же увидел глаза Тумаркина, они будто о чем-то просили, но просьбу их Олег отгадывать не стал, он повернулся и пошел к железной печке.

— Холодно, — сказал он на всякий случай.

Его и в самом деле знобило, а мокрая одежда была противна, и Олег отругал себя за то, что не надел на тело ничего шерстяного, мог все простудить, проклинай потом долгие годы этот осадный саянский день. Металл был еще теплый, и Олег погрел на нем руки, а потом растопил печь. Огонь запылал, затрещал, легкомысленным весельчаком зажил в свое удовольствие. Лицо у Олега стало сухое и горячее, а глаза заслезнились, но он не отводил их и все смотрел на пляшущий огонь. Он боялся, как бы кто не пришел и не сменил его, он не смог бы вернуться в мокрую жуть, тело его ныло, ладони

были как открытые раны. И еще он боялся, как бы не спросил его Тумаркин, почему он струсил, почему пропустил бревно, летевшее в товарищей.

Вошла Илга.

— Помочь? — повернулся Олег.

— Сейчас посмотрим, — сказала Илга.

Говорила она приветливо, уверенно и вместе с тем снисходительно.

— Помоги ему присесть, — сказала Илга. — И — до пояса.

Тумаркин морщился и стискивал зубы, но сам пытался стащить с себя мокрую одежду. Он был тощ и бледен телом.

— Что у нас болит? — спросила Илга.

— Зубы, — сказал Тумаркин.

— Шутишь, да? Я ведь обижусь.. Тут болит, да? Тут, да? Потерпи, потерпи, милый... И тут, да?.. Ну все, все, ложись...

Тумаркин с помощью Олега оделся, вытянулся на лавке, смотрел на Илгу заискивающе, ждал ее слов. Илга сказала строго:

— Возможно, сломаны ребра... Завтра отправим тебя в Сосновку, в больницу, там сделают рентген... Все будет хорошо...

Она повернулась к Олегу:

— Как это получилось?

— Как, как! — рассердился Олег. — Так и получилось!

— Что ты, Олег? — удивилась Илга. — Из-за чего ты?

— Глупо все получилось, — сказал Тумаркин, — поздно мы обернулись, а бревно...

Скрипнула дверь.

Терехов вошел в теплушку и замер, наткнувшись глазами на Илгу. Она обернулась и двинулась сразу к Тумаркину, словно не доисследовала его, а теперь спохватилась, но лишь ватник поправила у Тумаркина под головой, и по пугливым движениям ее и по неловкости мокрого Терехова Олег понял, что между ними что-то произошло, а что... Впрочем, ему было на это наплевать...

— Я сухую одежду принес, — сказал Терехов куда-то в сторону, — а бревна вроде пореже пошли... Слышишь, Олег? Полегче стало...

— А? — спохватился Олег. — Что? Да-да-да... Это хорошо...

Потом Терехов еще говорил что-то ему, Тумаркину и Илге, но Олег не слышал его, и все ему было безразлично, и он думал об одном: как только спадет вода, как только подсохнут бурные дороги, после дождика в четверг, завтра или послезавтра или когда там, насколько у него хватит терпения, нет, оно уже кончилось, завтра или послезавтра, после дождика в четверг (не как в поговорке, а буквально, именно в четверг после этих сумасшедших дождей), сядет он с Соломиным и Ипольновым в машину, и прощай все, он уже не может, не может, поймите это, не будет машины, он уйдет пешком, по сопкам, по сопкам, по горбатым проклятым сопкам.

24

Утром Терехов договорился с Рудиком устроить в столовой собрание не собрание, а так, разговор по душам. Рудик уходил, и грязь летела из-под его ног, а Терехов не двигался, никак ему не хотелось идти, ни о чем не хотелось думать, а единственным желанием было — отоспаться.

Сегодня на небе было солнце, и голубизна казалась естественной, будто и вчера, и позавчера, и неделю назад загорали сейбинцы на лежаках и в плетеных креслах. Погода изменилась внезапно, — внезапность была привычным орудием природы в здешних местах, — и кто знал, не решила ли она позабыться и не включит ли через полчаса свой бесконечный душ.

Но, может быть, и вправду, кончились дожди, и Сейба успокоится, и начнется сладкая жизнь, сухая жизнь, и за столовой на травяной плешке, очищенной от кочек, удастся постучать футбольным мячом.

Час назад в сырой прорабской комнатухе Терехов рассказал о мосте, о Будкове, о разговорах с Ипольновым и Чеглинцевым. Здесь и решили устроить собрание, все на нем выложить и попросить у людей совета, как быть.

Время от времени Терехов, как бы спохватываясь, вспоминал о Наде и о вчерашнем разговоре с ней и думал: «Надо все решить нам с ней», — понимая прекрасно, что сегодня он неспособен делать что-либо, предпринимать или решать. Но когда Рудик явился к нему в комнату и сказал — в столовой собираются люди, Терехов подумал сразу о том, что на собрании будет Надя.

— Да, — спохватился Терехов, — а Ипольнов придет?

— Он отказался.

Столы в зале не сдвигали, стульев хватило всем: на вырост поселка была рассчитана точка питания.

— Тише, тише, — начал Рудик, — устали, устали, а на разговоры, я чувствую, энергии хватает... В общем, просьба послушать, что нам скажет товарищ Терехов.

— Я ненадолго... — встал теперь Терехов. Он запнулся, потому что понял, что для разгона начнет говорить необязательные пустые слова и потом от этой неуверенности вступления и все его главные слова будут неуверенными; и дойдет ли суть их до ребят так, как ей следовало бы дойти? Он почувствовал, что волнуется, обвел взглядом ребят, увидел Чеглинцева, Севку, старика сторожа, увидел Надю, и ничего не случилось с ним, когда он увидел ее, а волнение его не прошло, и оно пугало его.

Он стал излагать по порядку и то, как, прыгнув в первый день наводнения в сейбинскую воду, ощутил удары мелких камешков, и то, как снимали черепа рякам, и то, как копался он в бумагах коричневого сейфа и что там обнаружил, и о разговорах с Чеглинцевым и Ипольновым, естественно, не позабыл. Терехов умел вести разговоры на ходу, когда люди окружали его, спорили и шумели, а вот речи у него никогда не получались, и теперь, отбубнив, отбарабанив проклятые слова, он сел на стул с горестным сознанием, что провалил дело.

В столовой было тихо.

— Да, — сказал Терехов, — я кратко... Может, кто-нибудь другие факты приведет... Слова мои в чем-то может подтвердить Чеглинец. А Ипольнов не пришел...

— Ипольнов здесь, — услышал Терехов.

— Здесь, да?

— И Соломина привел, — сказал Ипольнов.

— Вот, — сказал Терехов, — и Ипольнов может кое о чем спросить.

— А я отвечать не буду, — буркнул Ипольнов. — И ты от меня ничего не слыхал. Никакого у нас с тобой разговора не было.

— Да? А зачем сюда пришел?

— Дома скучнее.

— Ну, повеселитесь.

В зале шумели. Рудик стоял возмущенный, Терехов

хов взял комсорга за руку, успокаивая его: «Ничего, ничего, оставь его. Пусть развлекается...» А сам понимал — собственное его спокойствие или даже безразличие идет не от стальных нервов, а от усталости. Впрочем, вчера тоже были усталость и безразличие, а не выдержал-таки, поднялся и пошел к осточертевшему мосту, мог бы и не ходить: там и без него все знали, что делать.

— Кто просит слова? — сказал Рудик.

Слова никто не просил, не привыкли слова просить, просто шумели, и все. Возмущались Будковым или не верили про Будкова, уважаемого человека, а всего больше возмущались Исполновым, позволившим себе устроить цирк, благо, что сидел рядом с ними.

— Чего тут слова просить, — встал тяжелый и круглый, как гири, штукатур Козлов, — действовать надо. Делегацию к начальнику строительства отправить... Или письмо написать в Госпартконтроль... Все подпишемся...

— А если я пошутил? — спросил Терехов. — Если я человека оклеветал! В корыстных целях. Или по ошибке... Ведь Будков действительно много пользы принес... Взвесить все надо...

— Сначала, — вскочил Воротников, — мы должны убедиться, что его слова справедливы, а потом уж рубить...

— Я предлагаю так, — сказал Рудик. — Пусть каждый ознакомится с документами, пусть каждый их на зуб попробует. Потом нужно комиссию избрать, она все проверит и уточнит, а тогда мы и будем действовать... Как вы считаете?

Комсорга поддержали, бумажки, отобранные Тереховым, пошли по рукам. Терехову стало ясно, что дело сегодня, пожалуй, дальше не сдвинется: надо было ждать суждений комиссии, которую тут же выбрали. И когда говорить уже вроде стало не о чем, вспомнили о ребятах из бывшей бригады Исполнова. Теперь внимание зала переключилось на них, они сидели смущенные, говорили с оглядкой на Исполнова: они ничего не знали, Будков с ними откровенных разговоров не вел, может, и накидывал им деньги, только они не ведали, за что и когда, получали они прилично, довольны были, но и работали как звери. А в рязи действительно гравий клали.

В зале замолчали, и Терехову показалось, что никто не понимает всей глубины случившегося, как понимает он. Он огорчился, но тут вскочил Олег и начал речь, пламенно и страстно, как он умел, слова его были о том, что чувствовал Терехов, но били в тысячу раз ярче и точнее тереховских, и воронки от них были глубже и чернее, и когда Олег кончил, все зашумели, поддержали его, и Терехов был благодарен Олегу, он восхищался им и все повторял про себя: «Какой молодец!»

Теперь можно было поставить точку, но опять не стали расходиться, а принялись говорить вещи, к теме нынешнего собрания не имевшие отношения. Давали Терехову советы, как себя вести и у кого искать поддержки, о чем написать письмо в Госпартконтроль или в редакцию, одним мостом не ограничиваться. Много было предложено мелочей, но говорили и важные слова и среди них об электрификации дороги и об использовании сваленного на просеках и станционных площадках леса. Таскать составы в Саянах предстояло электровозам, но дорога строилась пока обычная, поставить серые железобетонные опоры и протянуть над полотном провода предполагали после сдачи дороги. Разговоры о том, что строительство дороги необходимо совместить с ее электрификацией, велись давно, но велись между собой, теперь же сейбинцы предлагали отправить решение собрания куда надо, может быть, даже

в правительство. Собрались подсчитать и во что обходится сваленный лес, который никем не вывозится и гибнет на просеках.

Рудик кивал, заносил предложения в блокнот, исписывал страницы крупными буквами, а Терехов надеялся на память.

— Будем кончать? — спросил Терехов, встав.

— Пора...

— Кончать? — поднялся Исполнов. — Да вы только начали...

Он направился к выходу, и Соломин поспешил за ним.

Плечи у Исполнова были крутые, а шея тугая, борцовская. Все глядели ему в спину, притихли.

Обернулся Исполнов у выхода, засмеялся, не деланно, а с удовольствием, Терехов понял это, и Соломин заулыбался, глядел не в зал, а на Исполнова.

— Зубы-то не обломайте! — смеялся Исполнов.

— Ну, ты! — вскочил Чеглинцев.

— Не надо! — глухо сказал Терехов. — Оставьте его.

А на улице глаза слепило солнце, обещанием зноя поблескивали голубые лужи.

Терехов спустился к Сейбе.

Бревна все еще плыли, но работы у шестов было меньше. Сейба устала и начинала отступать.

Наверху, у склада, Терехов увидел чеглинцевский самосвал и самого Чеглинцева, исследовавшего мотор. Самосвал был помят, бедняга, и Терехов прикинул, во что обойдется ремонт.

Чеглинцев выпрямился, сказал с досадой:

— Как бы в капитальный не отправили!

— Ничего, — сказал Терехов успокаивающе, — ничего.

Ему был дорог этот небритый парень, удалой молодец из незаписанных былин, и за то, как он вчера бился с Сейбой, и за то, что решил остаться, и за сегодняшнее возмущение Исполновым. Терехову хотелось сказать Чеглинцеву что-то теплое, но он не нашел слов и промолчал.

Он уходил в поселок, и ему было хорошо, потому что он вспоминал чувство, испытанное у чеглинцевской помятой машины, и улыбался, а потом стал думать о Будкове.

Он решил, что завтра или послезавтра, когда вода спадет и дороги немного просохнут, нужно будет послать к Будкову человека, который бы не только установил связь с Большой землей, но и дал Будкову понять с достоинством и умом, что его дела на Сейбе известны и что простить их ему не намерены. И он понял, кого он пошлет: лучше всех объяснить Будкову «идем на вы» мог только Олег Плехтин.

25

— Терехов, а ты соня! Пятнадцать часов давишь...

— Пятнадцать? Чего?

— Ладно, спи дальше. Вода спадает...

— Нет, серьезно? — сказал Терехов. — Пятнадцать часов?

— Смотри. — Севка протянул ему будильник. — Ты свалился вчера в восемь...

Терехов скинул ноги на пол, суетливо начал натягивать майку, потом брюки и, вздыхая, покачивая головой, приговаривая: «Вот тебе раз... вот тебе раз...» — стал всовывать шнурки в кеды.

— Ты куда-то собираешься? — спросил Терехов.

— Сторожа перевозжу. Старик по внукам соску-

чился. Ночь, говорит, отстоял, днем и дома могу побыть.

— Потом Олега перевезешь. Он — к Будкову.
— Ладно.

Севка пытался улыбаться, но улыбка у него была странная, словно он ею прикрывал что-то и боялся, как бы не свалилась она картонной маской с развязавшимися тесемками; хрупкий, с разломившимися белыми прядями, он выглядел беззащитным мальчишкой, обиженным кем-то, и Терехову стало жалко его.

— Что-нибудь случилось, Севк? — спросил Терехов.

— Ничего не случилось, — хмуро сказал Севка, — я пойду.

Через полчаса на улице под голубым и теплым уже небом Терехов забыл о Севке, а стоял и думал: «Как хорошо!» И все, чем он жил последнее время, казалось ему смытым лучами солнца, все ушло куда-то в спокойную страну Забытья, а думалось только о радостном. Он вспомнил о вчерашних своих ощущениях у чеглинцевской машины и снова пожалел, что не сказал ничего Чеглинцеву, не нашел слов, которые были бы как пожатие руки.

Из общежития напротив вышла Илга. Терехова она вроде бы и не заметила, прошагала по той стороне улицы, по доскам, с красной клетчатой сумкой в руке, прошагала, наверное, в столовую, но общежитие было не ее, а вышла она из него как из родного дома, и это Терехова удивило.

Потом ему пришлось вспомнить об Илгином выходе и сказать самому себе: «Ах, вот в чем дело!» Но это было через час, когда он уже пообедал и встретил на улице четырех девчат и среди них Веру Созину.

Созину Терехов терпел с трудом, ему не нравился ее голос, ее торопливые, удивленные слова и не нравилось то, как она жалела всех, за жалостью ее пряталось злорадство, и то, как она успевала узнать о случаях невероятных и растрепать о них всем, а новости ее, к сожалению, потом подтверждались. И сейчас, по тому, как она таинственно и с удовольствием молчала, пока девчата пересмеивались с Тереховым, — «говорите, говорите, а я вам такое скажу...», Терехов понял, что она разрушит, развеет по пылинкам все радостное в нем. «Ты уж только молчи, — думал Терехов, — ради бога молчи...»

— Да, — сказала вдруг Созина, — очень интересно получается, очень интересно... Илге сегодня пришлось ночевать у нас... Все кровати у нас заняты, и она, бедная, спала прямо на полу... Так мне ее жалко было... Конечно, Илга...

Тут она выразительно посмотрела на Терехова, словно бы знала о нем такое, чего не знали другие, впрочем, она не осуждала его, а просто подчеркивала: «Да, да, мне все известно, все...»

«Илга? — насторожился Терехов. — При чем тут Илга?»

— Конечно, Илге ничего не оставалось, как сбегать из этого ада... Чеглинцев вечером напился, явился к этой... Арсеньевой, нашей непорочной девушке, стал ее поить... Илге и пришлось уйти, сбегать фактически.

«Да замолчи ты!» — думал с отчаянием Терехов.
— А у нас пол, сами знаете, какой... доски... Маялась, бедная... И вы что думаете, Арсеньева выгнала его? Да? Очень ей это надо было!.. Она же перевоспитывается... Чего же ей терять шанс... Переспали они с Чеглинцевым... А ее там в Воронеже летчик ждет... Вот как получается...

— Слушай, прекрати! — мрачно сказал Терехов.

— А что? Что я такое сказала? — обиделась Созина.

на. — Я правду сказала. Мне ведь Алку ужасно жалко. У нее летчик, она его любит. Зачем ей этот кобель-то, Чеглинцев? Ему что, любовь, что ли, нужна? Вы меня не смейте... И его мне жалко... Такой видный парень, и зачем ему связываться с этой...

«Ну, замолчи ты!» — взмолился Терехов. А вслух процедил:

— Мне нужно идти.

За его спиной зашумели девчата, а Терехов вспомнил беззащитную Севкину улыбку и то, как Илга вышла с красной клетчатой сумкой из чужого общежития, и подумал: «Такое выходит дело...» Он обругал Севку: «Вот ведь размазня!» Но не Севка волновал его сейчас. Действия Чеглинцева казались ему теперь предательством, братское чувство, жившее еще вчера между ними, было опоганено, к тому же Чеглинцев давал два дня назад Терехову слово не приставать к Арсеньевой, но вышло, что Чеглинцев наврал, и Терехов знал уже, что не сможет простить Чеглинцеву этого предательства, этого вранья, и Арсеньева была сейчас противна ему со своими клятвами и причитаниями о воронежском летчике. Терехов чувствовал себя одураченным и проклинал тот день, когда сжалился над монашеской долей скромницы, закутанной в цветастый платок, и увел ее из веселой гогочущей компании.

«Погоди, — сказал себе Терехов, — чего ты заводишься. Мало ли что могла натрепать Созина!..»

И он, остановившись, свернул к женскому общежитию.

Постучав в дверь Арсеньевой, Терехов заробел и обрадовался тишине. Для очистки совести он постучал еще раз, и тут за дверью завопили, зашептались, огорчив Терехова. Звякнул в замке ключ, и он увидел наглое от растерянности лицо Чеглинцева. Чеглинцев был пьян, покачивался чуть-чуть, стоял, выпятив грудь, обтянутую голубой латаной майкой.

— Что тебе? — покривился Чеглинцев.

— Почему ты не на работе? — спросил Терехов. Ничего иного не пришло ему в голову. — И почему она...

— А надоела нам твоя работа! — сказал Чеглинцев.

— Ваше дело, — сказал Терехов, сдерживая себя. — Но помнишь, какое обещание дал два дня назад?

— А плевал я на это обещание!

— Уходи отсюда!

— Да? — засмеялся Чеглинцев. — Сейчас! Это тебя Севка, что ли, прислал? Ты ему скажи, что он растяпа и...

Терехов вытолкнул Чеглинцева в коридор, и хотя тот, дергаясь, злясь уже, намерен был проявить свою бычью силу, но ноги подвели его, шальными их сделал хмель, болталось его тяжелое тело от стены до стены, и Терехов гнал, гнал Чеглинцева на крыльцо, и нудная мысль о предательстве не покидала его. И все же на крыльце Чеглинцев вывернулся, вырвался и коротким слева взрезал Терехову по корпусу. Терехов отлетел к перилам крыльца, доски скрипнули глухо, и Терехов, спружинив, кинулся на Чеглинцева и не ударом, а толчком правой руки и плеча сбросил его с крыльца, и тот свалился в подсыхающую грязь.

— Все, — сказал Терехов, — завтра твои приятели уезжают, и ты с ними уедешь!

Чеглинцев медленно поднялся.

— И уеду. Дурак, что я вам тут помогал. Надоели вы мне, понял? Опротивели! Нужны вы мне очень! Нужна мне эта Арсеньева! Нужна мне эта...

— Уходи, — сказал Терехов, — собирай манатки!

Было удивительно, что Чеглицев уходил, не бунтовал, не дрался, не выказывал своей былинной мощи, не куражился и не рвался к Арсеньевой.

«Ну и хорошо,— подумал Терехов,— ну и пусть проваливает со своим Испольновым!»

Дверь в комнату осталась открытой, и Терехов вошел к Арсеньевой без стука.

Арсеньева сидела, голову положив на стол, заслонив лицо ладонями.

— У нас с вами была договоренность,— сказал Терехов,— вы эту договоренность нарушили. Я прошу вас уехать из поселка, вернуться на работу в совхоз.

— Нет! — подняла заплаканное лицо Арсеньева. — Нет! Нет!

— Думаю, что дальше находиться здесь вам не имеет смысла.

— Нет, нет, нет!..

В глазах ее были слезы, стыд и испуг.

«Черт знает что! — думал Терехов. — Какими словами я говорю ей все это... Даже на «вы» перешел...»

— Нет, нет! Я не могу отсюда уехать, Терехов, не могу...

— У меня договоренность не только с вами, но и с начальником поезда Будковым, а он взял с меня слово.

Терехову хотелось курить, и хотя он собирался прекратить разговор и уйти, он присел на стул и не спеша достал сигарету и спички. Впрочем, говорить что-либо еще он был не намерен, она могла уже почувствовать всю глубину его презрения.

— Я не могу... — прошептала Арсеньева, — я любое слово дать могу... Я не обману тебя, Терехов, я никого не обману...

— Нет, достаточно, вполне...

— Для меня это жизнь, понимаешь, Терехов. Ты не можешь мне простить? Тогда я...

— Дело не в прощении...

Правильный человек торопил, гнал его, пытался поднять со стула, все существенное с его точки зрения было выговорено, наконец-то указано этой на дверь, но Терехов сидел и курил и ругал себя за то, что не может найти слова, которые помогли бы и ему и Арсеньевой. Дело и вправду было не в прощении, не в требовании жестоких клятв, а в чем-то другом... Сознание бессилия мучило Терехова, и тут он уцепился за мысль, подсказанную Созиной, и выговорил свинцово, только чтобы не молчать:

— А все ваши слова о любви к летчику... Письма «до востребования» на Абаканской почте...

Она поднялась быстро со своего стула и села рядом с Тереховым, глядела своими заплаканными глазами в его сердитые глаза.

— Я все врала... Я все выдумала... Никого у меня нет... И никто, кроме отца с матерью, не мог прислать мне письмо...

— Но...

— Не гони меня, Терехов... Я тут оттаивать стала... Но, понимаешь, я женщина... Знаешь, что было в моей жизни?..

— Меня...

Он хотел сказать, что это его не волнует, но понял, что сказал бы неправду, и замолчал. Его озадачивало столь близкое соседство с Арсеньевой, ему вдруг показалось, что сейчас она выкинет что-нибудь неожиданное. «Красивая, — думал Терехов, — плачет, а все равно красивая...» «Ага! — возмущился правильный человек. — Разжалобила тебя красивая баба!»

А Арсеньева почувствовала, что нет в нем прежней решительности и суровости, что он не знает, как с ней быть, но уж на своих первых грозных

словах вряд ли будет настаивать. И Терехов понял, что она это почувствовала.

— После школы... Или нет, еще в школе... Знаешь, как до провинции докатывается мода... Если в Москве брюки узкие, то у нас они в обтяжку... И так во всем... Была у нас компания... Хотели мы выглядеть современными, презиравшими обывателей, переступившими пороги их морали... Мы и переступали... Мне все нравилось. Отец с матерью догадывались о моей карусели, но, кроме меня, у них — четверо, жили небогато, они у меня железнодорожные рабочие, о том, как деньги добывать, они заботились, а на меня рукой махнули. Я сама себе из старенького перешивала, знаешь, ладилось у меня... Я не надоела?..

— Нет, говори.

— Вот так мы и жили... Человек пятнадцать было в нашей компании... Мальчишки и девчонки... Потом нас назвали притоном, но какой там притон, мальчишки и девчонки хорошие, не знаю, как сейчас они... Устав у нас был шуточный, со всякими благородными даже принципами, ну и с веселыми... такими... Только один из нас был настоящим подонком, техник с телефонной станции, холерный такой, с перстнем. Ненавижу... его... Он и продал меня...

— Как продал?..

— Так и продал... Не раз уж мне он намекал о клиентуре... А я тогда уже работала в сберегательной кассе ученицей кассирши. Матери собирала деньги на зимнее пальто... Она все нам да нам, а сама ходила в потертой черной своей шинельюшке да телогрейке с замасленными локтями... А у меня все никак сумма не получалась, не воровать же идти... Однажды на вечеринке техник этот уговорил меня, златые горы обещал, говорил: «Что тебе трудно, что ли?» ...А я пьяная была, веселая, махнула рукой: «А почему бы и нет?» Того типа я и не помню почти, и кто он был, не знаю, вел он себя со мной жалко, оправдывался в чем-то, слово брал, что я никому ничего не скажу. Мне бы плакать, а я смеялась, издевалась над ним, мне бы деньги разорвать да в лицо ему бросить, а я в сумочку сунула. И потом пошло...

— Воды хочешь? Выпей...

— Не надо, Терехов, ничего не надо... Матери пальто я купила, принесла. Сколько слез было, а я думала, что она мне в глаза плюнет!.. Не плюнула, ничего не знала, а теперь знает и все равно пальто носит. Что ей делать?.. Ушла я потом из дому, комнату сняла, жила в свое удовольствие... Ничего меня не трогало. Даже когда врач сказала, что у вас, милая, трагедия, детей вы иметь не сможете, я обрадовалась, ну и очень хорошо, спокойнее буду. Только иногда такая тоска была, предчувствие чего-то страшного, но мне казалось, что это просто с похмелья... А страшное надвинулось: в колонию меня отправили.

Она замолчала, тонкими, красивыми пальцами своими и губами показала, что хочет закурить, Терехов протянул ей сигарету, поднес спичку, и, кивнув благодарно, она закурила и смотрела теперь в стену. Серые ее глаза были словно затянуты дымом.

— Никого я не винила... Никого ни за что не проклинала... И что и как со мной в колонии произошло, ни понять, ни объяснить не могу... Никто на меня не влиял, никакие морали не доходили, а просто как будто ударом такая скука на меня свалилась, так мне плохо стало, так противна мне сделалась прежняя жизнь и все наши провинциальные ужимки, такая тоска поедом ела меня по той самой любви, которую я презирала... Словно я с ума

сошла... Вот тогда я и придумала историю с летчиком. Почему-то летчик этот обязательно должен был быть из Воронежа. Почему из Воронежа, кто его знает?... Девятый в колонии кончила... Так сначала оно и шло... Дома меня встретили хорошо. Старик у меня добрый, отец, правда, только когда трезвый, а мама уж так мне обрадовалась, все простила, и как соседи над ней из-за меня измывались, все простила, плакала да волосы мне ерошила, как маленькой... В горьком я ходила, в горсовет, помочь мне просила, стыдно было, словно я побираюсь, при этом обещания слезные давала, как тебе, Терехов...

— Да, ты мне давала обещаний...

— Мне помогли... На работу устроили, в вечернюю школу определили, даже в драматический кружок при городском Дворце культуры записали... Почему-то все время меня пытались перевоспитывать драматическим искусством, ты не знаешь, почему, Терехов? Тут вот Илга настаивала... Красивая я, что ли?

Терехов пожал плечами.

— Но я уж и в драмкружок пошла, раз мне добра хотели. Довольна я была всем, но потом понимать стала, что добра-то мне хотят скорее потому, что так полагается, а сами в душе мною брезгают, будто в гостях лягушку едят. Я понимала, что нянчиться со мной нечего, не героиня я, это я должна у людей прощение вымаливать. Только лучше бы все честнее было. И в конце концов сорвалась. Однажды в том несчастном драмкружке надо ж было режиссеру дать мне роль Барабанщицы. Что началось!.. Убежала я оплеванная... А через день в вечерней школе, чувствую, все шепчутся, я уж по теории своих везений сразу поняла, что обо мне. Так оно и было. Будто бы где-то кто-то видел меня пьяную с мужиком. Это была ложь, но лжи этой поверили. И делегация пошла к завучу: «Не хотим быть в одном классе...» Только одна девчонка осталась, комсорг, даже на парту ко мне села, так и сидела, красная, напряженная, а сидела, терпела... Напилась я в тот вечер, забрали меня дружинники, долго воспитывали, отвели душу за нравственным разговором. За что? За что? И так я всех презирала и никого простить не могла, так я чувствовала себя выше всех, и такая издевка была в моих глазах, что никто надо мной не смеялся, может быть, даже и пугались меня!.. И дальше бы потешала душу, да мать стало жалко, укатила я с ее глаз. К подружке одной, Шуре, из старой компании, добрейшему человеку; приютила она меня, научила, как быть. Вагонные гастролы мы с ней давали. Но так противно было, так жутко было... И когда меня отправили в Сибирь, я не плакала...

— Что ж ты к нам подалась?

— А всех своих соседок я возненавидела... Себя в них узнавала... Теперь я их жалею, а тогда ненавидела... А про летчика воронежского я трепала, наверное, для собственной защиты, да и сама себя баюкала... Надо мной смеялись, а в душе, наверное, мне завидовали... Только все это чепуха!

Она подняла голову, слова последние произнесла резко и громко, как бы отменяя ими все сказанное раньше.

— Ничего в моей жизни не изменится... Ничего... Сама во всем виновата... Ты не можешь понять, Терехов, как это страшно... Я хочу быть человеком, Терехов, но, должно быть, не могу, не могу, привыкла к другому и уж не отвыкну!.. Ты гони меня, Терехов, ты не верь мне, не верь мне!

— Успокойся. Не надо.

— Гони меня! Гони! И пусть никто мне не верит!



— Ну что ты, Алка, зачем ты?..

Терехов боялся, как бы не началась с ней истерика. Не началась ли уже с ней истерика? Что тут делать и как тут быть? Но Арсеньева, как будто предупреждая его поступки, затихла на секунду и вдруг уткнулась носом в его колени, и руки ее были теперь у его ног, тяжесть расслабленного тела ее чувствовал Терехов, видел, как вздрагивают ее плечи. Она редела, отводила душу, и Терехов, пробормотав жалкие слова, которые должны были ее успокоить, стал гладить ее волосы, приговаривая по-отечески: «Все образуется», — а потом и вовсе замолчал и просто гладил ее по голове. Он ощутил вдруг теплоту и жалость к этой женщине с неустроенной жизнью. А у кого она устроенная, у него, что ли? Нет, впрочем, у него все шло по-другому, в иной степени, и сейчас его рука успокаивала плачущую женщину, плачущую девчонку. И он вспомнил себя в детстве, в холодную зиму войны, когда были истоплены все дрова, и торфяные брикеты, и табуретки со стульями, а немецкие минометы гремели за Ольговским лесом, и страх холодил, как мороз, а изжога бубнила про последний съеденный кусок черняшки, вот тогда в тишине черной комнаты подходил Терехов к сестре, так и не пробившейся на курсы радисток из-за сердца, тыкался носом в ее колени, грелся, слышал ласковое: «Ну что ты, как кутенок?» — и дрожь его проходила. Воспоминание это было Терехову дорого, оно чем-то привязывало его сейчас к Арсеньевой, и он, радуясь теплоту чувству, забравшему его, гладил и гладил густые волосы.

Так он сидел долго, ноги его стали затекать, но он не двигался, потому что Арсеньева уснула.

Может быть, прошел час, а может быть, два, в комнату никто не заглядывал. Арсеньева спала спокойно, и Терехов боялся потревожить ее, но в конце концов он понял, что не выдержит, и осторожно приподнял Арсеньеву, встал и, ковыляя, от-

нес ее к постели. Арсеньева не проснулась, даже губами не пошевелила, только брови поморщила.

Теперь Терехов мог бы и уйти, но он уселся на прежнее место, потому что боялся, как бы не проснулась она и одна не разнервничалась бы вновь. Ему казалось, что если он уйдет сейчас, то совершит поступок дурной, бросит Арсеньеву в беде. И еще он подумал, что до сегодняшнего дня толком и не знал Арсеньеву, а ведь считал, что знает ее, и он набрался наглости принять на себя ответственность за ее судьбу. Да и кого он хорошо знает на Сейбе, так, чтобы судить о людях не прямолинейно и поверхностно, а понимая всю сложность их натур, причины их поступков и мыслей? Так отчитывал себя Терехов и огорчался своему прежнему взгляду на людей и тому, что выгнал Чеглинцева, а надо было с ним поговорить по-иному, огорчался, что не может понять Олега, и все гложет его, Терехова, предчувствие недоброго, и, конечно, уж совсем плохо было у него с Надей, и по его вине.

26

Севка привез Олега и Шарапова в Сосновку. — Теперь в автобазе берите машину и счастливого пути.

Олег кивнул.

Перед тем как залезть в трактор, на той стороне Сейбы, он все раздумывал, зайти ему к Наде на стройку или нет, и в конце концов решил не заходить. Он уже забыл, почему так решил, теперь это было неважно, теперь-то он понимал, что полчаса назад он просто не хотел втягиваться в разговор или объяснение, которое рано или поздно должно было состояться. Надя знала, что он поедет к Будкову, ну и хорошо, вот он и уехал, спасибо Терехову, доверившему именно ему важное дело. И еще хорошо, что в последние дни они с Надей так уставали, что, приходя с работы, падали в сон, даже слова друг другу не успев сказать. «Оставим, — подумал Олег, — до лучших времен. Все будет хорошо. А сейчас мы объявили войну Будкову...»

— Не спеши, — взмолился Шарапов.

— Извини...

— В чайную не зайдем?

— Мы же пообедали... В больницу, может, заглянем?

— А чего там делать? — поморщился Шарапов. — Цветочки им принести, лютики, да? Пирожное купить, да?

В сосновской больнице вместе с Ермаковым лежал Тумаркин, наверное, уже не стонал; вчерашнее чувство вины перед Тумаркиным уже не мучило Олега, и он мог навестить его, а мог и не навестить. Нынче было солнечно, нынче было самоварное тепло, и подогретый воздух покатывался перед глазами. И то, что вчера ныло, разрасталось в нем, давило его пудами усталости и безысходности, нынче исчезло вовсе, и на душе у Олега было отлично, и он шел, довольный и солнцем, и самим собой, и всеми людьми вокруг, всеми, кроме Будкова.

— Ты только посмотри, как здорово, — сказал Олег, — и небо какое и воздух какой!

— Да, — кивнул Шарапов, — ничего.

И только? Впрочем, что он может видеть, что он может чувствовать, этот Шарапов, этот сорокалетний трудяга, этот безответный мужичонка, измятый жизнью, изломанный заботами шумной семьи с ее громогласной главой — гражданкой Шараповой? И

все же он хороший человек, — подумал Олег, — он добрый человек, он бессловесный и добрый, а это не так мало». И ему захотелось улыбнуться Шарапову.

— Что? — спросил Шарапов.

— Да нет, — смутился Олег, — я просто так...

Они подходили к Сосновскому въезду, шагать Олегу было легко и приятно, сапоги несли сами, чистенькие и сухие; ноги не уставали, и все тело, казалось Олегу, не могло знать усталости, оно было сильным и упругим, и Олег уже не верил в то, что когда-то чувствовал вялость, боль или страх за свое тело. Все будет хорошо, все сейчас хорошо, все и было хорошо! И, оглядываясь в прошлое, ныряя в сыроватый и гулкий колодец, Олег сейчас не видел там ничего такого, о чем он должен был бы сожалеть или чего стыдиться. Все шло естественно, и все на пользу ему и другим, и все подтверждало справедливость его давней теории доминантов. Однажды ему было противно и грустно, что-то с ним накануне произошло, он не помнил сейчас, что именно, а тогда он думал о случившемся так: «Да, это было гадко, мерзко... Но вот в этом мерзком есть одна мелочь, и в ней залог хорошего в будущем». Он все обдумывал эту мелочь, все осматривал ее со всех сторон, и постепенно она переставала быть мелочью, а вырастала в главное, в доминанту. И с тех пор Олег решил всегда отыскивать в своих поступках, в каждом своем дне на земле доминанту, вершину, и с ее колокольни смотреть на эти свои поступки. И вчера, во время сейбинской осады, главным было, конечно, не бревно, ударившее Тумаркина, а его, Олега, порыв и то, что он встал вместе со всеми, и его готовность помочь ребятам, и даже стремление отдать Рудике Островскому сухой левый сапог. Что касается поломанных ребер Тумаркина, то трубач, видимо, был виноват сам — не смог ловко уйти от удара, такой уж он нескладный. Ничего, отлежится.

— Пришли, — сказал Шарапов, — автобаза.

Начальник автобазы, утомив расспросами, выдал им бортовой «газ», уговаривал их переночевать в Сосновке, перед черт его знает какой дорогой, но Олег, строго поглядев на разнежившегося было Шарапова, заявил, что у них нет времени.

— Как знаете, — кивнул начальник. — А то суббота ведь...

Они могли подсесть вдвоем к шоферу в кабину, но Шарапов сказал, что он не дурак, минуты через три он притащил откуда-то сена, прошлогоднего, прелого, расстелил сено в кузове, улегся на нем и Олегу посоветовал устраиваться рядом. «Добро», — сказал Олег и перемахнул через борт. Машина тронулась, но вскоре остановилась у магазина сельпо, и Шарапов спрыгнул на землю. Он вернулся быстро, нес серую в крапинках спортивную сумку, выданную ему Тереховым, сумка была набита туго, и Олег знал, что набита она водочными бутылками, а то и зеленоватыми бутылками с питьевым спиртом. Олег принял сумку, помог Шарапову взобраться в кузов и улегся на сене. Он не спрашивал Шарапова о бутылках, он знал, что куплены они на казенные деньги или на деньги Терехова, и куплены для дела.

— На Терехова-то, — сказал Шарапов, укладываясь, — один сосновский мужик заявление подал в милицию... Сейчас в магазине говорили...

— Какой мужик?

— Нашего сторожа сын... Который Ермакова на лодке перевозил... Будто Терехов его веслом избил и лодку угнал...

— Что ты мелешь! Я Терехова, слава богу, знаю...

— За что купил, за то и продаю... Мне-то не все равно...

Шарапов обиделся, захлопал сердито ресницами, а потом закрыл глаза вовсе, показав глубокое пренебрежение к собеседнику, и вскоре задремал. «Что это он? — подумал Олег. — На Терехова наговорил чепухи, вранье принес и еще обиделся. Пусть спит, а я помолчу, небом полюбуюсь... Небо-то какое чудесное!»

Но полюбоваться небом Олегу не пришлось, «газ» их трижды буксовал, трижды застревал на таежной дороге в не застывшей еще грязи. Олегу приходилось прыгать через борт и помогать водителю, а Шарапов все спал.

В пади у ручья Зигзага, прозванного так с легкого языка Чеглинцева, застряли надолго. Шофер копался в моторе, поглядывал на Олега смущенно и вместе с тем как бы прося о помощи, но Олег разводил руками: «Вряд ли, старик, чем могу помочь». Разбуженный тишиной, поднял голову Шарапов, слезать не стал, но заинтересовался:

— Ночевать будем?

Шофер совсем смутился, интересный тип попался.

— Может, починим... А может, какая машина подойдет.

— Как же, жди, — хмыкнул Олег.

— Вернемся, — лениво, но с позиции силы пообещал Шарапов, — все Терехову доложу, будет твоему начальнику!

— Зачем? — обиделся шофер. — Может, починим сейчас...

Но прошел час, и пошел второй, и небо стало поскучей и как будто попрохладней, сыростью потянуло из пади, сыростью первых дней весны, хотя и полагалось быть лету, и ворот ковбойки пришлось застегнуть, но от этого не потеплело.

— Скинь мои вещи, — сказал Олег Шарапову.

— Держи. А куда ты?

— Я, пожалуй, пойду...

— Куда?

— К Будкову...

— Да? — сказал Шарапов. — Ну, валий.

— Спятил, что ли! — разволновался шофер. — Километров двадцать. Стемнеет скоро. Мы сейчас починим...

— Мне некогда, — сказал Олег, он улыбался снисходительно, — я как-нибудь дойду.

— Ты всерьез, что ли? — забеспокоился Шарапов. — Не дури. Переночуем на сене. А утро вечера мудренее.

— Да чего утро! Мы сейчас ее починим!

— Если почините, значит, меня догоните, — сказал Олег.

Они долго еще кричали ему вслед, ругали его и просили его, кто-то из них, унижаясь, жал на гудок, а Олег уходил, не оборачивался и благодарил себя за решимость, ему и вправду было некогда, где-то там, на благополучном разъезде, сидел Будков, довольный собой и спокойный, и этому процветающему человеку, которым Олег еще два дня назад восхищался, надо было объявить войну, надо было объявить и показать, на чьей стороне правда, а стало быть, и сила. Олег шел быстро, думал: «Ах, как здорово все же в тайге, воздух какой! Никуда я отсюда не уеду, не смогу. И как здорово жить на земле! Как здорово!»

Так он прошагал часа два, нет, точно два часа, он поглядел на циферблат, солнце уже унынуло за сопки, и темень потихонечку, сначала акварельной, несмелой, а потом уже и густой синевой, принялась затягивать, околдовывать землю. Дорога все петляла

в тайге, вскоре, наверное, собиралась лезть вверх асфальтической старушкой на сопку Барсучью и своими нерешительными и долгими шагами Наверх могла задержать и утомить Олега. Мышцы ног уже побаливали, и в спине что-то ныло, как в ту осадную ночь, но Олег не утишал свой шаг. Дорога и впрямь пошла вверх, значит, уткнулась в подножие сопки, Олег вспомнил об обходной тропе на перевал, он знал ее по прошлогоднему турпоходу, ему и в голову не приходило, что он может не найти тропу или сбрести с нее в сторону, он был уверен сейчас в своей удачливости и шагнул в синюю гущу наспившихся деревьев.

Потом, когда он блуждал в лесной черноте и роса насквозь промочила его одежду, а камни и кривые голые ветви, на которые он падал, обкарябали его, он мог, он должен был проклинать себя сто раз, сто раз называть себя идиотом и в конце концов свалиться в отчаянии в мокрую траву на черную землю, но он все шел и шел, он все лез в гору и все говорил себе: «Я должен добраться до Будкова, я доберусь. Иначе я ничто...»

Сколько времени он так карабкался, падая и все же поднимаясь, и куда карабкался, он не знал, ему казалось, что он уже оседлал сопку, но куда идти дальше, понять не мог, и когда наступила, взяла свое минута отчаяния, он махнул рукой и решил, что пойдет налево: там, где-то внизу, ему померещился шум реки. И через полчаса с крошечной проплешины впереди внизу он увидел огни поселка.

«Ну все, — сказал себе Олег. — Теперь-то и дойду».

Поселок спал, лаяли собаки, пары жались к черным коробкам общежитий. В домике у радиста Пытлякова, знакомого Олегу еще по Курагину, светились окна. Олег постучал.

— Олег? Заходи, заходи. Ты откуда?

— Где Будков?

— Что у вас случилось?

— Ничего не случилось. Просто мне нужен Будков.

— Ночь же... А днем он ездил в Кошурниково...

— Вот черт. — Олег устало осел на табуретку.

Потом, когда он укладывался спать на полу и ныло все тело, а ноги были в синих волдырях, он снова представлял, как будет говорить с Будковым, и видел Будкова жалким.

«Все же хорошо, что я дошел», — подумал Олег, ныряя в сон.

27

— 3 — здесь герой, да? Пусть спит... Молодец какой... — Слова эти были произнесены шепотом, но Олег услышал их.

— Спи, спи, — сказал Пытляков.

Он сидел на табуретке у окна и штопал носки.

— Кто это заходил? Будков?

— Будков, — кивнул радист. — Ты чего вскочил? Спи. Я тебе не буду мешать. Шестой час...

— Шестой час? — сказал Олег, опускаясь на пол.

И хотя Олег собрался бежать за Будковым и начать разговор, тут же, немедленно, перейти в атаку, чтобы не дать Будкову ни минуты белой безмятежности, он вдруг подумал, что спешить не стоит, а надо подготовиться к действию, и, закрыв глаза, принялся вести разговор с Будковым, тайный, вести с удовольствием, но вскоре слова стали путаться, и Олег задремал.

Он проснулся и понял, что проспал все на свете,

желтые жаркие пятна окружили его постель, жгли Олегу спину и бок.

Пытляков возился с рацией.

— Вставай, — сказал он, — беги в столовую. Она уже закрыта до обеда, но Будков велел оставить тебе завтрак.

— Будков заходил? — спросил Олег, натягивая брюки.

— Раза два. И еще тебя спрашивал один мужчина, ваш, сейбинский. Шарапов, что ли... Есть у вас такой?

— Есть...

— Сказал, что пошел по делам и к вечеру вернется. И машина тут.

— Вот черт, — вздохнул Олег, — а я сплю...

Аппетита у Олега не было, но он снова сказал себе, что спешить не надо, а надо подготовиться к действию, и потому он старательно и долго пережевывал кусок жареной печенки. Повариха хлопотала вокруг него и улыбалась ему, потому что сам Иван Алексеевич сказал ей про Олега добрые слова.

— Да, Иван Алексеевич приходил два раза, беспokoился.

День был жаркий, и по улице, по выбеленным солнцем деревянным тротуарам, Олег шел не спеша, будто разморенный, а на самом деле он почувствовал вдруг, что волнуется и что не очень веселое занятие ждет его впереди.

Тогда он подумал, что стал чересчур благодушным, как будто все простил Будкову и все забыл, забыл, что по вине этого распрекрасного Будкова, по милости его мучились сейбинцы не один день и не одну ночь, мокли в ледящей и грязной воде, а Тумаркин, тихий парень с черными, жалеющими мир глазами, лежит в Сосновской больнице, и кто знает, как срastутся его поломанные ребра. «Ничего, — сказал себе Олег, злость и решимость возвращались к нему, — сейчас наш Иван Алексеевич заплачет».

Контора размещалась в обычном бараке; раньше, при Фролове, управленцам было просторнее, но Будков решил отдать полдома под школу. «Ничего, потеснимся, чего нам, чиновникам», — сказал он тогда. Предбанника у Будкова не было и секретарши не было — не дорос еще, но табличка «начальник СМП» на зеленой клеенке двери висела солидная.

Будков сидел над бумагами за столом.

— Олег! Наконец-то! — шумно обрадовался Будков, встал стремительно, так, что ручка катанулась по настольному стеклу и свалилась на пол, оставив кляксы.

Он бросился Олегу навстречу, обнял его, смеялся, приговаривая:

— Ну молодчина, ну молодчина!..

— Проспал я, — хмуро сказал Олег.

— Ничего, нынче воскресенье, садись, рассказывай...

— А что рассказывать-то? Все в порядке...

— Сам понимаешь, мне все подробности интересны...

Олег поглядел на Будкова, оживленного, суеющегося, глядел на то, как он сигарету скачущими тонкими пальцами вытягивал из пачки, и понимал, что он и вправду обрадован его появлением в поселке и вправду волнуют начальника поезда все мелочи сейбинской жизни, и, несмотря ни на что, несмотря на все логические построения, несмотря на все слова, трозные, но справедливые, которые ему еще предстояло начальнику поезда сказать, видеть Будкова было Олегу приятно. Будков сидел свежий и выбритый, снежная рубашка его и галстук



с отливом напоминали Олегу об иных днях и иных местах, рубашка сидела ладно, был начальник поезда ловок, подтянут, худощав и жилист. Жаркий день прошлого лета вспомнил Олег: купались они однажды вместе в Кизире, смотрел тогда Олег на Будкова, смеющегося, шумного, прыгавшего от избытка сил по серой гальке, смотрел на его сухие эластичные мышцы, коричневую кожу, волосатый торс культуриста и думал: «Страстный он мужик, наверное...» И сейчас ему доставляло удовольствие видеть энергичное и умное лицо Будкова, живые его доброжелательные глаза, интерес в них ко всем подробностям сейбинской жизни.

— А Ермаков, Ермаков как? Ты видел Ермакова?

— Нет, я в больницу не заходил, — сказал Олег, — но наши бывают у него. Вроде поправляется.

— Кормились-то как эти дни? Не голодали? Я уж хотел выпрашивать вертолет. Не удалось... Нет, на самом деле все в порядке? А? Не успокаиваешь?

— Чего успокаивать-то? — вырвалось у Олега, и он неожиданно для себя улыбнулся. — Мы же взрослые.

— Ты не смейся. Я всерьез. Сегодня ночью из Кошурникова вернулся. Завтра к вам поеду. В крайнем случае послезавтра.

Будков заулыбался смущенно, застенчивая, нечаянная улыбка сделала лицо его ребячливым и добрым, знакомым Олегу, и Олег подумал, что этому приятному человеку он ничего не сможет выложить

достойно, Терехову надо было и вправду отправлять другого гонца. «Ничего, ничего, не все сразу», — пообещал себе Олег. А Будков все расспрашивал о наводнении и сейбинцах, и Олег отвечал ему обстоятельно, не спеша, терпеливо, умалчивая пока о главном. Он все ждал, что Будков не выдержит, выдаст себя, наткнется, напорется своими вопросами, своим беспокойством на темную историю сейбинского моста, и тогда уж Олег возьмет свое, поведет разговор по исследованному им в мыслях пути, не сделает ни шагу назад. Но пока Олег ерзал на стуле, и, как ни хмурился он, его обезоруживала застенчивая гордость Будкова — не так уж плохо иметь, черт возьми, начальника поезда с таким обаянием.

— Сапоги вы подсушите, ватники в шифоньеры спрячьте, вон какое солнце, у мух вторая молодость началась, — говорил Будков, запрокидывая голову, предлагая смеяться, короткие волосы его, зачесанные набок, касались голубой стены.

— Да, ребята не ради премий трудились, но теперь, когда все позади, не мешало бы и премировать их, там ведь и сверхурочные часы были, — сказал Олег, вспомнив наказ Терехова.

— Непременно, непременно, — закивал Будков, — это уж по справедливости будет, и так государство, честно говоря, с нами скупится, разве за наши условия такие гроши платят надо!

Он помолчал, словно обмозговывая что-то, и добавил серьезно:

— Премия будет.

— Вот и хорошо, вот и спасибо, — сказал Олег, радуясь за ребят, что получают премиальные, и тому, что сможет завтра рассказать на Сейбе, как сумел он прижать начальника поезда и выбить, несмотря ни на что, заслуженные награды.

— Это вам спасибо, — улыбнулся Будков.

— Кое за что вы и впрямь должны нам сказать спасибо.

— Что? — не понял Будков.

— Открытие мы одно сделали, — сказал Олег волнуясь.

— Что ж ты до сих пор молчал? — заинтересованно проговорил Будков.

— Так, к слову не пришлось, — буркнул Олег. — Видите ли, меня уполномочили...

И тут он начал, и тут он выдал этому Будкову, тут он все ему высказал, все, что надо было высказать, ничего не забыл, раза два посматривал в записную книжку, так, для видимости, для солидности, шелестел страницами, хотя никакой нужды в этом не было. Все шло хорошо, хотя в приступе воодушевления внимание его утеряло Будкова, и Олег не видел его бледного, позеленевшего, наверное, лица, но это не сбивало Олега, он знал, что Будков сейчас оговорен, разбит, и полки его бегут в беспорядке. И чем дальше говорил Олег, чем резче звучал его голос, тем большее наслаждение получал он сам, и, конечно, не от решительности и собственного голоса и не из-за своего умения быть смелым и сильным, а оттого, что он выступал от имени справедливости. Шпага, пять минут назад глухо стучавшая по полу, была вырвана из ножен и в д'артаньяновской удали теснила противника к стене, к колоннам с витыми листьями, резанными из камня, нет, вовсе не шпага была в руках Олега, а копье, в шершавинках стали, чуть нагретое его ладонью, копье Пересвета, и белый нервный конь нес его прямо на страшного Мамаева всадника, а тысячи воинов, укутанных кольчугами, замерли за его спиной, прятали за тишиной надежду и ярость, нет, и не копье это было, а прыгающая, подожженная рассветным

солнцем шашка, и белые, отстреливаясь, уходили к синему, влажному еще лесу... Да, мы ничего не можем простить или забыть, и я уполномочен вам это передать...

— Говори, говори, я слушаю, что ж ты остановился?

— Что? — сказал Олег.

— Говори, говори дальше.

— Вроде все, — сказал Олег.

— Все? — не поверил Будков.

— Все. — Олег даже пожал плечами.

Он устал, выложился, был опустошенным, не знал, что ему говорить еще, но самым неприятным и странным было сознание того, что дальнейший разговор ему вообще неинтересен.

— Ну, если все... — сказал Будков и встал. — Молодцы, что не затаили это в себе, — добавил он.

Несколько секунд видел Олег его лицо и не мог не заметить преобразования начальника поезда. Будков повзрослел и помрачнел, все мальчишеское ушло, и ступал он тяжело и неловко, куда девалась его спортивная пружинистая походка. У окна он остановился спиной к Олегу, вытащил сигарету и закурил.

— Жара, — сказал Будков.

Олег кивнул невольно, хотя должен был бы игнорировать слова Будкова, не имевшие никакого отношения к делу. «Все же он волнуется, — не без удовольствия подумал Олег. — Волнуется, еще как!»

— Да, не думал я, что дело такой оборот примет, — сказал Будков.

Он снова сел за стол и снова был напротив Олега, прежний, жилистый, ребячливый, только несколько опечаленный.

— Неужели ты, Олег, — улыбнулся Будков, и в улыбке его были чувство правоты и боль от нанесенной ему обиды, — мог подумать, что во всей той истории у меня был злой умысел?

— Я вроде гонца, — сказал Олег, — меня послало собрание.

— Нет, вот ты сидишь передо мной, а никакого не собрание, и я прошу тебя ответить, только честно, неужели ты мог поверить, что я совершил, если хочешь, преступление?

— Я не знаю, — смутился Олег, — тут еще надо разобраться.

Он произнес это робко и, хотя до сих пор говорил не чужие слова, а свои, да и теперь ничего не изменилось в его отношении к Будкову, все же как бы давал понять, что есть у него собственное мнение и не такое суровое, но вот собрание поручило ему донести общее мнение, и он вынужден выполнить волю других.

— Видишь, — печально сказал Будков, — ты не знаешь...

— Собрание меня послало...

— И ребята на Сейбе многого не знают. Хотя бы того, что о гравии в ряжах кому надо давно известно... Я доложил...

Последние слова Будков произнес неожиданно и поспешно, словно только что придумал их и боялся, что им не поверят.

— Я не знаю, — пробормотал Олег, — тут все надо взвесить...

— Что я себе дачу из этого бута хотел построить, а?

— Но нас ведь это взвинтило... В бумагах-то вместо гравия бут был записан...

— Так получилось... Но инициатива была не моя...

Он помолчал, давая Олегу время обмозговать, чья там была инициатива.

— Иного выхода не было, Олег, сейчас долго

объяснять, но это так... А ведь и выгода вышла огромная... Что касается честности — я понимаю, это больше всего вас волнует, и это здорово, — то тут тоже все соблюдено. Сейчас я покажу тебе бумаги и копию моей докладной и отчет, в них записано все...

Он открыл сейф, порылся в папках, вытащил два подколотых листа, усеянных цифрами и индексами, непонятными Олегу знаками и сокращениями. Олег держал листочки волнуясь, и черные буквы подскакивали, Олег пытался осилить их смысл, уцепиться за него, но ничего не выходило, и он протянул Будкову.

— Понял теперь? — спросил Будков, пряча документы в сейф.

— Понял... — судорожно кивнул Олег.

Он глядел себе под ноги, а ему надо было глядеть в лицо Будкова, в его глаза, тогда он и в самом деле мог бы кое-что понять, но он глядел под ноги на коричневые крашенные доски и думал, что с двух подсунутых ему листочков запомнились слова странные — бетон, щебенка и еще что-то — с чего бы вдруг тут писать о бетоне, ему было стыдно, что он в волнении не смог осилить смысл листочков, а попросить их снова он не решался, боялся показаться Будкову человеком легкомысленным или тугодумом.

— Нет, все я не о том, — сказал, огорчаясь, Будков. — Прав я или не прав — какое это имеет значение... Важно, что мост есть, что мы ворвались в тайгу на год раньше... Это мало? Нет, старик, это много... Понимаешь, столько беспорядка еще в нашем деле, что иногда из высших соображений, мучаясь, приходится идти в обход... Твой Терехов Ша-рапова-то посылает на дело с сумкой бутылок... Так полагается? Ведь нет... А что делать? Ты не подумай, что я пытаюсь оправдываться теорией насчет цели и средств, сам знаешь, куда эта теория может привести, мы уже нагляделись. Нет, надо знать разумную меру.

Будков говорил еще долго и непривычно для себя ровно, успокоенно, как будто убаюкивал, укачивал Олега, а Олег все думал о тех двух листочках, пропавших в сейфе, и теперь ему казалось, что слова о бетоне и щебенке померещились ему, все на тех листочках было точно и относилось к делу; теперь ему казалось даже, что он помнит все напечатанное на серой бумаге, от первой до последней строчки. В спокойном голосе Будкова Олег слышал теперь укор, и он жалел уже о лихой атаке, и ему хотелось сказать Будкову что-нибудь приятное.

— Почему мы так взвинтились, Иван Алексеевич, почему нервничали-то? Потому что устали здорово...

Эти слова звучали как извинение, они сводили на нет всю его пламенную речь, но Олег тут же сумел убедить себя в том, что он сейчас искренен и перед Будковым не заискивает — не такой он человек, чтобы перед кем-либо заискивать, — а сейбинцы погорячились, это уж точно, погорячились, вспыхнули из-за какой-то ерунды, из-за пустяка, мелкого, как гравий, и его, Олега, заразили своим заблуждением.

— Зря ты, Олег, оправдываешься, — улыбнулся Будков. — Все вы делали правильно, я бы и сам на вашем месте возмущился.

— Нет, Иван Алексеевич, что бы вы ни говорили, а вели мы себя недостойно, по-женски, — сказал Олег и добавил для убедительности, — по-бабьи, знаете...

— Зря, зря ты, Олег... Вы молодцы. И хорошо, что у нас в поезде ребята не безразличные, а будь здоров хозяева.

Долго они потом сыпали любезностями и могли

быть довольны друг другом и собой, но Олегу все-таки казалось, что он поступил нехорошо, так быстро изменив свое мнение, а кроме того, ему было жалко, что разговор пошел не так, как он его себе представлял, и пропадали хорошие слова, которые он заготовил. «Что-то тут не так», — думал Олег. А что тут не так, уловить он не мог еще и потому, что был углублен в себя, все оценивал свое настроение и свои слова, а Будковым почти не интересовался.

А если бы Олег был внимательнее, то увидел бы, что Будкова привели в смятение его слова, и не сразу и нелегко начальник поезда успокоился. «Надо же, — судорожно думал Будков, — докопались археологи...» Ему стало жалко себя и обидно, что из-за этой ерунды, из-за его тогдашней неловкости все в его удачливой пока инженерной судьбе может полететь к черту. «Терехов, конечно, Терехов, — досадовал Будков. — Так я и думал...» Он злился на Терехова: «Тоже мне благородный рыцарь, позволил себе перчатку бросить — «иду на вы». Иди, знаешь, куда...» И злился на Олега, тереховского гонца: уж больно красиво и страстно тот говорил, самому Будкову стало знобко, а если вдруг с такой речью выступит Олег на собрании — пиши пропало, народ у нас чувствительный. Но больше всего Будков злился на самого себя. Кто же, как не он, был виноват в этой истории! Терпения не хватило... «Авантюрист, авантюрист! — говорил себе Будков. — Зачем спешил?...» А через минуту снова ругал себя, потому что в запале начал врать Олегу, пообещал показать несуществующие бумаги и вынужден был открыть сейф и подсунуть Олегу листочки из папки, в которой хранилась документация щебеночного завода, и было чудом, что Олег не рассмеялся ему в лицо. Если б это случилось, если б поднял Олег торжествующие глаза, он готов был воскликнуть: «Ах, извини, я, кажется, перепутал» — и снова бы сунул в сейф, но что было бы дальше? Олег не поднял глаза, пальцы его дрожали, а веко дергалось. Закрывая сейф, Будков торопился, думал: «Плахтин-то волнуется еще больше меня... Все уладим, уладим...» Он понимал, что самое главное сейчас — уладить все, обезвредить невзорвавшуюся мину, да так, чтобы все пришли к соглашению, чтобы не было обиженных или недоумевающих, не повис бы над ним дамоклов меч. Да, впрочем, разве меч? Так, заржавевшее шило... Что он ради своей сытой жизни, что ли, старается? Все ради одного: чтобы людям было лучше, чтобы вагонные колеса быстрее застучали в тайге. И хотя ругал себя Будков за авантюризм, за бумажки эти липовые, он успокаивался, говорил уже снисходительно и миролюбиво, и в голосе его звучала обида на сейбинских ребят, не понявших его. «Все уладим... И с Олегом сейчас улажу, и со всеми сейбинскими, и с Тереховым. А уж с Олегом-то... Что-то он мне сегодня не нравится... Хотя он всегда такой... Начал с запалом, аж в холодный пот меня вогнал, а сейчас извиняется... А может, он прикидывается, понял, что там на листочках, а теперь врет...»

Будков, подумав так, поглядел пристально, зло, в упор на Олега, а это было совсем ни к чему. Будков заметил испуг в глазах Олега, и это его удивило: «А он ведь трус...»

Он встал, сказал, как бы объясняя мгновенную свою вспышку:

— Да, обидели вы меня...

«Черт возьми, — думал Олег, — а он ведь и вправду обиделся на нас. Еще бы не обиделся! Он и разозлился на нас. И на меня, естественно. На меня-то в первую очередь».

Ему стало не по себе, он не мог объяснить, почему испугался Будкова, словно от этого разговора зависело его, Олега, будущее, и сейчас будущее это рисовалось ему черным.

— Вы уж, Иван Алексеевич, не обижайтесь на наших ребят... И на меня тоже... Устали мы, а нас завели...

— Кто же вас завел?

— Да Терехов,— с неохотой и досадой сказал Олег.

— Терехов? — удивился Будков. — Я очень уважаю Терехова.

— Я тоже уважаю Терехова,— кивнул Олег.

— Знаешь, Олег,— значительно сказал Будков,— поговори с Тереховым как друг... Убеди его, что он зря свару затевает... Ничего хорошего для него не выйдет... Да и для дела...

— Понимаю,— кивнул Олег. — Я попробую его уговорить, только вряд ли он остынет...

— Тем хуже будет для него! — сурово сказал Будков.

Он уже обдумывал ходы завтрашних стычек с Тереховым, и ему не терпелось, не откладывая, немедленно, теперь же показать Терехову свою силу и то, как он прочно стоит на земле, на горбатых саянских сопках, и этому мастеру пламенных речей, сидевшему возле его стола, не мешало бы напомнить, кто такой Будков.

— А ты, Олег,— сказал Будков,— если Терехов затеет склоку, проявишь здравый смысл?

— Я... Если... — смутился Олег. Потом сумел все-таки сказать весомо: — Я человек самостоятельный.

Будкова уже разжигало столь знакомое ему желание сломить своего собеседника, подчинить его мнению своему. Он любил ощущать силу собственного характера, а человек сидел перед ним слабый и трусливый, хотя в чем-то и симпатичный.

— Вот и хорошо, что ты самостоятельный.

— Есть голова на плечах...

— И какая! — сказал Будков.

— Ну, какая-никакая... — обиделся Олег.

— А я серьезно.

«Может быть, он и серьезно,— подумал Олег,— но злость-то из него не вышла. Вон какие у него глаза». И хотя Будков ничем не угрожал ему, да и ничем не мог угрожать, никак вовсе не зависела судьба Олега от Будкова, и вот, надо же, чувствовал он себя скверно, маленьким человечком, перед которым грохочет, на которого надвигается исполинская неуклюжая машина, и Будков поглядывает из высокого окна этой фырчащей машины. И чтобы скинуть с себя давящее чувство, чтобы припугнуть железного своего ровесника, Олег сказал строго:

— Терехов решил действовать не сгоряча, а всерьез.

— Он пожалеет. И те, кто поддерживают его, пожалеют.

И снова взгляд его обжег Олега.

— Я говорил Терехову, что это только делу навредит,— поспешно сказал Олег. — Но разве он меня послушает?

— Чистюлей ваш Терехов хочет быть, чистюлей...

— Я уж объяснял ему, что есть вещи вынужденные... Ведь вот и сам Терехов в горячке боя — у нас в эти дни настоящий бой был — ударил сейбинского мужика и, по сути дела, украл у него лодку, но без этой лодки мы бы не спасли мост...

— Что, что? — заинтересовался Будков. — Ударил?

— Ну да,— сказал Олег. — Веслом по голове, сшиб его... В милиции заявление лежит... Тот чуть сознание не потерял... Но что было делать иначе!

Олег говорил так, будто оправдывал Терехова и даже гордился его поступком, но сам-то он прекрасно понимал смысл своих слов. И по тому, как ожили глаза Будкова, как прищурились они, Олег знал, что сейчас Иван Алексеевич доволен им и его вестями, и он не мог остановиться и все говорил, говорил, сообщал подробности нервных действий Терехова, и ему казалось, что все его слова — правда, так оно и было в злополучный мокрый день, хотя сам он ничего не видел с сейбинского берега и еще вчера с достоинством отчитал Шарапова, принесшего лавочную сплетню. Не удержался Олег и, хотя Будков и не тянул его за язык, взял да выложил, как в суматохе Терехов велел Чеглинцеву бросить машину под удары бревен, может быть, нужды в этом и не было, а машина теперь покорежена, естественно, Терехов погорячился...

— Но что было делать! — развел руками Олег.

— Да-да-да,— примирительно сказал Будков.

Глаза Будкова уже не были злыми, они даже стали чуть-чуть сонными, словно бы надоел начальнику поезда весь этот разговор.

«Ах, какое я ничтожество! Какой подонок! — думал Олег. — Что я натворил! От всего открестился. Что я наговорил о Терехове, какую чушь выдумал!.. Зачем это... чего я боюсь?»

А Будков стал совсем благодухным. Приятным, интеллигентным человеком, известным Олегу. Интересовался нуждами поселка.

— Мы вам сейчас все подберем, как в Антарктиду.

— Люди нам нужны,— вспомнил Олег тереховскую просьбу.

— Хорошо, дадим,— сказал Будков и сделал запись на календаре.

Они говорили еще долго, шутили, улыбались друг другу, а потом Будков сказал, что Олег ему давно нравится и он хотел бы, чтобы Олег стал его союзником, хорошим товарищем, с которым можно поговорить, поболтать, обмозговать кое-что, узнать про обстановку на Сейбе, про настроение, — все-таки люди там разные. Последние слова Олег как бы упустил, а стать товарищем Будкову он был рад.

— Да, знаешь,— сказал, помолчав, Будков,— я хочу тебя рекомендовать комсогом всего нашего поезда. Как ты на это смотришь?

— Как-то это неожиданно,— удивился Олег. — Потом я-то что? Народ ведь выбирает...

— Ну, народ народом,— сказал Будков.

— Подумать надо...

— Подумай, подумай,— кивнул Будков,— я ведь серьезно...

Они еще говорили, теперь уже об абаканских новостях, о спорте. Будков предложил Олегу остаться переночевать у него, но Олег отказался, он хотел теперь же возвращаться в Сейбу — ведь там ждет его жена.

— Какая жена?

— Да вот какая... — улыбнулся Олег.

— Ты мне главного что же не рассказал?

И пошло и пошло. Будков поздравлял Олега, обещал прислать подарок, к автобусу проводил (утром открылось движение на Сосновку). На остановке Будков все хлопал его по плечу и приговаривал:

— Ну, ты даешь. Со свечами, значит...

А Олег улыбался и думал: «Все-таки он человек приятный, такого будешь уважать. Вот наш Терехов тоже хороший человек, но все же дубоват».

Было еще светло, но Будков щелкнул выключателем. На чердаке был порядок. «Ох, как душно!» — подумал Будков и, скинув рубашку и брюки, подсел к своему рабочему столу. Чердак был его кабинетом, его лабораторией и его храмом. Когда он приехал сюда с Сейбы, его семье отвели дом прежнего начальника поезда Фролова. Это был не дом, а особняк из фельетона, и Будков возмущался. Во фроловском доме разместили четыре семьи, а Будков перебрался в свободную квартиру в финском коттедже, однокомнатную, с кухней да вот еще с высоким чердачком для хранения всякого хлама. Чердачок и приспособил Будков под кабинет, настелил пол покрепче, стены обоями оклеил, чертежную доску приволок и потом ни разу не жалел, что отказался от особняка. Может быть, не будь этого тесного уединения под самым небом, не приходили бы к нему решения, столь смелые и озорные.

Нынче Будков собирался поработать над приспособлением для балластировочной машины; последний месяц все свободные вечера он бился над этим приспособлением. Скоро укладка путей должна была начаться вовсю, и надо было спешить.

Усевшись поудобнее, Будков протянул руку к полочке, на которой лежали маленькие черные сухари, и взял один сухарик. Сухарь был что надо, и Будков посасывал его, как леденец, покачиваясь в самодельном легкомысленном кресле. Каждый день, когда Лиза убирала на чердаке, она находила полочку пустой и аккуратно выкладывала новую пайку сухарей. Будков был доволен, когда попадались корки горьковатые, подгоревшие, черные, резаные до засухи мелко. Будков привык посасывать хлебные леденцы и без них вообще не мог представить себе вечерних занятий на чердаке. Он стеснялся своей привычки, и никто, кроме Лизы да пацана, здесь в Саянах о ней не знал. Привычка была давняя, и навязала ее война. Тринадцатилетним мальчишкой вкалывал тогда Будков учеником токаря на авиационном заводе, на фронт не взяли из-за малолетства, хотя на военный завод пробился, к тому же мать все время болела после похоронной на отца, и он месяцами был ее и своим кормильцем. Тогда мать и надумала сушить корки. Будков таскал их в цех, иногда даже подкармливал своего приятеля Кольку Хвостова, и, может быть, именно эти корки и помогли им держаться в цехе тяжкие и долгие часы.

Потом, когда наступило время посытнее, а матери уже не было, Будков сам сушил корки для себя и для нее, хотя ее уже и не было, грыз потихоньку сухарики, посасывал их и видел материны ласковые глаза. В студенческие годы сухари тоже оказались не лишними, а теперь помогали ему в его взрослых заботах.

Два часа просидел Будков над доской, в обязательных перерывах баловался гантелями: мышцы разминал — и мог бы сидеть еще долго, но все-таки почувствовал себя усталым, — последние дни были не из легких, и он разрешил себе отдохнуть.

И после вечерних занятий Будкову перестал казаться неприятным разговор с Олегом. Он с удовольствием вспоминал, как осадил и сломал этого сейбинского оратора, неглупого парня, неглупого. Да и что тут было волноваться! Ведь тот таежный мостик и вправду чепуха.

«А Исполньов-то каков! Впрочем, что от него можно было ждать?» Но, злясь на Исполньова, Будков

понимал, что отплатить за его предательство (хотя какое это предательство — продают друзей), отплатить за его подлость он не сможет. Да и не станет. Было бы паршиво, если бы он, в свою очередь, сотворил подлость.

И все же Будкову приятно было вспомнить те знойные дни, когда они с Васькой и его бригадой вкалывали на Сейбе. Ребята подобрались шальные, мастера, руки — что твои слябинги-блунинги: все могут, попросили бы их да к прочему пол-литра бы пообещали — парни эти и кижские соборы поставили бы в тайге. А как они мост делали, сколько раз Будков, уловив секунду, смотрел с наслаждением на мелодичную их работу и думал: «Как здорово, как прекрасно! Вот так бы и мне с ними всю жизнь, и ни о чем больше не думать — ни о каких планах, ни о каких Фроловых». Будков слушался всех команд, удивлялся Васькиной краткости, умению бурлацкой лямкой тянуть за собой мужиков. Лишь в тихие часы вечерней усталости позволял себе Будков разговаривать с Исполньовым на равных и, может, зря, а может, нет, все как на духу выкладывал Ваське, не умел тогда держать за зубами то, что его волновало. А он жил мостом и тем, ради чего этот мост строился.

Те месяцы, когда Будков начинал инженером в Саянах, приглядывался, да примеривался, в шкуру итеэровскую влезал, повезло ему с начальником: хриплоголосый Фролов принял его к себе в проба.

Поначалу Будков на рожон не лез, считал, что после диплома главное для него — восстановить уверенность в себе самом. Фролов возмущал его, но, несмотря на всю свою свирепость, начальник поезда скорее вызывал у Будкова иронию. Будкову казалось, что время Фролова кончилось, что все и всюду — и в Курагине и в Абакане — видят самодурство Фролова, его полную техническую беспомощность или хотя бы человеческую тупость, а потому вот-вот, ну, не сегодня, так завтра, но уж обязательно с позором Фролова выгонят. Но шли дни, недели, месяцы, а Фролова не выгоняли. Его журили часто, иногда объявляли взыскания, а иногда и благодарностями в приказах обласкивали, потом снова журили, но гнать не гнали.

И когда перестал Будков чувствовать себя несмышленым практикантом, а Фролов все был над ним, все командовал им, все мешал ему и другим мешал, — это начало раздражать Будкова всерьез. Дело было не только в том, что Фролов позволял себе кричать на него, оскорблять его в конце концов, — Будков мог бы и стерпеть это. Дело было в том, что распоряжения начальника поезда заставляли его разводить руками. Фролов устарел, отстал от времени, баней бы ему заведовать в Абакане, пар поддерживать да следить, чтобы пиво в буфете не разбавляли, а он пытался тянуть такую махину.

Будков привык трезво смотреть на людей и свои возможности оценивал трезво, он понимал в спокойных рассуждениях, что, будь начальником поезда, он принес бы пользы во много раз больше, чем Фролов. Он ощущал себя лейтенантом, который попал под команду тупого и грубого майора, но лучше его знал, как можно распорядиться батальоном. И он не хотел слушаться тупого майора.

И вовсе не из-за стремления к карьере. Просто еще в холодном и гудящем цехе авиационного, в натянутую струной пору своей первой зрелости Будков знал, ради чего он, тринадцатилетний пацан, пришел на завод, подставлял мужским зубам худенькую спину и выдерживал такие тяжести, какие и машине не под силу. С тех пор он и положил се-

бе за правило: «Если не ты, то кто же?» — и брался за дела, от которых отказывались его приятели, прекрасно понимая, что ждет его впереди. Как и все его однолетки, он на трибунах не шумел, но переваривал все всерьез, тяжело, про себя и дал обещание и впредь не шуметь, а делать, делать то, ради чего история взорвалась революцией, быть ее практиком, быть ее ассенизатором и чернорабочим. Впрочем, последнее говорилось себе ради красного словца, чернорабочим Будков уже побыл, а когда он поглядывал на своих однокурсников-малолеток, он иногда подумывал о несправедливости времени, уравнивающего несоизмеримое, и о том, что он, пожалуй, имеет больше прав на житейское и служебное благополучие, чем они. Но мысли эти Будков гнал, подставлял плечи пудовым общественным тяготам и был готов взвалить на себя обязанности потруднее, если бы понадобилось. Он и в Саяны распределился без особых раздумий и не из-за видений грядущих удач.

А в Саянах, встав на ноги, миновав пору ученичества и трезво взвесив все, он пришел к убеждению, что и впрямь, сменив Фролова, принесет больше пользы людям и делу. И он решил сменить Фролова, в решении своем не видел ничего постыдного и нечестного, это был реальный подход к делу. Если бы появился в поезде человек толковее его, Будкова, Будков с охотой согласился бы работать у него прорабом или мастером. Но такого человека пока не было.

Первые его попытки установить в поезде справедливое положение вещей были не приняты или не замечены. Фролов, конечно, понял его, не такой он уж дуб был, волчьими петлями уходил он из-под красных флажков, затаивал злобу. И Будков знал: дай он малейший повод, Фролов своего не упустит. Шишки набить Будков не боялся, но сознание того, что предпринятые им рискованные и трудные действия бесплодны, удручало его. Когда он раздумывал над причинами неудач, он приходил к мысли, что Фролов выкручивается средствами запрещенными, подлыми, не брезгает ничем — ни обманом, ни интригами, он же, Будков, ходит тропками прямыми, не нарушая чести и морали. Он и не хотел нарушать их, но понимал, что путь к правде будет долгим и, может быть, мучительным.

В один прекрасный день он спросил себя: «А почему бы с волками не поступать по-волчьи?» Тогда и надумал он пойти иным путем, не фроловским, подлым, нет, а окольным, что ли. Для начала нужно было, чтобы на него обратили внимание и невольно сравнили с Фроловым. Теперь он старался быть замеченным, толково и ярко выступал на всяких совещаниях с президиумами, печатался в многотиражке с дельной критикой и оставлял зарубки в мозгах. Потом пришла очередь моста. Он и тогда не был уверен да и сейчас не уверен, что мысли его были самыми разумными, и все же идея деревянного моста увлекла его, и он горы сдвинул, а проект пробил. Магические слова повторял в спорах: «Зато мы сможем уже в этом году решительно увеличить освоение капиталовложений». И все задумывались: «Да, освоение капиталовложений...»

Ох, как спешил Будков тогда с мостом, ох, как спешил! И исполновские парни спешили: они-то Фролова тоже ненавидели. А Фролов как раз поймался на какой-то махинации, потянули его в Абакан, драить собирались, но Будков чувствовал, что и на этот раз Фролов останется при своих интересах, выговором строгим отделается, ну в крайнем случае ему не поздоровится по партийной линии, а снять не снимут, не снимут, подумают: «Сукин он,

конечно, сын, но кто его заменит? Есть там один молодой, Будков, вроде толковый, да какой он в деле, пока неясно...»

Ох, как Будков хотел послать в Абакан телеграмму с Сейбы: «Мост готов», — готов на месяц раньше срока, нате вам, пожалуйста, пускайте в оборот сотни тысяч и подумайте, нет ли Фролову замены! Ох, как хотел он послать тогда эту телеграмму в Абакан! Дорого яичко к христову дню, а бута не было, проклятого бута не было, мелкий гравий мозолил глаза, мелкий гравий подскакивал в кузовах самосвалов. Что было делать?

«А, пошло все к черту! Будь что будет!» — махнул тогда рукой Будков, не выдержал, так ему хотелось послать телеграмму, утречком, в день обсуждения Фролова, взвинчен был, наркоманы, наверное, меньше мучаются, мечтая об уколе морфия, пальцы Будкова дрожали на Сосновской почте, когда заполнял он зеленоватый телеграфный бланк. «Ничего, через пять дней я достану бут и заложу его в ряжи», — успокаивал он себя, а уж через три дня привалила комиссия, и ничего ему не оставалось, как водить ее за нос, врать, холодею, и подписывать липовые бумаги. «Сейчас они все узнают, увидят, какой позор, так тебе и надо, авантюристу...» Ничего не увидели, руки жали, вскоре Будков стал начальником поезда, значит, попал со своей затеей в самое яблочко. Он все обещал себе, что, конечно, в самые ближайшие дни загрузит ряжи, и все будет, как в бумагах, но когда бут пришел наконец, Будков забоялся устраивать починку моста и погнал машины дальше к Тролу.

Он еще долго психовал из-за моста, все ждал, что правда откроется, и себя укорял, но шли дни, наваливались новые заботы, и все они были познательнее прежних, и Будков либо забывал о мосте, либо вспоминал о нем, как о чем-то мелком и второстепенном в своем новом большом хозяйстве. Дела в поезде шли прилично, все видели пользу от смены руководства, и Будков даже в часы самокопаний говорил себе, что вреда сейбинская авантюра никому не принесла и вряд ли принесет. Кроме всего прочего, он пришел к выводу: столько всяких объективных обстоятельств, столько, мягко сказать, несовершенных людей мешают делу или тормозят его, что волей-неволей и впредь придется для пользы дела иногда ступать на окольные тропки. Но и знать разумную черту, за которой начинается или оплошение дела, или преступление.

«А неужели мне быть неловким рохлей или преискуснодушным карасем и не обращать внимание на то, что из-за этой неловкости, из-за этого преискуснодушья страдают твои же люди, дело страдает? Фроловы нам не нужны, но и чистоплюи тоже. А нужны деловые люди, хваткие, цепкие, но и честные, умеющие тянуть бечеву и которых не проведешь...»

Он и себя относил к деловым людям и понимал, что, пожалуй, преуспел в своих стараниях: его энергия, его пробивные способности, умение привить в поезде современные методы работы были оценены — поезду не раз вручали переходящие знамена и премии, а рабочие его жили лучше да и денег имели больше, чем их соседи, это точно, уж этому-то он был рад. И еще он был рад тому, что сам повзрослел, научился многому и теперь, наверное, мог бы потянуть бечеву и потолок.

Но и горькие привкусы появились в его жизни. Кое-что приходилось делать скрепя сердце, морщась, и в самом себе многое не нравилось. Вот хотя бы эта чертова система нужных людей. Всюду: чтобы, скажем, ребят своих фронтом работ обеспечить,

достать машины или резину к ним или даже завезти в поселковый магазин паршивые футболки и кеды «Два мяча», да мало ли еще для чего, для будущего, на всякий случай — всюду приходилось заводить этих самых нужных людей, заискивать перед ними, задабривать их, поить их, просто льстить им.

Или то, что он приучился подлаживаться в разговорах к своим собеседникам, независимо от того, кто они, министры или уборщицы. И все для того, чтобы они были довольны им или по крайней мере не были им раздражены. Словно бы вцепилось в него невидимое и хитрое устройство, не поддающееся контролю с его стороны, которое мгновенно оценивает собеседника, насквозь его просвечивает и тут же настраивает как надо язык начальника поезда. С одним рабочим Будков разговаривал интеллигентно, потому что тот приехал из Ростова после десятилетки, по вечерам корпел над книгами и хотел видеть своим начальником интеллигентного человека. С другим рабочим Будков говорил грубовато, сыпал матерными словами, потому что этот рабочий интеллигентов презирал и не стал бы уважать начальника, если бы тот не ругался матом. Третьему требовались шуточки и анекдоты, и Будков, как фокусник, вытаскивал для него шуточки и анекдоты. И для каждого из своих начальников Будков тоже находил особый стиль разговора, и все они вроде бывали им удовлетворены. На одного Будков и покричать себе позволял — тот не терпел рохль, а уж другому находил слова деликатные и учтивые, поскольку это был очень обидчивый и мнительный товарищ. Ничего зазорного во всем этом как будто и не было, и все же что-то в этих метаморфозах его угнетало...

Или эти его авантюры... Конечно, нужно от них отказаться... Сколько раз он обещал себе, что история с мостом не повторится, а нет, повторяется... Но что делать? Увы, он не идеальный человек, да и не боги горшки обжигают, а обжигать-то надо...

Нет слов, тереховские требования благородны, и он, Будков, разделяет их, но они, наверное, рассчитаны на вакуумные условия. Вот ведь как. Хотелось бы посмотреть, как у Терехова самого дело пойдет, как он запоет. Впрочем, что тут врать, доводилось ему видеть Терехова в деле. И не раз. В том-то и суть, что доводилось. И сидел Терехов занозой в будковской совести, хотя Будков говорил, что любит и ценит Терехова и что никаких столкновений между ними быть не может, он все же послал его на Сейбу, от себя подальше — ощущение того, что живет с тобой рядом человек и как бы невзначай берет высоту, которую, по будковскому разумению, и пытаться-то брать бессмысленно, ощущение это было Будкову неприятно.

Так, так... Будков прохаживался по чердаку. Три шага к окну, три шага назад и опять три шага. Нет, он не пойдет ни на какие уступки, если Терехов заупрямится, этот сейбинский «прораб на час» еще пожалеет о своей горячности. Привыкший обдумывать ходы заранее, умеющий видеть их молниеносные и взрывные удары, Будков прикидывал теперь варианты возможных исходов заварившейся истории. Даже если бы Терехов добился своего, люди не дураки, они уже узнали Будкову цену, не завтра, так через полгода они спохватятся, просто он им понадобится в тяжкий час, и они призовут его, успокоив самих себя: «Он все понял, больше не будет, а человек достойный, и мы с ним погорячились...» И уж любить будут крепче, чувствуя за собой вину. А Терехов... что Терехов? О нем скажут: «Конечно, дельный он, честный, но зачем тогда шум поднял? Конечно, он принципиальный, но, может, он и склочник...» И не простят ему его прямоты и в

честности станут искать корысть. Но скорее всего в победителях будет не Терехов, а Будков. Надо погасить искру, ногой ее растоптать. Может, не на Сейбу податься, а сразу в Абакан? Кто поддержит Терехова? Сейбинские? Ну и пусть... И все? Не густо! Хотя ведь есть Зименко и его штаб...

Вспомнив о Зименко, который уже непременно будет поддерживать Терехова, тоже чистюля, Будков присел в креслице и закурил. И ему стало горько, как давно не было. «Крутишься, крутишься, — думал Будков, — чтобы сделать людям хорошее, и ведь получается, пусть там себе невроты зарабатываешь или колики в боку, — и вот, нà тебе! — из-за стародавней мелочи все может пойти прахом. А что ему оставалось в тот злополучный знойный день? Ведь распрекрасный Терехов тоже небезгрешен, Олег Плахтин много о нем порассказал. Сведения эти были для будковских ран бальзамом, и не только потому, что их можно было пустить в атаку — «в свое время, в свое время...», а главным образом потому, что они успокаивали Будкова: «Терехов, как и ты, ничем не лучше...»

«А Плахтин-то, — подумал Будков, — и впрямь может быть полезен». Хотя он предложил Плахтину стать комсоргом поезда просто так, сгоряча, вроде наградил его за смирение, может, и вправду стоит двинуть Олега в комсорги. Надо подумать. Зименко рекомендует Терехова, Терехова-то, конечно, избрут, но много ли толку будет от его содружества с начальником поезда? Нынешний комсорг слаб, Будкову не помощник, а Будкову нужен именно помощник, не оппонент и не критик с претензиями на самостоятельность, каким захочет стать Терехов. Конечно, все нынче должны быть хозяевами и иметь собственное мнение, а изменить их мнение, если оно не совпадает с твоим, можно лишь в споре, убеждением, железными доводами — это Будков знает, но на это уходит уйма времени, а его нет, времени-то, и тратятся мотки нервов и клеточки мозга, а они на ремонтируются, так уж лучше иметь под руками дельных соратников, которые бы понимали тебя с полуслова... «Хватит, — сказал себе Будков, — утро вечера мудренее».

Когда он спускался с чердака, взвизгнула доска перильцев; она не скрипела, не пищала, а взвизгивала, как только он в темноте к ней прикасался, каждый раз он давал себе слово прибить ее, но все забывал в суматохе дней. «Завтра дам сыну молоток, пусть приколотит. Пусть приучается...»

29

Утром Олег бродил по поселку.

Он выспался, был бодр, а ссадины и синяки болели чуть-чуть.

Все останавливались возле него на улице, расспрашивали его, сочувствовали ему и восхищались им.

Сегодня он был на Сейбе героем. Уж столько слухов разбрелось по поселку, и столько было в слухах этих преувеличений, что Олег удивлялся, слушая рассказы о себе самом, возмущался и говорил: «Да что вы, ребята, да откуда вы такое взяли...»

Он уже давал себе обещание никому ничего не рассказывать: хватит, стыдно хвастаться, но встречался новый знакомый, и все начиналось сначала. Олег увлекался, руками размахивал и сам не замечал, как переступал разумное, и в запале, без всякой дрянной корысти сочинял о себе такое, чего и в помине не было. И уж ночью в тайге он шаги медведя слышал, и Будков, бледный, холодел перед ним, отступая, отступая к стене, сломленный натиском Олеговых

слов. «Да...—многозначительно говорили собеседники Олега,—молодец...» Олег и сам теперь знал, что он молодец, и ему казалось уже, что все вчера было именно так, как он рассказывает.

День стоял чудесный, небо, высокое, голубое, казалось, смягчало удары солнца, и тайга голубела рядом, а птицы, презирая будничные металлические звуки работ, пели лето. Все было чудесно, и даже синяки и царапины не казались Олегу уродством, не смущали его, они были как медали, как боевые шрамы. Все было чудесно, о прочем же стоило забыть.

О том, как приехал вчера на Сейбу, как боялся взглянуть Терехову в глаза и прочесть в них выжженное и спокойное: «Предатель»,—как боялся увидеть сейбинцев, которые ждали его, наверное, с затаенной тяжелой ненавистью. Как боялся встретиться с Надей...

Но Терехов был с ним ласков. Он ничего не знал, ничего. И никто ничего не знал. А Надя ждала машину на поселковой площади, у сарайчика прорасковой конторы, и, когда Олег, пошатываясь, вылез из кабины, бросилась к нему, обняла его. Кто она была ему там, на площади, жена или мать, не все ли равно, она любила его, и влажные ее глаза обмануть не могли. А все сомнения, мучившие Олега раньше, ничего не стоили в сравнении с Надиной любовью, в сравнении с этими мокрыми добрыми глазами, с шершавой лаской родных рук. «Значит, все хорошо, все хорошо,—думал Олег,—ничто не изменилось».

И Олег успокоился тогда, не сразу, но успокоился, а доброе, даже нежное отношение к нему сейбинцев перестало его удивлять. Значит, ничего дурного он не совершил, мало ли какие страсти варились внутри него, важно было то, что он делал и что видели все—ведь не каждый бы решился броситься ночью в поход по сопкам. И когда он снова принимался думать о вчерашнем, вершиной, загораживающей все остальное, возвышался в его мыслях ночной поход. И Олег понимал теперь, почему ребята так восторженно относятся к нему. Теперь он уже хотел говорить с Тереховым. «Мало ли что я мог наболтать Будкову,—думал Олег,—это ведь не документы, да я и не сказал ничего такого, что можно было бы использовать против Терехова. Мы этого Будкова...» Теперь, на расстоянии, Будков был ему не страшен, Олег ненавидел его и спешил рассказать об этой своей ненависти Терехову и о том, как он поставил Будкова на место.

— Садись, Олег,—сказал Терехов.—Ты хоть отдохнул?

— Это все чепуха, Павел. Я тебе сейчас все выложу...

— Выложи,—вяло сказал Терехов.—Правда, кое-что я уже знаю. От ребят. Они ведь тебя расспрашивали...

Олег огорчился: он был гонцом, а не ребята. Олег с досадой махнул рукой:

— Я им всего не рассказывал!

И он разошелся. Говорил, говорил, вставал, садился, говорил. И видел, что Терехов по-прежнему скучен и головой кивает машинально и никакой радости не испытывает. «Что это он?»—думал Олег обеспокоенно, но потом летучее беспокойство его испарялось, и он увлекался и снова сражался с Будковым, отстаивая Терехова, а заодно и всех сейбинцев.

— Понял, какой он, этот Будков,—говорил Олег волнуясь,—бумажки-то мне липовые подсунил. Это точно! Ничего, мы еще покажем ему... А тебе он грозил...

— Да, да, да,—отрешенно сказал Терехов.—Кста-

ти, в промтовары должны завезти мужские рубашки, шерстяные. Не наши. То ли чешские, то ли японские. Вы не проморгайте.

Олег осыпал, удивлен был тереховским равнодушием и обижен им.

— Постой! Какие 'рубашки!—морщась, сказал Олег. Ему хотелось теперь уязвить этого сонного Терехова, чтобы понял он наконец, чего стоил ему, Олегу, предпринятый им же, Тереховым, поход, чтобы дрогнул он в предчувствии предстоящих бед.—Будков не шутил. Он принял объявление войны.

— Принял так принял,—сказал Терехов.—А ты говорил Будкову, что нам нужно подкрепление? Ведь он обещал.

— Как же,—скиснув, сказал Олег.—Сначала он ни да, ни нет. Потом я, видимо, сумел его переломить. Выторговал человек десять. В ближайшие дни...

— Правда?—оживился Терехов.

— Правда...—пожал плечами Олег.

— Знаешь,—задумчиво произнес Терехов,—зря мы нынче умудряемся видеть в Будкове одно плохое. Зря.

В словах этих Олег почуял укор по своему адресу, он хотел возразить, но промолчал. Олег был огорчен, разговор получился жалким и вовсе не таким, каким он желал его видеть. Досада на Терехова жгла Олега, ему хотелось взорвать возмутительное тереховское безразличие, и он вспомнил:

— Да, Павел, наш разговор с Будковым кончился странно. После всего, что я ему высказал, он заявил, что будет предлагать меня комсоргом поезда...

— Комсоргом?—поднял голову Терехов.

— Комсоргом,—кивнул Олег и улыбнулся иронически.—Каков гусь? Спрашивается, как мне к этому отнестись?

Вопрос он задал зряшный, потому что для самого себя он уже решил: принять предложение Будкова; впрочем, собрание будет предлагать ему стать комсоргом поезда, а не Будков угостит подачкой. Сомнение в вопросе он заложил скорее для того, чтобы Терехов все же расшевелился и высказал свое отношение к будковским словам, вспоминать же о них было приятно.

— Так и отнесись,—встал Терехов.—Будков, наверное, прав.

Он стоял, сигарету раскуривал, в окно смотрел на полуденное море и говорить дальше, видимо, не намеревался.

— Хорошо,—сказал Олег,—я пойду.

— Иди,—кивнул Терехов,—солнце, видишь, какое, как бы воды в горах не натопило.

Олег уходил раздосадованный и обиженный, разговор с Тереховым казался ему унижительным, он знал, что будет сейчас искать собеседников и рассказывать им о предложении Будкова, о том, как он выбил у Будкова премию для всех, и о своем ироническом к Будкову отношении.

Терехов смотрел Олегу вслед и думал, что, может быть, Будков и прав. Почему бы Олегу и не стать комсоргом?

Потом ввалился Рудик Островский.

— Бумаги тебе принес,—сказал Рудик.

— Какие еще?

— Комиссия, старик, поработала. Тут расчеты по мосту. А тут бывшая исполновская бригада исповедуется. Сами отважились. Очень серьезные документы.

Рудик ушел, Терехов положил бумаги в сейф. Все было хорошо: и эти бумаги и Олега поход—все было хорошо, вот только Надя бросилась вчера к Олегу любящей женщиной, а стало быть, стирались тереховские миражи последних дней, последних лет,

стало быть, как и предполагал Терехов, обычная Надина блажь пригнала ее наутро после свадьбы к нему в комнату; она любила Олега, она была с Олегом, и Терехов не мог оставаться с ними рядом. Все, хватит, говорил он себе, так нельзя, вот выйдет Ермаков, и руки у меня будут развязаны, на все четыре стороны лежат дороги отсюда подальше. Он и сегодня собрался к Ермакову только за тем, чтобы узнать у прораба, когда получит наконец возможность выбрать одну из этих спасительных дорог.

У крыльца стоял сторож.

— Павел, погоди...

— Давно ждешь? — спросил Терехов.

— Я так, случаем...

— Случаем не случаем, — сказал Терехов, — а я бы на твоём месте лежанку занял или кости бы на солнце грел...

— Они у меня не отсырели, — засмеялся старик; в его слезящихся глазах Терехов увидел угодливость и поморщился.

— Ты чего? — спросил Терехов.

— Я? — удивился старик. — Я ничего.

— Из-за ничего с той стороны днем сюда прибыл? Егозливый старик был какой-то сегодня, топтался перед Тереховым, волнуясь, и Терехову стало жалко его.

— На сына-то моего ты в обиде?..

— Я извинился перед ним, — сказал Терехов, — и деньги мы ему за лодку заплатили. Десятку дали... Мало разве?

— Не злись на него... А? Бумажку-то он сгоряча написал... Нервный он, пораненный весь... Война по нему всеми железками прошлась... И детей сколько...

— Ладно, — сказал Терехов, — ты за свою должность не беспокойся... Тебя никто освобождать не думает...

— Вот и хорошо, — заморгал, не веря, старик.

— Я на тот берег еду, хочешь, подвезу?

— Я тут побуду, однако...

— Что так?

— В магазин чего-то привезли... Давать будут...

— Ах да, — спохватился Терехов, — и я хотел...

В больнице он посидел у Тумаркина, а уж потом отправился к Ермакову. Тумаркин выглядел плохо, переломы оказались серьезнее, чем думали сначала, лицом он был сер, а черных сваленных волос на голове как будто бы прибавилось. Терехов стоял над ним, и чувство неловкости тревожило его, как будто виноват был перед Тумаркиным за прежние пренебрежительные и свысока мысли о нем.

Черные глаза трубача смотрели печально, а Терехову надо было идти к Ермакову. В палате Ермакова не оказалось. «Гуляет, гуляет», — обрадовали Терехова соседи. Значит, дела у прораба неплохи, значит, скоро переберется он на ту сторону речки, чтобы сейбинцами владеть и править, и, шагая коридором, Терехов дал себе слово: тут же, не откладывая, все прорабу выложить и просить его слезно, как рыжий в цирке — струи из глаз! — отпустить за кудыкины горы, неужели нет ему замены, хозяйство налаживается, солнечные дни, он свое сделал.

Ермаков, в когда-то синей с полосками, а теперь мышинной пижаме, сидел на скамеечке в тополином больничном садике и читал журнал «Здоровье».

— Артериосклероз, — сказал Ермаков, — можно предотвратить диетой, овощами, фруктами. А вот индусы — одно племя — черти, как себя сохраняют... Абрикосами...

— А у тебя артериосклероз, что ли?

— И он, наверное, есть, а как же... Статью вот читаю. Журнал очень хороший. Раньше я его и в



руки не брал, а зря... Теперь от корки до корки... Ты послушай...

И он стал читать вслух, а потом принялся говорить о болезнях — сколько он теперь знал о них! — а Терехов слушал и удивлялся тому, что прораб не расспрашивает его о делах на Сейбе, а все рассуждает и рассуждает о болезнях и делает это как будто бы с удовольствием.

— Знаешь, — сказал Ермаков, — а меня ведь оперировать решили. Язву будут оперировать. Давно они меня уламывали, а теперь я сам в лапы к ним попался. Я уж согласие дал. — И тут он сник, а Терехов

молчал, слова бы какие успокоительные произнести, а он молчал.

— Это ведь они только говорят, что язва,— сказал Ермаков,— а кто знает, что там...

Ермаков махнул рукой, моргал глазами, сгорбившийся, жалкий, утонувший в мятой пижаме, только суворовский хохолок напоминал Терехову о прежнем Ермакове. О смерти, наверное, думал он, и жалел себя, и жизнь свою жалел. Терехову стало страшно.

— Да брось ты! — сказал он. — Обойдется все!

Глаза Ермакова просили: «Ну, скажи еще что-нибудь, обнадежь...» Терехов говорил еще, а что, и сам не воображал, голос собственный казался ему фальшиво-радостным, и Ермаков не мог не заметить этой фальши, но он отходил, отогревался, глаза его оживали.

— Обойдется, я тоже так думаю,— сказал Ермаков. — Пусть режут, хирург тут, говорят, хороший. Член краевой коллегии хирургов. А ведь не каждого изберут в коллегию... А?

— Конечно, не каждого! — горячо поддержал Терехов и увидел, что Ермаков благодарен ему за эту поддержку.

— Что у вас нового? — спросил Ермаков.

Терехов стал рассказывать.

— Это я, все знаю,— оборвал его Ермаков. — Ходят ко мне. А что совсем нового?

— Ничего... Рубашки вот шерстяные завезли. Испольнов с приятелями уезжает...

— Так попрощаться и не зашли... Жалко... А Будков не приезжал?

— Нет.

— Это ведь он прорабом тебя посоветовал... Как я в больницу слег...

— Знаю...

— Не ошибся, видишь, он тут... Сцепиться-то с ним не раздумали?

— Нет. — Терехов встал.

— Смотрите, смотрите... Все будковские плюсы взвесьте, их немало, плюсов-то...

— Взвесили...

— Я бы на вашей стороне был, да вот тут скрючиваться приходится...

И снова стал говорить о болезнях, сначала о своих, а потом о чужих, и Терехову пришлось сесть, и слушать прораба, и кивать ему, и снова доказывать, что член краевой коллегии хирургов — это тебе не костолом-самоучка, а, наверное, таких в Москве с фонарем поискать следует. Терехов уходил из больницы уставший и расстроенный, жалко ему было старика: несладкая жизнь выпала Ермакову, сколько довелось тащить на своем худеньком загорбке и тащить ведь. Обещал себе Терехов и завтра к Ермакову съездить и послезавтра и ребятам рассказать о его настроениях, чтобы не забывали старика. Он вел машину к реке, чувствовал себя блином на шипящей сновородке, серый дождь вчерашних дней казался райским душем. Он все жалел Ермакова и только у реки вспомнил, что не сказал прорабу о своих неотложных намерениях, впрочем, разве мог он сказать о них?

30

Кофейный ульяновский вездеход с крестом на боку остановился у женского общежития. Терехов соскочил с крыльца столовой, побежал к «Скорой помощи» дворами, перепрыгивал ямы и еловые стволы, как барьеры на гравейной дорожке.

Шофер стоял у машины, спину потягивал, ноги разминал.

— Что случилось? — закричал Терехов. — Кто вызвал?

— За зубной врачихой... К другим десанникам отправят.

— Фу ты, черт! — сказал Терехов. — Я уж испугался.

— Нервный такой?

— Станешь тут нервным...

— Столовая где у вас? — спросил шофер. — Заправляюсь пока.

И полчаса не прошло, как возле кофейной «уазки» уже собрался народ. Стояли люди молча или переговариваясь, сейбинцы, которым полагалось сейчас работать на привычных местах — школу строить, машины гнать таежными петлями или дамбу укреплять сваями, да мало ли забот у них было, — так нет, как на тревожный гудок, как на вечевые удары железякой по болтающемуся куску рельса, откликнулись они и, не сговариваясь, потекли к площади, потекли не спеша, но и не обеденным, тихим шагом, а деловито, из уважения к оставленным ими работам. И Терехов не ворчал на них, не сокрушался вслух отсутствием трудовой дисциплины, он просто кивал ребятам и пожимал руки тем, с кем не успел увидеться утром. А люди все шли: не любопытство гнало их на площадь к греющей бока «Скорой помощи» и не соблазнительный повод «перекурить» дольше обычного, а то самое чувство, что в шумное утро сейбинского бунта заставило всех спешить, считая лужи и скользя ягодицами по рыжему глинистому спуску, к реке, то самое чувство, что собрало всех штормовой ночью у моста, а на другой день в столовой на решительной сходке, чувство, превратившее свадьбу в семейный поселковый праздник. Это было чувство таежной общности, родство людей, оказавшихся вместе на отшибе от Большой земли, знающих друг другу истинную цену и довольных своим содружеством. Это было чувство общности патриотов нарождающегося на земле города, отцами которого были они и никто более. Не так уж часто происходили в младенческой жизни города события, летописи его были белы, может быть, еще и потому, что никто из его жителей и делателей не ощутил пока себя Нестором или Пименом, не пришло время, а стало быть, и не всегда сейбинцы отдавали себе отчет в том, что в их жизни достойно особого внимания, а что — нет. Но сегодня происходило событие — это понимали все.

В их поселок приезжали. Уезжали из него редко. Сегодня же четверо уезжали, причем одна — долго, а трое — навсегда. Трое, мастеровивших поселку колыбель, трое основателей города, колышки вбивавших в коричневую землю под елями и пихтами, нянчивших таежного младенца, из ложек кормивших его. И почти у всех сейбинцев, явившихся сейчас на площадь, были с тремя отношения, не важно какие — добрые или ворчливые, теперь это не имело значения, главное, что каждый из сейбинцев раньше считал троих своими и каждому было что вспомнить о них. И каждый жалел, что наступил нынешний день. Испольнов, Соломин и Чеглицев уже появились, чемоданы вынесли, рюкзаки и сумки, положили их на земле у машины и теперь ждали. Принесли и зубную технику — бормашину, кресло, черные чемоданчики с Илгиными инструментами и препаратами. Шофер подкреплялся в столовой, и нервная неловкость прощания стесняла всех. Илгу окружили девчата, и Надя была среди них. О чем они разговаривали, Терехов не знал, он слышал только смех, наверное, обещали

друг другу знакомство не забывать, а то и слезы пускали и вытирали их, как будто невидимо для всех. «Илга, обещаю, что еще приедешь к нам, не забывая нас». «Конечно, девочки, разве я могу...» Соломин держал в руке авоську с резными фигурками, он и сам теперь был не рад, что в суматохе не успел обернуть их газетой; любопытные расспрашивали, как умудрился он нарезать такие диковинные вещи, а он стеснялся, отвечал глупо, авоську положил сначала вместе с чемоданами на землю, потом поднял ее и прижал к себе, как бы защищая деревянных зверей и человечков. Чеглинцев же держался молодцом, буслаевскую былинную грудь свою выставял напоказ, улыбка его была добродушной и легкой, он обходил сейбинцев, шуточками сыпал, чтобы не поминали его в сиротеющих Саянах лихом, и ему в ответ собеседники улыбались, хотели или не хотели, но улыбались, только один Олег скривился; впрочем, Олег сегодня выглядел странно, вчерашнее его оживление сменилось угрюмостью. Чеглинцев пошел дальше и наткнулся на Арсеньеву, праздничную, вырядившуюся, яркую, и всем показалось, что Чеглинцев на секунду смутился, но тут же он нашелся, произнес что-то этакое учтиво — ничего не значащее, и оба они рассмеялись, и Чеглинцев, помахав ей рукой, продолжил обход.

Ни ему, ни Соломину, ни даже Ваське Исполнову никто не говорил укориженных слов, никто не называл их беглецами или дезертирами, все относилось к их отъезду со спокойствием взрослых людей — уезжают, ну и пусть, их дело, трое не были бездельниками или летунами, наоборот, мастерами, каких стоит поискать. Но, несмотря на это спокойствие и даже как бы приязнь к отъезжающим, несмотря на улыбки и шуточки, в людях было спрятано отчуждение, сегодняшнее утро вконец отрывало, отрезало троих от жителей Сейбы, и все понимали это. И Исполнов, и Соломин, и Чеглинцев понимали, что они уже чужие здесь, и, как бы они ни хорохорились и ни говорили: «Ну и пусть, у нас своя жизнь», — им было не по себе, им было тоскливо и обидно. И еще Чеглинцев понимал, что спокойствие сейбинцев вызвано снисходительным отношением людей к его поступку и его личности, их молчаливой уверенностью, что и без него и без его приятелей все получится, как надо, а пойдут ли у него дела без них, это еще неизвестно.

Пришел шофер, и зубную технику стали грузить в кофейный фургон.

Теперь уже начиналось действие, оно превращало отъезд в реальность. Терехов стоял, волнуясь, и ребята вокруг сейчас, наверное, были не так уж спокойны, спички вспыхивали и там и тут, лизали огнем сигареты. Последние минуты располагали к мыслям торопливым и откровенным.

Соломин думал, что недоволен Васькой и будет дуться на него, хотя и не скажет ему ни слова, родственник все-таки, уезжать из Саян ему не хотелось, слишком многим к суетливой здешней жизни он прирос и деньгами таежными был сыт. Конечно, в пору будковской благосклонности доставалось им больше, но и без приписок жить можно было, да еще и посылать кое-что старикам в деревню. Будковские шальные деньги, наверное, и испортили Ваську, ну не испортили, просто приучили к себе, и потом меньшие, как у всех, получили Ваську обижали и заставляли психовать. Лучше бы и не было того моста, тех денег да и других работ с Будковым; мы, конечно, люди маленькие, но лучше бы их не было, тогда не подался бы Васька домой.

Им-то вдвоем с Чеглинцевым хорошо, городские они, сергачские, а ему дорога — в деревню, к старикам, в колхоз с худыми боками, с бабьим царством, с семьюдесятью копейками на трудовень. Конечно, Васька устроит его и в Сергаче, но вытерпит ли, вынесет ли он в восьми верстах от родной земли разлуку с ней? В том-то и дело, что в один прекрасный день плюнет на все, соберет манатки, выскочит на улицу и в отчаянии остановит на сергачской окраине попутную, идущую в сторону его деревни... Он еще застанет нынешний сенокос на лугах у Пьяны, когда все село выйдет поутру с косами... Запах подсушенной в валках луговой травы вспомнил Соломин, и защемило у него сердце, и захотелось, чтобы шофер поскорее уселся за баранку...

«Алка-то вырядилась! — думал Чеглинцев, сканная глаза на Арсеньеву, как будто невзначай. — Ишь ты, в первый раз я ее такой вижу. Из-за меня, что ли?.. Из-за меня, — решил он. — Еще-то из-за кого...»

Тут он сообразил, что Севки на площади нет, все есть, а Севки нет, он понял, почему Севки нет, и не испытал радости. Все же он любил маленького доброго тракториста, рекордным трюкам его на трелевочном завидовал, и теперь ему было обидно, что он уезжал из Саян, причинив Севке неприятности и не помирившись с ним. Впрочем, этот Севка сам хорош, мужик разве так поступит, тоже мне непротивленец злу насильем, добряк с печки бряк, должен был бы отыскать его, Чеглинцева, и поговорить как надо, как полагается, или это сделал за него Терехов?..

Чеглинцев обернулся в сторону Терехова, как же, стоит себе, курит, нахмурившийся, сбывшийся, гордый, нет чтобы подойти к нему, Чеглинцеву, улыбнуться и сказать: «Слушай, останься...» А я и не останусь, на-ка, выкуси, сколько хочешь меня проси, а я не останусь... Понял, Терехов? Ну и пошел он, знаешь куда... Вот туда и подальше... Скорее бы железки медицинские уложили, да так, чтобы они не подпрыгивали и им троем в дороге бока не мяли. А там дежурная по станции даст сигнал, и колеса, колеса зашпешат, зашпешат, потянут в Россию... Придется в вагоне поработать локтями, да и горлу дело найдется, дело непростое — захватить в общем вагоне вторую полку. А после полеживать на этой полке трое суток, носом сопеть, спускаться на линолеумный пол: в туалет, в карты сыграть да в вагон-ресторан сходить ради пива... Представляешь, за окошком елочки, палочки, речки и степные просторы, а ты потягиваешь пиво: «Уважаемая, еще три принеси...». Будет ли потом в Сергаче такая благодать, еще неизвестно.

В Сергаче будут беляши... Мать принесет с базара мясо для фарша — кусок говядины, кусок баранины, свинины также, ну и на всякий случай печенки. Батя, довольный, улыбающийся, примется колдовать над начинкой, и такая она получится сочная да острая, что пальцы жаль будет вытирать, а придется — иначе рюмки, шкалики хрустальные жирным запачкаешь... Эх, хорошая жизнь начнется!..

Картины этой хорошей жизни рисовал Чеглинцев с охотой, но и с усилием. Потому что знал, сейчас уже знал, и это знание его пугало, что долго он не выдержит, хоть и будет себя в Сергаче заводить и всякие злые небылицы рассказывать о таежной фиолетовой жизни и сейбинцев ругать, а Терехова в особенности, все равно не выдержит и однажды скажет батю, что получил из тайги письмо, его зовут, без него не могут, помощи просят, его металлическая кобыла вернулась из ремонта, а зна-

чит, надо ехать. И поедет, явится с повинной, потому что не сможет жить без сейбинцев, прощающих нынче с ним, и без Терехова будет ему трудно, хоть и клянет он Терехова, и без Арсеньевой затоскует... Хоть бы карточку свою на прощание подарила или уж не приходила на площадь...

А черт! Хоть бы трогали, милые... Хоть бы на Арсеньеву больше не оборачиваться... С чего вдруг такие нежности... И глаза в ее сторону повести трудно, словно я перед ней виноват и перед всеми виноват... Ну вот, бормашину пристроили, теперь наши чемоданы... Подай, Вася, подавай, не спи... В вагон-ресторан уже загружают пивные бутылки минусинского завода...

«На меня он даже не посмотрел,— думала Арсеньева,— не оглянулся, шумит, смеется, чемоданы и сумки подбрасывает, а меня для него нет... Да и кто я для него, известное дело, кто... И для него и для всех... Клейменная... И вину свою перед самой же, как болезнь неизлечимую, волочить мне всю жизнь... Нет, всем, кто стоит здесь рядом со мной, спасибо скажу, я как в метельной степи замерзшая была, а меня подобрала, согрела, оттаивать я стала, это правда... А ему что... В другую жизнь катит, и развлечение со мной ему не помешало, не скучал последние деньки... Но зачем я вырядилась, все на белый свет прокричала, зачем?! Знаю ведь, зачем, дура, дура... Никакой уж любви в моей жизни не будет, никакой, а вырядилась, волнуясь, взгляда его последнего вымаливаю... Может, замену фантазии о воронежском летчике придумала? Если бы так... А то стою и дрожу, жду его глаз, жду его, будто бы он у меня первый... Вещи уложили... Сами в машину забрались... Все... Илга пошла... Вот и все...»

— До свиданья, до свиданья, скучать буду...

— Счастливо, Илга, не забывай...

— Нет, я всерьез скучать буду, с тоски отощав, возьмите меня в штукатурки или поварики...

— Что ты, Илга...

— Мы здесь зубную лечебницу выстроим, тебя вызовем!

Столпились у кабинной дверцы, мучили шофера, и говорили Илге всякие необязательные слова и замолчать не решались, не хотелось ее отпускать. Терехов бросил сигарету, плечом левым легонько пробил себе дорогу и строго, как лицо официальное, поблагодарил Илгу за ее дела: «Век не забудем». Черту прощанию подвел — мелом по черной доске.

— Ну, до свиданья, Терехов,— сказала Илга.

— Счастливо, Илга! Увидимся как-нибудь...

— Увидимся...

Рука ее дрожала, а глаза блестели. «Лучше бы уж я,— подумал Терехов,— так и стоял сейчас в отдалении...» А в зеленой Краславе есть под берегами памятник Любви, памятник наивной старины... Теперь все происходит не так, но у Илги блестят глаза, и слова ей даются с трудом, а про него она знает все...

— И тебе счастливо, Терехов, береги зубы, чисти их по утрам и перед сном, купи пасту «Поморин»...

Хлопнула дверца, мотор спохватился, обрадовалась.

Кофейная машина направилась к повороту, и все смотрели ей вслед, ждали чего-то и дождались — дверца фургона резко открылась, и Чеглинцев закричал, высунувшись:

— Я письмо кому-нибудь напишу. В Абакан... до востребования... Арсеньевой...

Все могли бы разойтись, но не расходились, стояли молча.

«Это только кажется, что я здесь, на площади,— думал Олег Плахтин.— Меня здесь нет. Я в машине. Бегу. С теми троими. Я больше не могу жить так. Жить здесь. Все. Предел. Точка. Я уеду, надо быть честным и уехать отсюда, чтобы никому не мешать и себя не мучить, уехать немедленно, сегодня же, нет, не сегодня, ну, завтра... Кто я? Ничто. Предатель. Трус. Боюсь всего, раздавлен всегдашним растворенным во мне ожиданием грядущих бед, которые, может быть, никогда и не случатся. Кому я обязан унижительной болезнью моей души: себе или еще кому-то?»

Он стоял и корил себя, и бичевал себя, и был суров и нервен в прокурорских своих словах. Но никто вокруг не знал об этом.

Еще вчера он думал, что все идет хорошо, а он настоящий человек, и Надя любит его; восторженное отношение сейбинцев к его походу и его смелости утвердило его в соблазнительном обмане. Нынче все шло иначе: ребята, занятые делами, забыли о нем, ни о чем его больше не расспрашивали; Надя была хмурая, глаза прятала, о вчерашнем не вспоминала и словно бы простить Олегу это вчерашнее не могла, держалась от него в отдалении и от слов его морщилась, как от неприятных ей прикосновений. Она была чужая, чужая, значит, ничто не изменилось, а нечаянный Надин порыв был вызван ее секундной слабостью, жалостью женщины, расстроенной его синяками и шишками, растроганной словами-легендами о его жертвенном подвиге. Все прошло, женщина остыла и слабости своей, жалости своей стыдилась. А ему надо было жить дальше, но как, что он должен делать и что он может делать? «Эта ноша не по мне, на много нош я позарился, но эти ноши не по мне, тогда зачем они мне, не лучше ли поискать себе подходящие?»

Он боялся взглянуть ребятам в глаза, потому что, казалось ему, они все о нем знают, знают о том, что варится в его душе, и презирают его. Он боялся взглянуть в глаза Нади, потому что не знал, как ему быть с ней дальше. Гордиев узел требовалось все-таки рубить, и сегодня, глядя вслед «уазке», он понял ясно, как надо рубить. Уехать. Немедленно. Не откладывая, не придумывая отсрочек, закрыв глаза, нырнуть с десятиметровой вышины. Оставить Наде письмо, все объяснить откровенно и уехать, если она любит его, она побежит за ним, и уж навсегда, если останется, что ж, значит, такая у них судьба, забыть он ее не сможет и будет думать о ней, ну и пусть. («И еще неизвестно,— проскочила мысль,— что лучше: Надя рядом или мысли и мечты о ней?») Там, в другом месте, во Влахерме или еще где-нибудь, все пойдет по-иному, это будет его жизнь, и там он принесет людям и делу пользы намного больше, и на Сейбе о нем еще пожалеют... «Уеду, уеду, завтра же уеду...»

«Когда Терехов подошел к Илге,— думала Надя,— о чем они говорили? Илга пыталась смеяться, но глаза у нее были на мокром месте, а Терехов ей что-то отвечал, но что и как, я не знаю, я видела только его спину... Я все время следила за ними, я ревную его, что ли? Но я ведь все знаю. Илга мне рассказала, зачем же я... А Олег, бедный Олег, он ведь все понимает, все чувствует, но держится, он сильный... Что же делать, что делать, хоть бы Терехов поверил мне, украл меня, увез меня, о господи, какая я подлая, что я натворила... Но я хочу, чтобы все было честно, пусть горько, но честно... Что же делать мне, ведь я не смогу так дальше, честное слово, не смогу, сбегу к Терехову... После дождика в четверг все решится, сбегу, точно... Дождик-то уже кончился...»

«Надо будет узнать,— думал Терехов,— когда Ермакову собираются делать операцию, что-то мне вчера старик не понравился... Узнаю обязательно...» Еще вчера от сознания того, что уезжать из поселка ему пока никак нельзя, Терехову стало спокойнее, бережущая идея о кудыкиных горах отпала, освободила его; ведь если бы уехал он, прячась от Нади и Олега, на кудыкиных горах этих мучило бы его чувство, что он сбежал, струсил. Теперь он был спокойнее, деловитее и даже веселее, хотя Надя жила рядом с ним, на Сейбе, а просить ее с Олегом уехать из поселка, раз такая получилась история, Терехов никогда бы не решился, да и просить было бы делом глупым и скверным. Они оставались вместе на Сейбе, и о том, как все будет между ними тремя впереди, Терехов уговаривал себя не думать, хотя и понимал, что чем дальше, тем запутаннее и труднее станут складываться их отношения и придется завести однажды разговор откровенный и до конца. Надо было терпеть, переломить себя, но как? Впрочем, может быть, два дня назад Надя ничего не выдумала и любит его, если так, если и завтра и послезавтра будет так, он пойдет к ней... Но сейчас хватит думать об этом, сейчас не надо...

Сегодня был вторник, а Зименко на Сейбу пока не пожаловал. Стало быть, когда выдастся день полегче, ему, Терехову, придется разыскивать начальника штаба на трассе и выложить ему историю моста. И скорей бы пришло новое воскресенье, опять будет он отсыпаться, кости греть на солнышке, закрыв глаза, забыв обо всем, или уйдет в тайгу и станет мучить себя и мучить бумагу, чтобы передать на белом листе серыми и черными ударами карандаша девичью стройность знакомой осины, ускользавший от него блеск ее крепких и нервных от ветра листьев. Терехову снова не давали покоя краски тайги, сине-зеленые провалы распадков, желтая дорожка робкой пока насыпи и желтые стены домов их города, пребывающего еще пока в младенческом возрасте. Он и сейчас с жадностью смотрел на тайгу и поселок, и мысль о том, как было бы ему худо, если бы он поддался собственному смятению и уехал от Сейбы, обожгла его. Он уже не мог жить без этой земли и без этих людей.

Он любил этих людей, хотя и никогда не говорил им об этом, часто был мрачен и ворчал на них: ведь и ему доставалось в последние горячие дни. Он почувствовал, как дороги ему Олег и Севка, Арсеньева и Тумаркин, да и все сейбинские. Без них он на Сейбе был ничто, а раз уж его поставили на день или на неделю старшим, то он и должен был делать все, чтобы людям на Сейбе жилось лучше и чтобы сами они стали лучше. Он жалел, что так и не подошел к Чеглинцеву и не уговорил его, не унижаясь, конечно, остаться, да и мало ли о чем жалел он сейчас.

31

Посиди, Василий, я сейчас вернусь.

Вернулся, заставил ждать пять минут. Впрочем, Исполнову время нынче было дешево. Он смотрел на Будкова и усмехался.

Белая рубашка Будкова была чиста, словно пыль не гуляла сейчас по выжженным улицам.

— Надо же,— сказал Будков, садясь,— резко континентальный климат... Ананасы бы здесь растить...

— Все же лучше грязи.

— Бумажки я вам все подписал? Претензий нет?

— Нет,— сказал Исполнов,— будете в наших краях, Иван Алексеевич, просим в гости...

— Как у Райкина, заходите запросто, без адреса?..

— Почему же? Вот, пожалуйста, адрес...

— Не надо. Никогда я не буду в ваших краях.

— Как знать...

— Хочешь — верь, хочешь — нет, а расставаться мне с тобой жалко.

Будков замолчал, он и вправду жалел, что приходится ему провожать людей, с которыми столько воспоминаний связано, классных мастеров, и просто приятных ему когда-то ребят, и все же он понимал, что кривит душой и сам рад, что они уезжают от него подальше. Час назад, когда главный инженер принялся уговаривать Исполнова остаться, всякие блага ему сулить, Будков сказал резко: «Нет. Все. Нечего их уламывать. Пусть бегут. Мы гордость должны иметь...», — хотя дело было вовсе не в гордости. И все же сейчас, сидя напротив нагловатого крепыша со свесившейся на лоб удалой прядью, натываясь на иронический прищур его глаз, Будков огорчился, он чувствовал себя виноватым перед прославленным в былые дни бригадиром, ему казалось, что это он своими подачками и пряниками испортил Исполнова, расшевелил в нем недоброе. «А что было делать, а что было делать?» — повторял про себя Будков, и ему хотелось, чтобы Вася встал и ушел из его кабинета, из его жизни и побыстрее.

— И зачем ты наговорил на меня всякой всячины? — сказал Будков устало. Он не злился на Исполнова, даже не осуждал его.

— Правду я наговорил.

Исполнов засмеялся довольно. Он желал припугнуть Будкова, как три дня назад желал припугнуть Терехова, обещая им обоим сладкую жизнь впереди, а себе увлекательное представление. Но Будкова не тронули грозные его слова, он только вздохнул горестно и на мгновение показался Исполнову робким и беззащитным. И Исполнову стало жалко его. И стало жалко самого себя, потому что уяснилось ему сейчас, что в Сергаче через месяц совсем неинтересно будет ему знать, кто кому из этих двоих — Будков или Терехов — свернет шею.

— Устал я, Вася,— сказал Будков,— измотался...

Он опустил рывком узел галстука, расстегнул ворот сорочки, обнажил грудь, крепкую, смуглую, в жестких темных волосах.

Сидели, тянули слова, телефон тревожил, Будков говорил вяло, нехотя, по служебной обязанности, но последний звонок изменил его. Энергичный, решительный человек снова сидел перед Исполновым, и лицо его преобразилось, и тело стало упругим и жилистым. Будков положил трубку и встал стремительно.

— Ну вот! Не было печали.— Он ходил по комнате, говорил быстро, злился, а на кого, Исполнов понять не мог.— Все не хорошо, то дожди, то жара... Метеорологи, гидрологи... Опять все началось... И у нас... А уж на Сейбе у Терехова еще хлестче...

Он был расстроен, Исполнов это видел, расстроен не на шутку и растерян, подошел к телефону, попросил девушку дать ему Сейбу, исполняющего обязанности прораба Терехова и, услышав Терехова, стал кричать ему, что дела плохи, только что звонили проклятые гидрологи, хорошо, хоть на этот раз предупредили загодя: снег в горах начал таять, реки вслухают, гремят, волокут камни, наводнение, слышишь, Терехов, опять наводнение, не шучу, понимаю, как вы измотались, ну, милые, родимые, выдохните, все зачтется, наводнение, Терехов...

— Ну-ну,— сказал Исполнов. И пошел к двери. Надо было спешить в Абакан, надо было обогнать бешеную воду с гор.



**Петр
Вегин**



Петроградский экспресс

Оглушая ночь, расталкивая лес,
без пяти минут полуночный экспресс,
грохоча, как сапогами вестовой,
по мостам, как по мощеной мостовой;
по купе командировочные спят,
как валеты и тузы в колоде карт,
лишь стаканы в подстаканниках звенят...
Я хочу на нем приехать в Петроград!
В Петроград — на полстолетия назад,
где поручик обрывает аксельбант
и Двенадцати вослед, как звездочет,
смотрит блоковский расширенный зрачок.
Ты проверь меня, как ночью документ,
посмотри, как пиджаки глядят на свет:
нет ли пятен, нет ли фальши, нет ли дыр.
Микроскопом просмотри мой микромир.
Я по Невскому патрулем не шагал,
я блокадного кольца не разрывал,
заполняя в жизни несколько анкет,
я писал невыразительное «нет»...
Это мало или много — не влиять,
ни товарищам, ни женщинам не лгать!
Так возьми меня и, как часовщики,
подержи на миллиметр от щеки!
Проводник, во сколько будет Петроград!
Проводник, во сколько будет Ленинград!
«Еще рано».
Еще рано — говорят...
Рельсы матовы. На старте поезда.
Над вокзалом — незнакомая звезда.
Три кассирши, как три грации, сидят.
— Два билета.

На сегодня.
В Ленинград.



Я все забыл — деревья и цветы,
обиды, крылья, горести, кресты,
стою, как перед утренним крыльцом,
перед твоим светящимся лицом,
забыл все церкви, все колокола,
забыл, Земля квадратна иль круга,

как будто о лице мне снится сон:
твоим лицом весь город заселен,
а по ночам вбегает на крыльцо
и тычется в ладони и в лицо
серебряная мокрая сирень,
похожая на ласковых зверей,
как будто это Новый год лица,
двенадцать светлых месяцев лица,
ночное новолуние лица.
Не дай, судьба, затмения лица!



**Андрей
Дементьев**



Грустит ночами старый дом.
В нем поселились мрак да ветер.
А дому снится на рассвете
все чей-то шепот под окном.
Он просыпается, волнуясь,
и, затаив дыхание, ждет,
что кто-то дверь его резную
с привычным шумом распахнет.
Но тихо все. Во мраке комнат
ткут паутину пауки,
да половицы смутно помнят
еще недавние шаги.
Покинут дом весельем детским,
теплом хозяев и гостей.
И никуда ему не деться
от трудной памяти своей.

Зависть

Мне непонятна злая зависть,
когда любой чужой успех,
тебя нисколько не касаясь,
и гонит сон и гасит смех.
О, эти маленькие войны
и самолюбий и обид!
И мы уже в поступках вольны,
покуда совесть сладко спит.
И похвала уже — как ребус,
где твой успех — скорей вина.

Ах, эта мелкая свирепость
того смешного грызуна...
А я завидую природе.
Откуда все она берет,
где краски светлые находит,
когда томится у ворот!

☆

Поселилась древняя Помпея
прямо у Везувия в ногах.
Воевала, бедствовала, пела —
юный город и грядущий прах.
А в земле — то злее, то слабее
билась лава в мраморе оков...
И остались от былой Помпеи
лишь раскопки для иных веков.
Я над мертвым городом стою.
И в который раз хочу представить,
как срывались боги с пьедесталов,
падая, как всадники в бою.
Горько мне над тенью тех утрат,
над судьбою, что давно утрачена...
Люди снова селятся у кратера
и о лаве помнить не хотят.

☆

Стареет поколение мое
среди забот и дел.
Вот встретились друзья:
— Ну, как жите-бытье!
И каждый думает: «Эх, как ты постарел».
А время мчит, нисколько не старея.
Оно во власти всех своих начал:
все так же солнце молодо в апреле,
и море бьется молодо в причал.
А дети нас уже перерастают.
Ловлю я превосходство в их глазах.
И грустно память дни мои листает,
и годы, годы мчатся впопыхах.

☆

Людей друг у друга крадут
обиды, ошибки, разлуки,
и хваткий мещанский уют,
и беды, к которым мы глухи.
О, сколько украдено дружб,
замков не имевших на случай,
замков от людских злополучий,
от черных, завистливых душ...
Всю жизнь не терпел воровства!
Не спи — за дверями твоими
крадется воровкой молва
украсть твоё доброе имя...
Глаза она за спины прячет.
Познав ее горечь с лихвой,
я знаю, как женщины плачут,
утратив душевный покой.
Всю жизнь не терпел воровства!
Им было по двадцать, по двадцать,
когда над могилою братской
печально склонилась трава...
Нас войны у женщин крадут.
И мертвых нас матери ждут.
Вовек не терпел воровства!
Воруют ли доброе имя
иль жизнь, что свершилась едва,—
мы судьями встанем над ними
и месть наша будет права!

☆

Я помню первый день войны —
и страх, и лай зениток,
и об отцах скупые сны —
живых, а не убитых.
Война ворвалась стоном «жди»
в бессонницу солдаток.
Еще все было впереди —
и горе и расплата.
А ныне добрая земля
покрыта обелисками.
Война кончалась для меня
слезами материнскими,
и возвращением отца,
и первым сытным ужином...

Но до сих пор ей нет конца —
Войне...

□ □ □

**Берды
Кербабаев**



☆

Вовек бы я халата не обрел
Ценой того, что кто-то станет гол.
И голод свой, клянусь землей и небом,
Клянусь дождем и радугой-дугой,
Не мог бы утолять насущным хлебом
За счет того, что голоден другой.

☆

И если даже все блаженство рая
Предложат мне от родины вдали,
Я, предложенье это отвергая,
Вновь поцелую горсть родной земли.
Все злато мира пред ее пылинкой —
Ничто в краю, где пел Махтум-Кули.

☆

В заискиванье скрыта капля яда,
И, прикрываясь дружбою всегда,
На самом дне угодливого взгляда
Таится затаенная вражда.
Чтоб лезть от правды отличить — не надо
Для умного особого труда.



В подлунном мире искони, от века
Не создано покуда ничего
Прекрасней и разумней человека,
А также совершеннее его.
Чтоб человеком быть, еще, брат, мало
Родиться человеком для того.



Когда кровоточащие куски
Ты на стальном шампуре видишь снова,
Подумай, друг, об участии строки
И о значенье истинного слова.
В нем укус жизни с кровью наравне,
А лживые слова горят в огне.

Перевел с туркменского
Я. КОЗЛОВСКИЙ.

□ □ □

Олег
Дмитриев



Вот я иду, влюбленный,
С легкою головой.
Мир предо мной — зеленый,
Желтый и голубой.
Удочки за плечами.
Блещет излук речной.
Радости и печали
Все до одной
Со мной.
Грузный, сентиментальный,
Странный и городской,
С кем поделюсь я тайной?
С рощею да с рекой.
Голову наклоняя,
Вдаль, за поля смотрю.
«Здравствуй, моя родная...» —
Медленно говорю.
Знаю, что мне ответа
Не принесет волна.

В мире спокойно. Лето.
Сумерки. Тишина.
Валится солнце за лес,
Луг освещая вкось.
Что же такое зависть?
Что же такое злость?
Где-то читал об этом
Или видал в кино,
Только не этим летом,
Только давным-давно...

Тишина подмосковных перронов

Тишина подмосковных перронов.
Августовская теплая мгла,
Словно женщина, за руку тронув,
Незаметно ко мне подошла.
Я услышал, как чиркнула спичка,
Но нигде не увидел огня,
И десятками глаз электричка
На лету разглядела меня.
Я услышал смехок приглушенный,
Но людей не увидел нигде,
И тянулся мой взгляд отрешенный
К одинокой зеленой звезде.
Но внезапно ночная платформа
Фонари засветила свои,
И смущенные люди проворно
Поднялись с недалекой скамьи,
И от резкого желтого света,
Крепко пальцы сплетя, побрели
В темноту загустевшего лета,
В неподвижность листвы и земли.
Их тела темнота растворила,
И опять засмеялись они.
Я смотрел, опершись на перила,
Как ко мне приближались огни.
В освещенном пространстве вагона
Я поплыл мимо дач и лесов
В гуще смеха и струнного звона,
В клекотанье людских голосов.
Но скорее не слуху, а глазу
Был открыт этот мир суетной,
И душа отрывалась не сразу
От тишейшей платформы ночной...

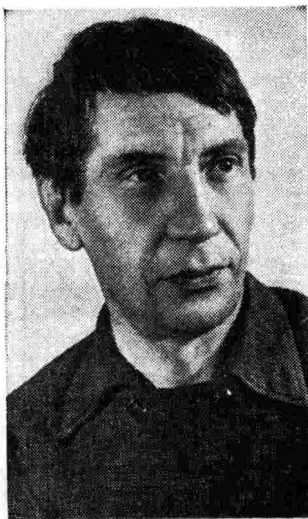
Псков

Я люблю города
У слияния рек,
Где земля и вода
Породнились навек.
Над рекою Псковой,
Над Великой-рекой
Окружен синевою
Силуэт городской.
Ты выходишь к реке,
Ты идешь вдоль воды,
На прибрежном песке
Оставляя следы.
К ней, от ветра рябой,
Наклонилась ветла,
И плывут над тобой
Облака, купола...
Как нужна вам река,
Городки, города, —
Пусть она велика,

Пусть мала — не беда!
 Так нужна!
 Для души...
 Чтобы из детской поры
 С нею к людям дошли
 Плесы, пашни, боры.
 У прибрежных песков
 И у пойменных трав
 Понимаю, что Псков
 Трижды мудр,
 Трижды прав:
 Хочет жить за рекой,
 Все равно за какой,
 Хочет жить между рек
 Городской
 Человек!

□ □ □

**Глеб
Семенов**



Верховья

Маме

Как бы так в себя взглядеться,
 так прислушаться к себе,
 чтоб всплыть к верховьям детства
 против стрежня по судьбе!!

Пусть подробностей не помню —
 так ли, этак — что с того:
 никогда мое огромней
 с миром не было родство.

Как в одной большой светлице,
 всем дышалось наравне —
 и кузнечнику, и птице,
 капле, камешку и мне.

Разнотравья и деревья
 хоровод вокруг вели —
 узнавания и доверья
 хоровод вся земля.

И подсказывалось мамой,
 и угадывалось мной,

как делиться самой-самой
 несказанностью земной.

Никогда уже счастливей
 я потом не уставал,
 никакой позднейший ливень
 так врасплох не заставал,

и нигде потом осина
 так не рдела на ветру...
 ...Научить играть бы сына
 в эту вечную игру!

☆

Моя зима — мой снег — мои следы.
 Стяжатель-собственник, скрипучий скряга,
 весь мир я обобрал бы: от згезды
 блистающей — до той, на дне оврага
 забытой всеми неживой воды!

Но иногда в припадке мотовства,
 застигнутый восторгом святотатства —
 дым коромыслом, кругом голова! —
 размениваю я свои богатства,
 как и сейчас, на общие слова.

Есть у меня амбарная тетрадь:
 там значит, чем мог я обладать!

Бах

Не верю, нет, не органист
 меня во прах поверг!
 Летели камни сверху вниз,
 а души — снизу вверх.

Был каждый вновь из ничего
 прекрасно сотворен.
 О ты, слепое торжество
 знамен, племен, времен!

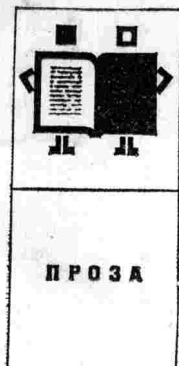
Тщета интриг, тщета вериг,
 тщета высоких слов...
 Есть человека первый крик,
 любви внезапный зов.

Есть добрый труд из года в год
 и отдых в день седьмой.
 И время течь не устает,
 как небо над землей.

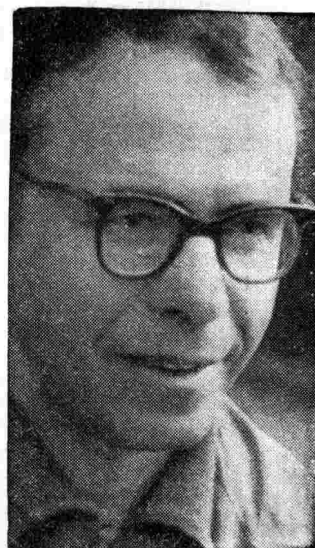
Какая разница: свеча
 или миллионы свеч!
 Какая разница: парча
 или лохмотья с плеч!

Геройствуй, схимничай, греши,—
 за жизнью только смерть.
 Лишь в редких проблесках души
 сияет третья твердь.

Там, над обломками эпох,
 с улыбкой на губах,
 ведут беседу Бах и бог,
 седые бог и Бах.

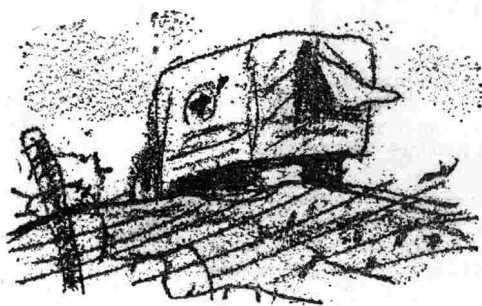


Анатолий Генатулин



ДВЕ НЕДЕЛИ

РАССКАЗ



Рисунки Ю. Цишевского.

Первая нейрохирургическая палата снаружи ничем не отличалась от других палат: серая брезентовая палатка с проемами маленьких оконцев по бокам и с трафаретом полевой почты у входного тамбура: 24011. А внутри, на грубо сколоченных топчанах, поставленных прямо на дику лесную землю, маялось около двух десятков раненых. В палате было душно, пахло йодоформом, потом и человеческими испражнениями.

Шавкат лежал с краю, у входа.

Вот уже прошло несколько часов, как его привезли в госпиталь, уложили на мягкий матрас, под девственно чистую простыню, а ему все еще мнилось, что попал он сюда случайно, по ошибке, — здесь люди лежали с раскroенными черепами, без ног, без рук, а он всего лишь контужен и ранен легко, — что ошибка эта скоро обнаружится и его со скандалом выпишут в часть... В его потрясенном, тупо болевшем мозгу все еще гроыхала и орала благим матом передовая. Он снова и снова переживал мысленно те ужасные минуты, когда после взрыва немецкой мины он приподнял голову и увидел Лапина.

Лапин сидел прямо, чуть откинув голову на бруствер окопчика, и немигающими глазами заворуженно-пристально смотрел на Шавката. Из его обнаженной рыжевато-головой, чуть повыше правого уха, пульсирующими толчками била темная, густая кровь, заливая шею, правое плечо и грудь. Вокруг стояла непонятная пугающая тишина; только сквозь протяжный звон в ушах едва слышны были отдаленные пулеметные очереди... Наконец кто-то сверху заслонил небо и произнес буднично-веселым голосом:

— Давай, браток, а то опять начнет мины кидать.

Кто-то сильный, добрый выволол Шавката из окопчика и повел в тыл, к жизни и покою.

С Васей Лапиным они были приятелями, имели на двоих один котелок и держались всегда вместе. На широкой, выпуклой груди Лапина был выколот якорь — как и Шавкат, он мечтал о флоте, но попал в пехоту. На запястье его левой руки синела еще одна татуировка: «Рая» — имя девушки, с которой Лапин переписывался. Письма от Раи Лапин иногда давал почитать Шавкату. Каждое ее письмо начиналось словами: «Милый!», «Родной!» или «Любимый!». Читая эти ласковые слова, Шавкат сотворил в своем воображении необыкновенно красивую, добрую, нежную девушку и уже любил ее в сокровенных мечтах, и даже ревновал к Васе Лапину...

Лапин остался жив, но был еще без сознания. Он лежал в этой же палате — привезли их вместе, — через три койки от Шавката; Шавкат слышал его стоны и, приподнявшись, мог видеть его обмотанную бинтами голову и знакомую татуировку на руке...

Время в палате тянулось мучительно медленно. После обеда Шавкат пытался было заснуть, но как только стал подремывать, тут же полетел в жуткую, звенящую пустоту и очнулся с сильно бьющимся сердцем. В оконном проеме виднелся кусочек леса — за сочной листвой молодых берез бронзовый ствол высокой сосны с корявыми лапами в тускло-

зеленой хвое. В четырехгранном бруске солнечного луча роились серебристые пылинки, которые казались крошечными живыми существами, живущими какой-то своей особой жизнью: кувыркались, гонялись друг за другом, сталкивались, кружились парами и разлетались... Сквозь не прекращающийся после контузии звон в ушах Шавкат ловил смутные звуки жизни: стоны, бредовые крики раненых, неторопливый, невнятный говор, чей-то смех на улице, чьи-то шаги рядом, за брезентом, и буднично-деловитые голоса двух женщин в палате — дежурной сестры и санитарки. Прислушиваясь к голосам, стонам раненых, присматриваясь к окружающему, Шавкат постепенно входил в неторопливую, но густо насыщенную человеческими страданиями жизнь нейрохирургической палаты.

Дежурную сестру звали Соней. Она показалась Шавкату несказанно красивой. Он впервые видел женщину такую белокурую, почти седую и с таким бело-розовым, нежным лицом. От ее уютного белого халата и косынки с красным крестиком исходило что-то материнское, милосердное. Когда она, полненькая, вся белая, ходила по палате, делала уколы, давала раненым лекарства, в ее деловито-спокойных голубых глазах было такое выражение, будто она только одна знала, как облегчить страдания, как вернуть здоровье и жизнь этим полуживым, изувеченным людям.

Санитарка Дуся, которую раненые звали няней, была телом крепкая, широкоскулая и шумливая. Ее чуть раскосые зеленоватые глаза глядели открыто, бесхитростно. Весь день, не имея ни минуты отдыха, то ласково воркуя своим окаяющим говорком, то нарочито сердясь на раненых, как на детей несмышленных, она терпеливо и ловко хлопотала в палате. Одному требуется судно, другому подай утку, третий вовсе без сознания, ходит под себя; нужно его обмыть, обернуть, сменить простыню, белье. Некоторые есть даже сами не могут — кормить надо с ложечки...

— Сейчас я тебе, милоч, постельку перестелю, — ворковала она умиротворяюще, — будешь лежать у меня сухонький, чистенький.

Рядом с Шавкатом лежал рыжий широкоплечий здоровяк с крупным застывшим лицом. Привстав на локтях, закинув голову, он немигающими глазами затравленно глядел вверх, будто с ужасом следил за полетом залетевшего в палату шмеля. Временами он вздрагивал, судорожно напрягал шею, порывался встать, но встать ему не удавалось: он был накрепко привязан обмотками к своему топчану. Шавкат догадался: здоровяк был контужен, вероятно, бомбой, и в его померкшем сознании все еще пикировал фашистский самолет и со страшным воем падали и падали бомбы.

На следующей койке маялся обожженный. Лежал он под мелкой железной сеткой, натянутой на деревянный каркас, защищающей его тело от назойливых мух. Лицо обожженного, покрытое бурой коркой, было отталкивающе безобразно. Только васильково-синие глаза на этой страшной маске жили беспокойно и одухотворенно. Осторожно шевеля корками губ, он иногда тихонько напевал:

На позицию девушка
Провожала бойца...

За обожженным, сложив ноги по-восточному, сидел смуглый человек с отвисшими вороньими усами. Повязка на его голове была похожа на огромную

белую чалму. Вел он себя как-то странно: вот уже целый час беспрестанно покачивался всем корпусом, углубившись в какие-то свои сокровенные мысли. Время от времени, как бы вдруг очнувшись, он отгонял мух от сетки обожженного или заботливоправлял одеяло своему соседу справа, Лапину.

— Абдуллаев, а твоя баба носит паранджу? — спросил его обожженный, словно продолжая давно начатый разговор.

— Какой сейчас паранджа! — негромко, без выражения ответил ему Абдуллаев, не переставая покачиваться. — Мужчин нет в кишлаке... Бабы работают, как мужчины... Зачем паранджа?..

— Печку уберите, гады!.. Голову жжет!.. Помком-звода!.. Твою мать!.. — хрипло выкрикивал Лапин в бреду.

— Успокойся, милоч... Не ругайся... Никакой печки нет... Сейчас тебе укол сделаем, и голову жечь перестанет... — ласково ворковала Дуся, присаживаясь на койку Лапина.

А еще через несколько коек, за бугорками серых одеял, белых подушек, забинтованных голов, поперек палаты висела ширма, сшитая из двух простыней. За ширму иногда заглядывала Соня, часто заходила Дуся; они заговаривали там с кем-то, но ответного голоса не было слышно. Шавкат решил, что за ширмой лежит кто-то очень важный, молчаливый, может, раненый полковник или даже генерал...

Вечером, когда Соня подошла к Шавкату с градусником, он спросил ее шепотком:

— Сестра, кто это за ширмой лежит?

— Ишь ты какой любопытный! — насмешливо ответила Соня и, посерьезнев, добавила: — Девушка там лежит... Контуженая... Санитаркой была на передовой...

На третий день Шавкат уже вставал, даже смог выйти посидеть на лавочке возле палаты. Мелкие осколочные ранки на левом плече почти не беспокоили его, и головная боль как будто малость отпустила...

А на шестой день военврач Ластовенко во время обхода сказал:

— Так вот, молодой человек. Выписывать тебя в команду выздоравливающих пока не буду. У нас тут не хватает санитаров. Будешь помогать в палате. А там посмотрим: может, останешься у нас совсем...

Вернули Шавкату обмундирование — старенькую гимнастерку с ржавыми пятнами крови, замызганную пилотку, разбитые бутсы и обмотки — «собачьи кишки». Выдали серый халат, который завязывался на спине тесемками... А на другой день с суетливым усердием новичка принялся он за свои новые обязанности. Вместе с санитаром Крайновым таскал носилки с ранеными, ходил на кухню за едой, бегал на склад за бельем, кормил с ложечки Морозова — контуженого, что был привязан к койке обмотками. Ложку с супом или поильник с чаем Шавкат подносил к его рту, тыкал в губы, и Морозов, не отрывая от потолка затравленных глаз и, должно быть, не чувствуя ни вкуса, ни удовольствия от еды, машинально проглатывал свою порцию.

— Яруллин, подай судно больному! — командовала Соня. — Вынеси судно в туалет и вымой хорошенько!

— Санитар! — сдавленно сипел раненый в дальнем углу. — Ты что, оглох?! Пить давай!

— Я ей, суке, восемьсот рублей оставил! — бредил кто-то.

— Сестра, утку и сама на минутку! — балагурил молодой выздоравливающий солдатик.

В бреду метался Лапин. Лежал он на мокрой клеенке, полуголый, пахнувший мочой и потом. Шавкат иногда подходил к нему и пытался заговорить с ним, но Лапин его не узнавал: широко открыв остеклевшие глаза, он глядел как бы сквозь Шавката, в пустоту, и нес что-то несуразное или матерился. Незузнаваем стал и Вася Лапин. Немногословный солдат, отвечающий на мальчишескую привязанность молоденького башкира покровительственной, немного снисходительной дружбой, остался где-то там, на дорогах войны. А этот матерящийся, барахтающийся в тяжелом беспамятстве забинтованный солдат казался чужим, незнакомым и не будил даже к себе жалости. Только якорь на его груди и «Рая» на руке до слез напоминали прежнего Лапина.

За ширмой тихо лежала контуженая девушка. Раненные в бою женщины внушали Шавкату уважение и казались необыкновенными. В своем воображении он видел ее рослой, красивой и смелой. Он даже несколько раз очень близко подходил к ширме, но заглянуть за простыню так и не посмел...

В двенадцатом часу пополудни вдруг кто-то проворно соскочил с топчана и, белея кальсонами, метнулся к выходу. В палате поднялся переполох. Послышался сдерживаемый крик Сони:

— Ой! Держите! Морозов убежал! Скорей!

Дуся бросилась вслед за Морозовым, Шавкат — за ней. Морозов, босой, в одном нижнем белье, прыток пустился к лесу. Дуся настигла его первая и повисла на нем всей своей тяжестью. Подоспевший Шавкат сразу никак не мог схватить Морозова — такой он был сильный, большой, увертливый. Не спуская ошалевшие глаза с полуденного душного неба, Морозов боролся яростно и молча...

— Родненький, не надо бежать, не надо бояться... Видишь, ничего нет... Пойдем в палату, пойдем! — уговаривала его Дуся.

Наконец Морозов умаялся, тяжело задышал, обмяк и перестал рваться. С трудом его приволокли в палату, уложили и с каким-то мстительным усердием крепко привязали обмотками к койке.

— Как он развязался, просто ума не приложу! — все удивлялась Дуся. — Надо же! Замучил!

Потом, незадолго до обеда, улучив свободную минутку, Шавкат вышел из палаты посидеть на лавочке, передохнуть немного — разболелась голова. Только сел, как вдруг из палаты выбежала озабоченная, бледная Дуся и крикнула:

— Саша, беги скорее в операционную! Скажи доктору Ластовенко: Лапин протезу с головы сорвал. С бьющимся от предчувствия беды сердцем Шавкат влетел в операционную и громко доложил:

— Товарищ капитан, Лапин протезу сорвал!

— Ай-ай-ай! Протезу сорвал! — почему-то с иронией произнес военврач. — Сейчас иду.

Шавкат ждал, что капитан Ластовенко бегом кинется в нейрохирургическую, но он шел спокойно, не спеша. Войдя в палату, взглянул на Лапина и проговорил как бы про себя:

— Эх, Лапин, Лапин! Надо было тебе руки привязать... Никто не догадался. — И устало приказал: — Несите его в операционную!

Шавкат и Дуся осторожно переложили Лапина на носилки. Повязка с окровавленными комками ваты осталась на подушке. В страшном проеме разбитого черепа судорожно пульсировал, словно дышал, присыпанный белым порошком стрептоцида темно-багровый мозг. Лапин закатывал глаза, ловил ртом воздух и бормотал в бреду что-то невнятное...

Когда возвращались из операционной, Дуся бросила пустые носилки, опустилась на лавочку возле палаты и сокрушенно проговорила:

— Ну как я могла знать, что он сорвет повязку?! Не могу больше!.. Насмотрелась!.. Нагуляю ребенка и демобилизуюсь! — помолчала, пригорюнившись, затем встала и сказала другим, деловитым тоном: — Ну ладно. Пойдем обедом кормить...

И опять захлопотала в палате, как всегда, шумливая, ласково-веселая...

Вечером дежурная сестра Соня с деловитой строгостью приказала Шавкату:

— Яруллин, тебе поручение: с больной Грачевой пойдешь в кино. Знаешь, где кино показывают? Пойдешь прямо, прямо по аллее, пройдеешь кухню, там увидишь. Только будь повнимательней: после контузии она говорить не может. И обратно ее приведи.

Грачева вышла из-за ширмы, накинув на плечи серый пуховый платок. Сначала Шавкат видел только этот платок, такой домашний, уютный и необычный здесь, на фронте. Внешностью она была ничем не приметная, очень обыкновенная: коротко остриженная, желтоволосая; личико бледненькое, шея тоненькая, как у девочки-подростка... Шавкат почувствовал разочарование и одновременно симпатию к девушке: в ней было что-то родственное, близкое и доступное ему.

— Грачева, вот молодой человек пойдет с тобой, — сказала Соня.

Девушка вскинула ресницы, коротко и равнодушно взглянула на Шавката. Вышли из палаты, зашагали рядом. Шли по аллее меж палаток. Аллея была посыпана песком и обложена по краям дерном. На стволы сосен или просто на шесты были прибиты указательные стрелки с надписями: операционная, кухня, душевая, парикмахерская, туалет... Во всем этом ощущались уже давно сложившиеся порядки прифронтового госпитального быта.

Когда миновали кухню, девушка вдруг взяла Шавката под руку. Шавкат смутился, и первым его невольным желанием было высвободить руку. В его родной деревне парень с девушкой не то что под ручку, а даже рядышком не ходили по улице. Стеснялись родителей, побаивались сплетен: дескать, гуляют, дескать, молодежь теперь пошла бесстыжая...

Девушка доверчиво опиралась на его руку, а он сквозь одежду, словно обнаженной кожей, ощущал волнуемый, как бы обжигающий жар ее тела и жадно вдыхал тонкий аромат ее пухового платка. Сердце его наполнилось мальчишеской гордостью — это он, Яруллин Шавкат, идет под руку с девушкой — и млеет от покровительственной нежности к этой хрупкой, загадочной русской девушке.

Они пришли к небольшой полянке, где прямо на земле сидело и полулежало много людей — раненые в своих серых байковых халатах, медсестры, свободные от дежурства, ребята из команды выздоравливающих и какие-то незнакомые солдаты из соседнего хозяйства. Экран висел меж двух высоких сосен. Долго не начинали — ждали, пока стемнеет. Наконец на экране едва различимо выступили титры. Показывали старый, довоенный фильм «Антон Иванович сердится». Мальчишкой Шавкат любил фильмы только про войну или о пограничниках. Тогда он и не думал о том, что его любимых героев — Чапая, Петьку Исаева и матроса Артема — играют какие-то там артисты, что на экране ненастоящие беляки идут в атаку, что перед ним неважделюшная война... И даже теперь в этой малопонятной ему кинокартине он видел только подлинную довоенную мирную жизнь и никак не мог постигнуть, за что же все-таки сердится этот старый, чудаковатый Антон Иванович. За что бы он там ни сердился, как бы ни ссорился, ни страдали, ни плакали герои фильма, все они были очень

счастливыми людьми, потому что был мир, потому что не было ни бомбежек, ни разлук, ни похоронных... Шавкат с грустью думал, где сейчас этот старый музыкант Антон Иванович, может, умер в блокаду от голода, может, эвакуировался куда-нибудь в Казахстан... А как сложилась судьба этой белокурой, немного похожей на медсестру Соню девушки? Может, тоже в госпитале? А тот молодой, высокий? Наверно, давно уже на фронте. Может, и погиб...

После кино, когда шли обратно, девушка опять взяла его под руку. Она шагала торопливо, легко в своих кирзовых сапожках. Шавкат уступал ей тропку, а сам шел по кочкам, по брусничнику. Ему очень хотелось заговорить с девушкой, но он молчал — из робости и деликатности. Так и молчали всю дорогу.

В старом сосновом бору стили серые сумерки белой ночи. На лесных прогалинах низко стлался сырой туман. Пахло хвоей, прохладным дыханием сонного леса. Далеко за лесами глухо погромыхивал фронт. Где-то рядом, с перебоями, как больное сердце, стучал и стучал движок...

Проводив девушку, Шавкат пошел спать в палатку санитаров, лег рядом с громко храпящим Крайновым и укрылся чьей-то шинелью. Он был доволен, даже счастлив оттого, что день прошел благополучно, что он сыт по-настоящему и может спать до утра на нарах, на матрасе... Как бы хорошо было, если бы его действительно оставили здесь санитаром: ведь кому-то нужно служить и в госпиталях... Он бы, конечно, старался... Засыпая, он думал о девушке, о том, как они шли под руку, как хорошо пахло от ее пухового платка...

У Шавката выдался свободный день. С утра болевало голова, и было тоскливо. Стиснув голову руками, покачиваясь, он долго просидел на лавочке возле нейрохирургической палаты, потом от нечего делать поспонялся по госпиталю и нечаянно забрел в лес. С опаской он вошел в сумеречную глубь старого леса. Было тихо, но тишина эта казалась ненадежной, непрочной — где-то застучал дятел, а Шавкату почудился треск автомата. Он шел бездорожьем, по истлевшим трупам давно умерших деревьев, по высокому папоротнику; останавливался у муравейников и долго наблюдал, как на бурых холмиках какой-то своей особой жизнью спешно и хлопотливо жили безразличные к людскому миру муравьи. «Жить-жить-жить хочу!» — кричала какая-то пичужка.

И пахло хвоей.

Шавкат родился в Зауралье. Там, на северных склонах невысоких лысых холмов, отрогов Уральского хребта, редкими колками росли только корявая береза да тонкоствольная осина. В хвойный лес он впервые вошел на Карельском перешейке. В этих северных лесах, крепко пахнущих смолой, гарью и мхом, Шавкат узнал войну. И вот теперь в запахе хвои ему чудилось что-то тревожное, пугающее: не то удушливый дух сгоревшего тола, не то зловоние разлагающихся трупов... Запах хвои стал для него запахом войны.

Вдруг его привлек какой-то странный звук — как будто человек стонал, жалобно, тоненьким голосом.

— blee, aaa! — слышалось за кустами. — Уууу!

Шавкат постоял, прислушиваясь, и пошел на голос. Наконец увидел сидящего на пне солдата. Солдат сидел к нему спиной и, качая головой, произносил какие-то нечленораздельные звуки. Шавкат хотел было пройти мимо, но вдруг солдат обернулся... и он узнал Грачеву. Девушка взглянула на него отчужденно, неприязненно. Шавкат смутился, отвер-



нулся и зашагал прочь. Но девушка встала, быстро догнала его и робко, как бы прося прощения, прикоснулась к его руке. Шавкат остановился. Девушка улыбнулась ему просто и грустно. «Не уходи!» — просили ее глаза. Она была без пухового платка — в пилотке, подтянутая, ладная. На ее узеньких покатых плечах Шавкат разглядел сержантские погоны, и почему-то вдруг погасло в нем прежнее покровительственное отношение к ней...

Некоторое время оба неловко молчали. Наконец девушка вынула из кармашка гимнастерки маленький потрепанный блокнотик и огрызок карандаша, написала что-то в блокноте и протянула Шавкату.

«Вас зовут Саша?» — прочитал он и утвердительно кивнул в ответ. Девушка написала еще: «А меня зовут Надя». Шавкат улыбнулся, проговорил:

— Очень приятно!

Опять помолчали.

Девушка написала: «Давайте побродим. Там, за лесом, поле, домик».

— Давайте, — сказал Шавкат.

Они пошли дальше, в глубь леса, и вышли на заглохшую тропку. Было ему и неловко, и тревожно, и мучительно стыдно идти рядом с девушкой. Когда он сопровождал ее в кино, чувствовал себя куда непринужденней, потому что то было совсем другое: он был на дежурстве и выполнял обязанности санитаря. А теперь они просто гуляют... Они совсем одни в этом глухом лесу... Он шел напряженно, как по тонкой жердочке, — как-то не так двигал руками, не так переставлял ноги... Он казался себе очень неуклюжим, неприглядным, стыдился своих обмоток и брюк, мешками висевших над обмотками.

Надя остановилась, написала: «Почему вы молчите? Расскажите что-нибудь». Но Шавкат не знал, что рассказать, и только молча пожал плечами. Надя написала: «Я сейчас училась говорить. Ничего не выходит. Я хотела произнести только одно слово: «Ленинград». Не получается. Теперь я поняла, какое счастье уметь говорить! Я бы болтала без конца!»

— Это пройдет. Вот увидите, это пройдет! — громко произнес Шавкат: он думал, что девушка не только нема, но и глуха после контузии... Девушка грустно улыбнулась... Они пошли дальше и, пройдя еще немного, вдруг вышли к опушке леса. Со странной тревогой шагнул Шавкат в открытое пространство — казалось, вот-вот прожужжит мимо уха снайперская пуля... От самой опушки начиналось широкое ржаное поле, за полем в лиловом тумане парного летнего дня сине-зеленой городьбой щетинился далекий еловый лес. Вдоль лесной опушки, мимо высокой стены ржи бежала рыжая изгибистая тропинка. По бокам тропинки в сочной траве радость и буйно росли какие-то скромненькие беленькие, желтенькие и синенькие цветочки. Где-то над головой, в солнечном сиянии, струилась звонкая песня жаворонка. Пахло цветущим хлебным полем, травами и теплой землей... На левом крае поля уютно глядел одинокий, должно быть, пустой домик под черепицей и маячил колодезный журавль. И было так благостно тихо, что казалось, нет на земле ни войны, ни горя, ни страданий человеческих...

Шавкат стоял удивленный: он не ожидал увидеть в полуверсте от госпиталя это ржаное поле, такое знакомое, до боли напоминающее хлебные поля за околицей его родной деревни... Кто посеял эту рожь, кто протоптал тропинку?..

Они постояли, любуясь тихим раздольем, и зашагали по тропинке к дому. Дом был еще новый, добротный, просторный; возле него — сарай, баня, хлев, покотина — все было рассчитано на долгую, покойную жизнь. Комнаты были захламлены разной бросовой бумагой — какими-то бумажными салфетками, скатертями, иллюстрированными журналами и старыми газетами. На полу валялся рваный бумажный матрас... Еще явственно ощущались запахи чужой жизни — то неповторимое, необъяснимое, что застывает с годами в человеческом жилье. И как во всех заброшенных домах, словно на одиноких могилах, жила здесь щемящая печаль...

Надя носилась по комнатам, любовно, по-хозяйски гладила кафельную печь, заглядывала в пустые шкафы, в ящики столов — было видно, что ей очень жаль этого зря пустующего дома, этих добротных, осиротевших без женских рук вещей... Потом она вышла на крыльцо, села на ступеньки и жестом пригласила Шавката сесть рядом. Затем достала карандаш и застучала в блокнотике. «Вам нравится здесь?» — прочитал Шавкат и ответил утвердительно кивком. Надя улыбнулась и снова стала писать: «А мне очень! Я ведь родилась в деревне. Когда меня привезли в Ленинград, мне было уже 12 лет. Я даже

умею доить корову». Читая ее каракули, Шавкат наклонился к ней очень близко, щекой касался ее соломенной девчужеской пряди, и эта близость смущала и волновала его. «Давай будем на «ты», — продолжала писать Надя. — Ой, Саша, если бы я могла говорить, как много рассказала бы тебе о своей жизни. Я ведь была такая болтушка».

— А ты пиши, — мягко сказал Шавкат с сочувственной улыбкой.

Надя кивнула, а затем долго писала. Шавкат следил за ее рукой.

«Перед самой блокадой, — читал он, — мама отправила меня к тете в Вологодскую область, в деревню. Сама она осталась в Ленинграде и умерла в блокаду от голода. Об отце ничего не известно. Из деревни я поехала в Вологду, поступила на курсы медсестер, потом на фронт. Контузило меня так. Я перевязывала раненого, вдруг налетели немецкие самолеты. Надо было бежать в окоп, но ведь раненого не бросишь. Он, бедный, так смотрел на меня! Попыталась поднять, понести, а он такой тяжелый. Бомба упала совсем рядом. Не знаю, что было с тем раненым, а я очнулась в медсанбате. Вот все. А теперь ты расскажи о себе. Откуда ты родом? Есть ли у тебя родители?»

Шавкат просто не знал, что рассказать ей о себе: ведь ничего интересного в его жизни не было. Не расскажешь же ей о том, как два года сидел в седьмом классе, как пытался с одним дружкой бежать в Среднюю Азию. Вообще ему всегда хотелось куда-нибудь уехать. Поэтому, когда началась война, он наивно подумал: «Наконец-то начинается интересная жизнь!» Не рассказывать же ей, как в запасном полку, измученный от недоедания, новенькие байковые портянки отдал какой-то бабе за картофельную лепешку и трое суток просидел за это на «губе»! Кому это интересно?

— Родом я из Башкирии, — сказал он. — Отец сейчас на трудовом фронте, мать дома. У меня еще два брата и одна сестра...

Надя понимающе кивнула и опять стала писать: «Помнишь, когда мы с тобой ходили в кино, я такая была сердитая, серьезная. Ты, наверно, подумал, что я всегда такая. Это я от переживания. Думаю, что он сейчас со мной заговорит, а я не смогу ему ответить — ни карандаша у меня, ни блокнота. А ты молодец — всю дорогу молчал. А сегодня сижу, пытаюсь выговорить слово, мычу, сама себе противна, и вдруг кто-то идет. Так испугалась! Потом вижу: это ты. А то недавно я вот так же столкнулась в лесу с санитаром Крайновым, и он так ужасно вел себя. А ты совсем другой».

Шавкат засмущался, скромно улыбнулся.

«Саша, давай не будем терять друг друга, — продолжала писать Надя. — Будем переписываться. А после войны встретимся в Ленинграде и приедем сюда. Наверно, тогда в этом доме кто-нибудь будет жить, но мы все равно приедем. Будем ходить за грибами, будем вспоминать, как воевали здесь, как лежали в госпитале. Договорились?»

— Договорились! — негромко, смущенно произнес Шавкат.

Он удивлялся, ликовал и не верил: не прошло и недели, как он встретил эту русскую девушку, а уже казалось, что он знает ее очень давно, как если бы они росли в одной деревне, учились вместе в школе, имели какую-то общую тайну, которую и тревожно и радостно вспоминать теперь... Такая она была простая, родная и доступная...

Надя хотела еще что-то написать, но вдруг сломался карандаш. Она улыбнулась, досадливо сморщив переносицу, и показала пальцами: «Нет ли ножичка?»



Ножичка не было.

Надя спрятала в карман блокнотик и огрызок карандаша, затем сложила ладошки ковшиком, поднесла к губам: «Хочу пить». Они встали и пошли к колодцу. Нагнулись над гулким, промозглым срубом и далеко внизу, в сумеречной глубине земли, в маленьком квадратном зеркальце воды увидели два знакомых лица. Было что-то таинственное и необъяснимо грустное в их собственном отражении. Шавкат отступил деревянную бадью, запустил ее в бездну и долго поднимал обратно с водой... Вода была солоноватая и так студена, что ломила зубы...

Напившись, они зашагали через ржаное поле обратно к госпиталю. Шавкат взял Надю за руку и сам же удивился своей дерзости. Но еще удивительнее было то, что она не отняла руку и даже сама ответила ему ласковым пожатием. И это было так необычно, ново и несказанно радостно... На опушке леса они остановились, поглядели на домик. Он оставался такой сиротливо одинокий и такой родной теперь, что не хотелось уходить отсюда.

— И завтра придем сюда, ладно? — сказал Шавкат негромко.

Надя кивнула: «Непременно».

Потом они вошли в лес, и, держась за руки, очень занятые друг другом, легко и радостно понимая друг друга, рассеянно счастливые, целый час кружили без дорог, и окончательно заблудились. Иногда они останавливались, стояли близко, лицом к лицу, и Шавкат с восхищением, преодолевая смущение, всматривался в ее большие, серовато-зеленые, улыбающиеся глаза, видел ранние бороздки по углам ее рта и припухлые, сухие губы с нежной, чешуйчато-прозрачной кожей... Потом опять шагали... Вдруг очутились возле какого-то навеса в густом ельнике. Под навесом, на топчане из неструганых досок, лежал мертвый солдат в одних кальсонах. В крепком запахе хвои явственно ощущался тошнотворный сладковатый трупный душок...

Это была мертвецкая.

За дощатой перегородкой слышались голоса: глуховато говорил мужчина, другой голос, женский, звучал беспечно и весело.

Надя осторожно высвободила руку. Они обошли навес и задержались напротив дощатого сарайчика. Через открытую дверь был виден еще один труп,

распластанный на длинном столе. Над трупом хлопотали трое: военврач Ластовенко, и санитар Крайнов в своем сером халате — они стояли к двери спиной, — и какая-то красивая женщина с засученными по локоть руками и в резиновых перчатках. Попыхивая папироской, она деловито и буднично что-то объясняла тем двоим... Вдруг Крайнов обернулся, понимая, что ухмыльнулся и сообщнически подмигнул Шавкату. И тут Шавкат на левой руке трупа разглядел знакомую татуировку...

Встреча с мертвым Лапиным не очень поразила Шавката. Лапин еще утром был плох. И вот его уже нет... Далекая, незнакомая девушка Рая, писавшая любимому такие ласковые письма, никогда уже не дожидается Васю Лапина...

Надя взяла Шавката за руку и требовательно дернула: «Уйдем отсюда!»

И они зашагали к госпиталю.

Давно ли он был счастлив лишь от простых житейских благ — оттого, что спал на матрасе, оттого, что ел досыта? А вот теперь трудно было даже представить, как он мог жить без этого удивительного чувства в сердце: оно было мучительно, как тоска, невыносимо, как горе, и в то же время это была беспредельная, несказанная радость... Она ощущалась даже физически... как сладостные спазмы, что сдавливают горло, когда плачешь от светлой печали... И думалось только о ней, только о Наде... Не прошло и часа, как они расстались, а Шавкату уже казалось, что это было страшно давно, что, если он сейчас же ее не увидит, случится что-то непоправимое, какое-то несчастье, и он потеряет Надю навсегда... Впереди была еще целая ночь. Только завтра он придет на дежурство и увидит ее... но там, в палате, уже нельзя будет сидеть с ней рядом, нельзя будет держать ее руку в своей руке...

Вечером все-таки он не выдержал: боясь встретиться с кем-нибудь, воровато подкрался к нейрохирургической палате со стороны леса и притаился за деревом. Полог на крайнем окошке, что напротив Надиной койки, был спущен. Она была совсем рядом, вот за этим тонким серым брезентом, но какой далекой и недоступной казалась она теперь... Что она делает сейчас? Спит? Быть может, тоже думает о нем?... Наконец он решился и, задыхаясь от суматошного сердцебиения, подошел к палатке — если Надя спит, он не разбудит ее, взглянет украдкой и убежит, — приподнял полог на окошке и в полумраке палаты увидел ее тихое личико на белой подушке, ее обнаженные, закинутые под голову руки... Надя вздрогнула, повернулась на бок, приподнялась, испуганно глянула в окно и, узнав его, быстро помахала перед лицом рукой: «Нельзя! Отойди от окна!» Шавкат понял, опустил полог и, потерянный, отошел прочь, прислонился к дереву и дико уставился на крайнее окошко... Может, случится чудо: она выйдет!.. Нужно стоять, долго, терпеливо, и ждать, и ждать...

Вдруг он увидел Надю: она появилась из заднего тамбура и, осторожно ступая, подошла к Шавкату. Она опять была в сером пуховом платке и походила на робкую деревенскую девушку, впервые посмевшую убежать от матери на свидание. Он схватил ее за руку, и они быстро пошли в густой ельник. Остановились и молча посмотрели друг на друга. Она глядела серьезно, тревожно, вопрошающе. Глаза ее в сумерках белой ночи казались жгуче-черными, таинственными... Эта тихая ночь в старом лесу, эти большие темные глаза так близко — все было той необыкновенной, прекрасной жизнью, о которой мечталось как о чем-то несбыточном, далеком, все было, как сон, как чудо...

Он внезапно привлек ее к себе, припал лицом к нежному, трепетному, будто живому, пуху платка, затем нашел ее губы, горячие, шершавые и, внутренне удивляясь своей дерзости, стал целовать суматошно, неумело... Задохнувшись, она отстранилась и в упор взглянула ему в глаза. Во взгляде ее были и удивление, и испуг, и немая мольба, и нежность. Шавката била мелкая дрожь, часто, гулко стучало сердце.

— А я думал, там, за ширмой, лежит генерал, а там была ты! — срывающимся шепотом проговорил он.

Надя беззвучно засмеялась, но тут же посерьезнела и показала глазами в сторону нейрохирургической палаты: «Мне пора. Хватятся, ругать будут».

— Постоим еще, — молил ее Шавкат, — еще немного!

Он крепко обнял ее. Положив голову на его плечо, она затихла, словно задремала... Потом она мягко отстранила его, хотела было уйти, но Шавкат поймал ее за руку... Наконец и маленькая рука ее выскользнула из его ладони... И Надя ушла, убежала, скрылась в тамбуре палатки...

Шавкат стоял потрясенный: неужели это было — он целовал девушку?! На губах все еще ощущался вяжущий холодок от поцелуев, тело помнило ее прикосновение, на гимнастерке остался легкий аромат пухового платка. Вот на этом месте она стояла, вон там прошла, примяв траву. Сейчас она уже легла и думает о нем... Спокойной ночи, любимая!

Он ушел в лес. Он шел по стране своей первой любви. Он испытывал глубокую нежность к этим деревьям, папоротникам, замшевым валунам и безбрежному тихому небу этой необыкновенной белой ночи. И как-то по-новому, волнующе, пахла хвоя, и с этим запахом, казалось, смешались и Надино дыхание и дивный аромат ее платка... От сознания того, что Надя тоже его любит, любит такого, какой он есть, — обыкновенного солдата, неприметного паренька из маленькой башкирской деревеньки, — он чувствовал и гордость, и радость, и уважение к себе. Ему хотелось сейчас же поделиться с кем-нибудь своим великим счастьем, рассказать кому-нибудь о своей любви, о том, как любит его самая лучшая, самая красивая девушка на свете. Но кому? Госпиталь спит. Только где-то движок все стучит и стучит да в палатках бредят раненые. Нет, никто не узнает, что этой ночью случилось чудо, что Шавкат целовался с девушкой.

Он вышел на тропинку и вдруг услышал впереди чьи-то шаги. Кто-то, беспечно посвистывая, шел навстречу. А вот и сам полуночник показался. Санитар Крайнов! В новой гимнастерке, синих диагональных брюках, начищенный, подтянутый, с чисто выбритым, сытым лицом. «Веселый парень, — подумал о нем Шавкат с приятностью. — Наверно, тоже ходил на свидание».

— А, это ты? — без удивления проговорил Крайнов, достал папиросы, протянул Шавкату. — Закури.

Шавкат прикурил, затянулся, и впервые ему, некурящему, табачный дым показался приятным.

— Видел сегодня тебя с этой... — заговорил Крайнов с ухмылкой. — Ну, как она? Ничего? (Тут Крайнов произнес нехорошее слово.)

Лицо Шавката обдало жаром. Он вспомнил рассказ Нади о том, как однажды приставал к ней в лесу Крайнов, и ощутил острую неприязнь к этому самодовольному, неприятному человеку.

— Ты трепло!.. — с вызовом произнес Шавкат, насулленно глядя в сторону.

Но Крайнов вызова не принял.

— Вот выпишут тебя из госпиталя, погибнешь смертью храбрых, даже за живую бабу не поддержишь, — как бы по-дружески, сочувственно говорил

Крайнов. — А я вот ходил в дивизионную прачечную, нагулялся, как кот... — Помолчал, скорчил грустную гримасу и добавил: — Хо-хо-хо! Грехи наши тяжкие! Ну бывай! Я пошел на боковую... Не теряй-ся, друг, все равно война!..

А наутро Шавкат узнал об эвакуации. Из первой нейрохирургической эвакуировали троих: обожженного танкиста, что лежал под железной сеткой, Абдуллаева и Надю Грачеву.

Эта эвакуация, обычная, очередная в госпитале, ошеломила Шавката, как внезапное неотвратимое бедствие. Всего неделю назад он познакомился с Надей, только вчера поцеловал ее и не успел даже поверить в свое нечаянное счастье — и вот все...

С утра у него было много дел: ходил за завтраком, кормил раненых, потом бегал на склад за обмундированием для уезжающих. Сегодня он как-то особенно был возбужден и притворно весел: то плоско острил, то очень громко и неестественно смеялся. А на душе было так мутно, что, если перестать балагурить и смеяться, просто не выдержишь, зарежешь...

Он надеялся, что еще успеет поговорить с Надей, — нужно было сказать ей что-то очень важное, неотложное, — надеялся даже поцеловать ее на прощание...

Наконец, уловив минутку, он заглянул за ширму. Надя, одетая, покорно готовая к отъезду, сидела на заправленной койке и укладывала в старенький вещмешок скудный солдатский скарб. Увидев Шавката, она встала, зарделась румянцем и грустно улыбнулась. «Вот видишь, уезжаю!» — говорили ее глаза. Он тоже пытался улыбнуться, пытался что-то сказать, но слова казались такими ничтожными, ненужными, а лицо словно окаменело, только губы кривились судорожно, горестно... Он сознавал, что рано или поздно им все равно пришлось бы расстаться — война есть война, — но такая нестерпимая тоска была на сердце, и такой неслыханной несправедливостью казалось теперь это расставание...

Надя достала блокнотик и хотела что-то написать, но тут за ширму заглянула Соня и приказала начальственным голосом:

— Яруллин, помоги Крайнову вынести Бурмистрова! А вы, Грачева, тоже выходите!

Шавкат горько усмехнулся: дескать, ничего не поделаешь — служба — и вышел из-за ширмы.

У палаты уже стояла крытая санитарная машина.

Первым вынесли обожженного танкиста. Затем Дуся под руку вывела Абдуллаева. Вместе с ними вышла и Надя... Когда раненые разместились в крытом кузове, когда водитель поднял задний борт машины, врачи и сестры стали прощаться с уезжающими и стали говорить то, что обычно говорят в таких случаях: «Пишите», «Не забывайте», «Не поминайте лихом». Шавкат тоже хотел было подойти к Наде и в

последний раз пожать ей руку, но не успел — опять послышался начальственный голос Соня:

— Яруллин, иди с Крайновым в операционную за новеньким! Положите на место Абдуллаева! А ты, Дуся, быстренько смени белье.

Не отрывая взгляда от лица Нади, Шавкат нерешительно топтался на месте и растерянно улыбался. Надя тоже улыбалась ему через головы провожающих — улыбалась как-то по-новому: прощально и откровенно...

— Яруллин! Кому говорят?! — нарочно громко, как показалось Шавкату, крикнул Крайнов. — Живо, давай!

Шавкат отвернулся от Нади и, чувствуя, что вот-вот заплачет от тоски и обиды, побрел за Крайновым. У входа в операционную он оглянулся на секунду и в последний раз увидел далекое, смутное лицо Нади. В операционной, как-то машинально, бестолково помогая санитарам переложить раненого с операционного стола на носилки, он вдвиг услышал гул уходящей машины и мысленно представил, как машина пошла по аллее, как прошла мимо кухни; как повернула на проселок, ведущий к шоссе... и вот уже ничего не слышно... Надя уехала!

Потом, выйдя из операционной, он увидел вокруг какой-то другой, как будто незнакомый госпиталь... Нет, все было, как прежде: те же сосны, те же палатки, — но все стало теперь как-то будничным и пофронтовому суровым... И в палате Шавкат сразу же заметил перемену: сняли ширму, — и со всей своей щемящей пустынностью обнажился угол с аккуратно заправленной Надиной койкой... Не в силах вынести и сиротливый вид этой койки и тошнотой подступающую к горлу тоску, он кинулся вон из палаты и ушел, убежал в лес...

Он долго шел по глухому бездорожью, углубляясь все дальше и дальше в неведомые дебри старого бора... и неожиданно вышел к опушке леса, и увидел знакомое ржаное поле... Вот она, тропинка, по которой только вчера они шагали вместе, — вот даже ее следы... А вон там домик... Он медленно побрел по тропинке, но, пройдя полдороги, повернул обратно: он просто не в силах был видеть опять этот пустой дом, эти ступеньки, где они сидели вчера вдвоем, этот колодец, в глубине которого рядом с его лицом отражалось ее. А как вернуться в госпиталь... где все еще полно ею — вместе с тем невыносимая и непоправимая пустота вокруг?! Вдруг он подумал, что ни за что не останется в госпитале санитаром, что его место не здесь, в тылу, среди женщин, а там, на переднем крае... Ведь он уже здоров... И впервые за все эти дни он вспомнил свою роту — две недели, как он оттуда, а ему казалось, что прошла целая жизнь, — вспомнил своих товарищей, друзей, с которыми ему предстояло еще немало съесть солдатской каши, немало пройти по трудным дорогам войны... И ему стало легче...

Он погиб в Восточной Пруссии 9 февраля 1945 года.



Борис Ласкин

ПАПА И МАМА

РАССКАЗ



Рисунки Е. Медведева.

Мальчишка шел хорошо, просто великолепно. Маленький, подтянутый, в левой руке — портфель, в правой — высокие гладиолусы. Руку с цветами он держал на отлете, и гладиолусы взлетали и опускались — раз-два, раз-два. Мальчишка чеканил шаг и был похож на тамбурмажора, идущего впереди оркестра.

За мальчишкой, почтительно соблюдая дистанцию, следовали две женщины — молодая, по-видимому, мать, и пожилая, скорей всего бабушка.

Тетерин невольно улыбнулся.

Оглянувшись на дочку, он отметил, что та по-прежнему занята собой, своим новым платьем, белым нарядным передником и белым бантом.

— Что, волнуешься? — спросил Тетерин.

Майка тряхнула косичками.

— Не-а!

— Так я тебе и поверил!

Они свернули за угол и увидели вдалеке здание школы. Туда со всех сторон тянулись мальчишки и девочки. Наиболее торжественно выглядели первоклассники. Одних вели за руку взрослые, другие же мужественно шагали сами, давая понять любому встречному, что они прекрасно знают, куда и на что идут.

Школьники старших классов шли не спеша, с той элегантной небрежностью, которая отличает людей, уже вкусивших плоды просвещения.

Первый день сентября. Когда же был его — Валерки Тетерина — памятный, первый день?.. Давно.

Он родился в тридцать восьмом, вскорости грянула война, и, когда ей пришел конец, Валерка увидел отца. Он, разумеется, видел его и раньше, но по малолетству не помнил его и только после победы разглядел по-настоящему.

Первого сентября тысяча девятьсот сорок шестого года отец сам проводил Валерку в школу. Отец был в военном, на груди его блестели ордена и медали. Ах, какой незабываемый путь прошли они тогда от

дома до школы на Малых Каменщиках! А сейчас, сейчас даже и школы той уже нет. Теперь там остались только клены, громадные и постаревшие. А новая школа, которую он кончал, стоит на другой улице, и номер у нее другой.

Вообще, конечно, было бы лучше привести сегодня Майку в ту, в его школу, к его бывшим учителям. Все бы они ахали, восхищались Майкой, и на родительском собрании он бы сидел в своем классе — человек взрослый, образованный, навсегда свободный от тревожной необходимости выходить к доске, доказывать теорему Пифагора и шарить по карте в поисках затерявшегося пролива.

В школьном дворе, куда они пришли с Майкой, уже стоял несмолкаемый гомон. Ветераны обменивались летними впечатлениями, и чаще других слышалось слово «представляешь?». Первоклассники, притихшие от волнения, с нескрываемым любопытством разглядывали друг друга. Их папы и мамы, дедушки и бабушки, не теряя времени, давали своим питомцам множество ценнейших указаний.

Найдя свободную скамейку, Тетерин сел. Он хотел было напоследок преподать Майке что-нибудь сугубо назидательное, но, поразмыслив, решил: все, что надо, сказано, пусть смотрит и привыкает.

А Майка тем временем уже встретила знакомую девочку из второго подъезда и помахала отцу рукой: дескать, все в порядке, папа, как видишь, я тут не одна.

Утро выдалось теплым и ясным. Тетерин откинулся на спинку скамейки и увидел того мальчишку с гладиолусами. Будущий ученик терпеливо выслушивал очередные наставления и утвердительно наклонял голову, что должно было означать — понимаю, понимаю, не маленький. Беседу вела бабушка, а мама, открыто любясь сыном, озорно, по-девчоночьи строила ему смешные гримасы.

Тетерин прищурился — молодая женщина показала ему знакомой. Он вынул очки, надел их, снова

посмотрел на женщину, и в это мгновение она обернулась. Сперва лицо ее выразило отчужденность, потом внимание, а затем нарастающий интерес.

— Товарищи,— всплеснула руками женщина,— кого я вижу!..

Тетерин растерянно снял очки и встал. «Она, конечно, она, Лариса Метельская. С ума сойти — Лариска!»

А женщина уже подошла к нему.

— Здравствуй, Тетерин,— сказала она просто и радушно, будто они не виделись день или два.

— Здравствуй, Метельская,— в тон ей сказал Тетерин.

— Плохо ты, однако, обо мне думаешь.

— Почему?

— Я уже давно не Метельская.

— Это я как-то сразу не собрал,— сказал Тетерин.— Как же теперь твоя фамилия?

— Сейчас выясним.— Лариса обернулась к сыну.— Мальчик, как твоя фамилия?

Тамбурмажор укоризненно нахмурился: сколько можно репетировать одно и то же? Он помнит: если учительница спросит, как его фамилия, нужно встать и громко ответить.

— Мы Кузнецовы,— сказала Лариса,— и дух наш молод, как видишь...

Тетерин продолжал смотреть на нее. «До чего же ты изменилась! — думал он.— Во-первых, ты очень похорошела. Я помню тебя в школьной коричневой форме, в нелепых сатиновых шароварах. А сейчас ты прекрасно одета, по моде причесана. И глаза у тебя совсем другие. Не прежние. Какая-то в них сила, уверенность, даже вызов. И потом — ты до удивления молодая. Я ведь старше тебя, я был в десятом, ты в восьмом, тогда мне казалось, что это много — два года. А сегодня наши дети ровесники...»

К Тетерину подбежала Майка, видимо, желая ему что-то сказать, но передумала: ее смутило присутствие посторонней женщины.

— Что? — спросил Тетерин.

— Я потом,— сказала Майка и отошла.

Лариса проводила ее взглядом.

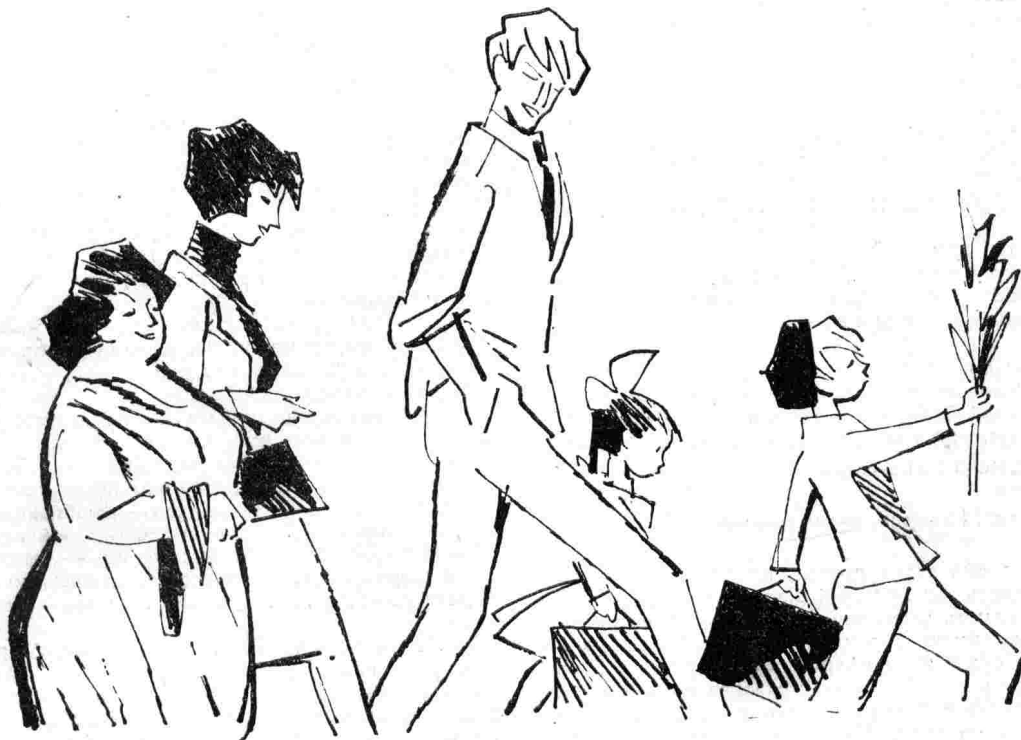
— Ну, рассказывай, Тетерин, как живешь?

— Хорошо живу, Метельская.

— Я не Метельская. Я Кузнецова.

— Для меня ты Метельская,— со значением произнес Тетерин, дабы Лариса поняла, что он предпочитает разговаривать с ней на прежних правах, как старший с младшей.

Лариса улыбнулась, и по ее улыбке можно было догадаться, что она не собирается уступать ему инициативу.



— Купем мы счастья ключи?— продолжал Тетерин, и строчка из песни явственно прозвучала вопросом.

Лариса указала рукой на скамейку, и, когда Тетерин снова сел, она опустилась рядом.

«Ты почти не изменился,— думала Лариса,— у тебя все тот же настороженно-оценивающий взгляд, будто тебе сразу нужно принять решение и сказать: да или нет. А это не просто. Лучше повременить. А пока можно выдумать какое-нибудь неотложное дело, и я должна буду понять, что тебе сейчас не до меня».

— Женат? — спросила Лариса.

— Кто за меня пойдет?

— А откуда же дочка? — спросила Лариса и снова подумала: «Ты все такой же, по-прежнему кокетничаешь — «кто за меня пойдет»...»

— Дочку я купил в магазине «Тысяча мелочей».

— Хорошая девочка. Больше таких не было?

— Такая была только одна.

— И как же ее зовут?

— Майка. А твоего?

Лариса ответила не сразу.

— Валерий,— сказала она и, помедлив, добавила:— в честь Валерия Чкалова. Был такой знаменитый летчик...

— Знаю,— сказал Тетерин и закурил.— Чкалов, Байдуков и Беляков. Первыми совершили беспосадочный перелет из Москвы в США.

— Да, в Соединенные Штаты Америки,— сказала Лариса.

Они помолчали.

«Валерий,— подумал Тетерин,— Чкалов Валерий, а Валерий и мальчишка Валерий. Все. Про это и говорить не надо и думать не надо. Ни к чему».

«Ты не считаешь, что это случайное совпадение,— мысленно сказала Лариса,— ты убежден, что, выбирая имя сыну, я вспомнила о тебе. Это правда. Вспомнила. Да. И знаешь, почему? Потому что я когда-то была в тебя влюблена, а ты меня почти не замечал».

— Сынишка на тебя мало похож,— сказал Тетерин.— Больно суровый товарищ.

— Пламенный борец за свободу и независимость,— улыбнулась Лариса.

— А почему же отец с вами не пришел?.. Такой день ответственный.

— Отец далеко. Он в Токио.

— Да?— удивился Тетерин.— В командировке или как турист?

— Он корреспондент в Японии.

— Понятно. Значит, он там, а вы здесь.

— Мы все были там. Я только месяц как приехала с Валеркой. Решили: пусть учится в Москве.

— Правильно,— сказал Тетерин.— В гостях хорошо, а дома лучше... Муж — корреспондент, а ты?

— А я домашняя хозяйка. Уборщица. Воспитательница. Стряпуха. Стенографистка. Машинистка. Шофер. Артистка. И жена в свободное от работы время.

— И ты артистка?

— Почему «и ты»?.. Да это я шучу. Ты же помнишь, наверно, я всегда немножко пела. В прошлом году на ноябрьские дни в нашем посольстве был концерт.

Тетерин вдруг вспомнил выпускной вечер — Лариска Метельская поет какой-то романс, а он в зале с Кирой Саблиной — первой школьной красавицей, и Лариска со сцены видит их, сидящих рядом...

— А у меня жена актриса,— сказал Тетерин,— киноартистка.

— Правда? Наверно, очень знаменитая? — спросила Лариса.

«Внешне она стала другой, но что-то в ней все-таки осталось от прежней Лариски», — подумал Тетерин, и память услужливо вернула ему давний и, в общем, довольно дурацкий их разговор. Лариска встретила его у кино «Аврора» и по дороге домой (он не мог ее не проводить) сказала ему: «Большой твой недостаток, Валера, что ты прямо до ужаса любишь быть на виду. Многие уверены, и ты в том числе, что Кира Саблина — будущая звезда экрана (кстати, никакой она не стала звездой, она окончила медицинский и работает врачом по уху-горлу-носу)... Многие уверены, что Кира — будущая знаменитость, не то что я — девчонка, у которой не только таланта, но даже самолюбия нет ни вот столечко». Теперь он уже не помнит, что ей тогда ответил, но Лариска замолчала и до самого дома не сказала ни слова.

Вообще говоря, в чем-то она, конечно, была права. А может быть, это он сейчас так думает, сегодня, когда перед ним не Лариска Метельская, а Лариска Кузнецова, которая уже не робеет в его присутствии,

а спокойно, с непонятым чувством превосходства смотрит ему прямо в глаза.

— И как же фамилия твоей жены, если не секрет? — Беспалова. Ирина Беспалова. Ее нет в Москве, она в экспедиции... Ирина снималась в кинофильмах «Первое свидание», «Человек ищет выход»...

— К сожалению, не видела,— сказала Лариса и поймала себя на мысли, что ей было бы приятней, если бы его женой оказалась более известная актриса.

— Картины имели успех,— продолжал Тетерин,— рецензии появились неплохие...

— Я же была в Токио. А у нас там, к сожалению, эти фильмы не шли.

Она снова сказала «к сожалению», потому что Тетерин был, как видно, огорчен. Если бы она знала киноактрису Ирину Беспалову, он бы, вероятно, чувствовал себя уверенней, а так ему что-то приходится объяснять, вроде бы оправдываться.

— Я главного не спросила — ты-то что делаешь?

— И я в кино работаю.

— Неужели режиссер?

— Инженер. Специалист по звукозаписи.

— Оба в кино. Значит, у вас общие интересы, у тебя и у Елены...

— Ее зовут Ирина.

— Ой, прости ради бога.

«Нарочно ошиблась», — решил Тетерин.

— Так, насколько я понимаю, все хорошо,— сказала Лариса,— да?

— Все отлично,— сказал Тетерин и подумал: «Тебе хотелось услышать другое: «Мне было бы намного лучше, если бы мы не расстались. Когда-то я не оценил твою способность жить интересами человека, который тебе дорог и которого ты любишь». Ну-ну, усмехнись и спроси: «Почему же ты это понял только теперь, когда ты женат, а я замужем и у нас дети-школьники, и назад дороги нет»... Но, поскольку ты об этом не спросишь, мне не нужно будет и отвечать».

— Все-таки удивительно,— вздохнула Лариса,— люди столько лет не виделись, им бы говорить, говорить, а они больше молчат...

Тетерин пожал плечами:

— Молчим мы не потому, что нам нечего сказать, а потому, что нам есть что вспомнить...

— Это верно,— тихо сказала Лариса, и Тетерин с пронзительной ясностью ощутил: Кузнецова куда-то исчезла, а осталась Метельская — влюбленная, славная, беззащитная Лариска из восьмого «А».

— Надо бы нам ребят познакомить,— Тетерин указал в сторону, где, несколько освоившись, но еще не обретя солидности, галдели и возились первоклассники.

— Познакомятся и без нашей помощи. А впрочем, они уже, кажется, знакомы...

И в самом деле — Валерка Кузнецов что-то рассказывал, и его внимательно слушали Майка Тетерина и девочка из второго подъезда.

— Вы живете где-нибудь поблизости? — спросил Тетерин.

— Нет. Здесь бабушка живет, Алешина мама. А мы строимся в районе Химки-Ховрино. Вернемся в Москву и переведем Валерия Алексеевича туда, в другую школу. Но это будет через год, не раньше. А пока придется его оставить у бабушки, и мне ужасно жалко. Ты понимаешь, мальчик сейчас в таком возрасте, когда он еще очень нуждается в матери...

«Почему я ни разу не слышал этого от Ирины?» — подумал Тетерин, испытывая привычное чувство до-

сады, которую у него вызывала подчеркнутая увлеченность Ирины своей занятостью, дававшей, как ей казалось, право слишком часто не думать ни о ком, кроме себя, и ни о чем, кроме своих дел. А может быть, он зря придирается и виной всему ее профессия — всегда у всех на виду...

— Это, конечно, правильно, — сказал Тетерин, отвечая не столько Ларисе, сколько собственным мыслям, и неожиданно спросил: — Хороший город Токио?

— Хороший, — сказала Лариса. «Ты сейчас думаешь о другом, но раз ты задал вопрос, я тебе с удовольствием отвечу». — Город интересный, и люди интересные. Прекрасно работают, вежливы предельно, кланяются при встрече и при прощании. Валерка это там перенял и теперь то и дело кланяется бабушке, а уж та довольна, сам понимаешь...

«Я ее про Токио, а она про сына».

— Техника у японцев на высоте, — сказал Тетерин, делая попытку перевести разговор на отвлеченную тему, — электроника, радио. Оптика превосходная...

— Да. Я хочу тебе показать, — Лариса открыла сумку и достала из нее глянцевый квадратик цветного снимка, — вот, это фотографировал один наш товарищ, советник по культуре, у него японский аппарат...

Даже не взглянув еще на снимок, Тетерин твердо знал, что он увидит, и секундой позже убедился, что не ошибся.

На фоне цветущей сакуры и белоснежной вершины Фудзи стояли трое — Лариса, Валерка и рослый молодой человек. Мама и сын были серьезны, а молодой человек — муж и отец — улыбался, как бы говоря своей улыбкой ему, Тетерину: «Так уж здорово получилось, что эта женщина — моя жена».

— Замечательно, — сказал Тетерин, и было неясно, что ему больше понравилось: красота пейзажа, качество снимка или запечатленная на нем семья Кузнецовых.

— Хорошо, правда? — спросила Лариса, и Тетерин без труда понял, и о чем она спрашивает и как она ждет от него доброго слова в адрес человека, с которым по счастливому согласию навсегда связала свою судьбу.

«Симпатичный у тебя супруг», — мог сказать Тетерин и не погрешил бы против правды. Еще он мог улыбнуться и сказать: «Здоровая советская семья». Он нисколько не сомневался, что слова его доставили бы Ларисе удовольствие и радость. Но, рассматривая снимок, Тетерин всего лишь одобрительно кивнул:

— Очень хорошо, — а потом, чувствуя, что Лариса все еще ждет от него каких-то других слов, деловито уточнил, — тут многое зависит от качества бумаги.

Лариса молча взяла у него из рук снимок и спрятала его в сумку.

— Ты прав, многое зависит от качества бумаги, — сказала она, улыбнувшись, мысленно говоря ему, что не сердится на него и сочувствует ему, но почему сочувствует, этого она, пожалуй, и сама не сумела бы объяснить.

К ним подошла Валеркина бабушка.

— Ларочка, детей уже разобрали по классам!..

— Знакомьтесь, Анна Гавриловна, — сказала Лариса, — это Тетерин, мы когда-то вместе учились...

— Очень приятно. — Анна Гавриловна бросила на



Тетерина отсутствующий взгляд и взяла Ларису за руку. — Пойдем!..

Дети чинно стояли на площадке перед зданием школы. Против каждой группы малышей тихо переговаривались провожающие.

Тетерин оказался рядом с Ларисой. Их детям выпало учиться вместе — в первом «А».

Он подмигнул Майке, потом повернулся к Ларисе, желая сказать ей что-нибудь вроде того, что все идет своим чередом и в жизнь вступает новое поколение, но это его желание вытеснила простая мысль: «Она увлечена своим мальчонкой, и ей не до меня».

Тетерин опять посмотрел на дочь, словно бы ища у нее сочувствия.

Подавись вперед, Майка стояла с подружкой из второго подъезда, а позади, высоко подняв гладиолусы, замер Валерка — маленький тамбурмажор.

Директор школы — бородатый молодой человек — произнес речь, и в наступившей тишине громко и весело зазвенел звонок.

— Лариса, поздравляю тебя, — сказал Тетерин. — Ты слышишь?

— Слышу. Спасибо, — ответила она, не оборачиваясь, провожая глазами уходящих ребят.

А школьный звонок все звенел и звенел. Казалось, ему никогда не будет конца.

К 150-летию со дня рождения И. С. Тургенева

Виктор
Шкловский

ВОЗДУХ ТУРГЕ- НЕВА



Сейчас многие увлекаются чтением путешествий, мемуаров. Фотографическая проза расцвела, метрами даже потеснила беллетристику. Но многое из того, что кажется нам совершенно новым, всего лишь обновлено и появилось в новом качестве. В то время, когда Карамзин писал «Письма русского путешественника», путешествия занимали очень большое место в библиотеках, потому что мир только открывался.

Русская проза, может быть, раньше всех других заинтересовалась тем, что можно назвать литературой факта. Конечно, это не записи фактов, а творческое воспроизведение жизни — такое воспроизведение, после которого мы сами учимся смотреть.

Толстой в неизданном предисловии к «Войне и миру» говорил, что русские вообще не писали романов и лучшие русские книги не поддаются обычному определению жанров. Он перечислял книги Тургенева, Аксакова и «Записки из мертвого дома» Достоевского.

В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 г.» Белинский писал, что «...теперь самые пределы романа и повести раздвинулись: кроме «рассказа», давно уже существовавшего в литературе, как низший и более легкий вид повести, недавно получили в литературе право гражданства так называемые физиологии, характеристические очерки разных сторон общественного быта». Дальше Белинский говорил о значении мемуаров.

Тургенев — романист известный и у нас и на Западе. Он был, наверно, первым из русских писателей, получившим всемирное признание, но он писал про себя: «Кому нужен роман в эпическом значении этого слова, тому я не нужен; но я столько же думаю о создании романа, как о хождении на голове: что бы я ни писал, у меня выйдет ряд эскизов».

Конечно, Тургенев писал романы, но он писал свои романы, он создавал роман как новый жанр. В его романе иную роль занял пейзаж, иную роль занял характер, который часто давался как открытие. Фигура Базарова оказалась для современников и ближайших потомков не только фигурой героя романа, не только одним из тех детей, деятельность которых противоречит устою жизни отцов. Базаров оказался человеком «ового времени, нового мировоззрения, нового метода жизни, он оказался человеком с иными требованиями к себе».

Великий физиолог И. Павлов в жизни своей руководился образом Базарова; это был человек его нравственного идеала. А для Тургенева Базаров внезапно оказался именно героем, соотнесенным с Пугачевым, — человеком, вырастающим из земли.

Конечно, писатели не выдумывают людей, которые действуют в их романах, но они их как бы «выщипывают», освобождают характер от случайности; они создают новые патенты на человеческий характер, предвидя людей завтрашнего дня.

Тургеневу, как писателю, присуща способность прозрачности. Сергей Михайлович Эйзенштейн когда-то советовался со мной: он хотел снять «Записки охотника» Тургенева. Он хотел дать цикл очерков, в которых не было бы рассказчика, но рассказчик чувствовался как точка зрения съемочного аппарата. Это был как бы человек, пришедший в мир для того, чтобы смотреть, смотреть и учить видеть.

В пейзаже, в отношении к людям нет привкуса характера писателя. Он объективен, он характеризует людей над своим отношением к ним, их отношениями друг к другу. Такая лента не была снята, как и многие другие ленты Эйзенштейна, а если примутся за эти ленты, то, вероятно, начнут вытягивать событийную нитку происшествия. Но дело не только в событиях, не только в выявлении отношения писателя к миру; дело в том, чтобы научить читателя шире воспринимать мир, помочь ему в анализе.

Тургенев впервые в нашей литературе психологизировал крестьянина, отнесся к нему не как к части пейзажа, а как к герою со сложной психологией.

Тургенев настолько отодвинулся от нас, настолько нами усвоен, что мы его уже почти не ощущаем; не ощущаем, как утро, как деревья. Но он научил нас видеть то, что мы сейчас видим. Он проложил дороги для людей, которые прежде не видали природы средней России, не видали места, где степь соприкасается и как бы борется с лесом.

Тургенев показал нам не только драматургию характеров, но и драматургию природы. И, как всякий великий человек, в результате он оказывается больше самого себя, потому что он уже принадлежит будущему, которое он учит, которое он создает.

Сергей Михайлович Эйзенштейн, который так рано умер, хотел снять и снял картину «Бежин луг» в тех старых местах, где Тургенев бродил как бы незамеченным, неузнанным и увидал русских детей в ночном — спокойных, храбрых, поэтичных, бедных, но как бы рожденных для того, чтобы следовать поколению изменило будущее. Об этом была снята лента, которая сейчас частично восстановлена.

Многие люди, которые совсем не молоды, но значительно моложе меня, не любят Тургенева или не прочли Тургенева. Как я им завидую, потому что они его все равно прочтут. Тургенев обновился, он опять стоит со своей кажущейся простотой впереди литературы. Он дает людям наслаждение человеческой простотой, дает удивление перед прошлым и ощущение природы; утренний воздух Тургенева кажется как бы впервые сотворенным, впервые налитым в зеленую чашу лесов.

Литература никогда не воспринимается непрерывно. Нельзя все время читать одних и тех же писателей, как нельзя сеять пшеницу по пшенице или хлопок по хлопку. Человеческая душа, как и земля, нуждается в разнообразии, но радуется возвращению старого, когда оно обновлено.

Время обновления для Тургенева пришло. Опять появляется влюбленность в мир — в тот мир, который находится за границей города, начинается там, где обрываются асфальтовые дороги. Я думаю, что новая молодость Тургенева, его возвращение сказываются и в творчестве молодых советских прозаиков. Пусть юбилей Тургенева будет их праздником!

«...будущий историк литературы, говоря о росте русского языка, скажет, что язык этот создали Пушкин, Тургенев и Чехов».

А. М. ГОРЬКИЙ

«Тургенев — писатель, недооцененный современной критикой и литературоведением и значительной частью писателей наших. По характеру своей прозы он непосредственный продолжатель Пушкина...»

Язык народа (то есть тот, на котором говорят мужики) в произведениях Тургенева не имеет себе равных во всей русской литературе, включая, разумеется, и современную. Тургенев продолжает и развивает здесь линию Пушкина... У Тургенева язык народа — это язык чисто русский, отборный, природно мудрый, естественный, меткий, выражающий естественно, без претенциозности и без прикрас, все самые сложные понятия... Чрезмерное преклонение Тургенева перед женственностью, его женские и, главным образом, девичьи образы раздражали Толстого как реалиста более плотского и строгого. Но в этой тургеневской идеализации есть свое обаяние, необычайная прелесть, своя правда. И я бы сказал, в наше время такой способ изображения юности, женской красоты — это то, чего недостает нашей литературе, которая чрезмерно натуралистична, приземлена. Нашей молодежи нужно такое «идеальное» изображение именно этой стороны жизни, ибо она стремится к ней... эти черты в ней надо развивать...»

А. А. ФАДЕЕВ



АГНИЯ
БАРТО



В пустой квартире

Я дверь открыл своим ключом,
Стою в пустой квартире.
Нет, я ничуть не огорчен,
Что я в пустой квартире.

Спасибо этому ключу!
Могу я делать, что хочу,
Ведь я один в квартире,
Один в пустой квартире.

Спасибо этому ключу!
Я сразу радио включу,
Я всех певцов перекричу!

Могу свистеть, стучать дверьми,
Никто не скажет: — Не шуми!
Никто не скажет: — Не свисти!
Все на работе до пяти.

Спасибо этому ключу!..
Но почему-то я молчу,
И ничего я не хочу —
Один в пустой квартире.

Я люблю ходить вдвоем

Я люблю ходить вдвоем
В поле, в лес, на водоем,
Я люблю пускаться в путь
Не один, а с кем-нибудь.

Я люблю кричать: — Гляди!
Посмотри! Постой-ка!
Видишь, речка впереди,
Лодок, лодок сколько!

И с обрыва, с высоты
Я зову: — Ау... Где ты!
Погляди с обрыва,
Как вокруг красиво!

Я один брожу в лесу
(Так бывает редко).
Вот качнулась на весу,
Закачалась ветка.

Белка в зелени густой
Скачет в перелеске.
Крикнуть некому: — Постой!
Я один...
Мне красотой
Поделиться не с кем...

Мы в парк идем

Над городом, над парками
Вороны как закаркали!
А я кричу: — Не каркайте,
Хотим мы с папой
В парк идти.

Как черные кляксы, вороны
Уселись на ветке зеленой.
Я знаю их черные мысли:
Им нужно, чтоб тучи нависли,
Чтоб дождик запрыгал по лужам.
А мне он не нужен! Не нужен!

Но вновь они закаркали,
Прикинулись знахарками:
Мол, будет дождь над парками,
Над парками, над парками...

Орут они на дереве.
Мы с папой не поверили.
Не взяли даже зонтика —
Светло на горизонте-то.
И солнышко над парками
Сияет и горит.
— Нет, мы не верим карканью,—
Мой папа говорит.

Пусть каркают простуженно
Вороны, чуть не дюжина,
Мы в парк идем до ужина.



Так закалялась сталь

Иван Шаповалов,

бывший начальник
политотдела
Московской
кавалерийской
дивизии.



МАЛЫШ

Историю эту раньше никто не описывал. Но мало кто из ветеранов Московской кавалерийской дивизии не знает ее. Годы прошли со времен гражданской войны. Были новые и новые подвиги. Были новые и новые герои. Но Колю Колокольникова я не могу забыть. Может, потому, что был он одним из первых, отдавших жизнь за революцию?

Восемнадцатый год. Село Николо-Перерва. Здесь, близ Москвы, формируется 1-й Московский кавалерийский полк, ядро будущей дивизии. В один из сол-

нечных январских дней девятнадцатого года полк отправлялся на фронт. Положение тогда было острое: Деникин перешел в наступление.

Вокзальная сутолока. Где-то раздалась гармошка. Кто-то смеется. Кто-то плачет. Вот старуха припала к груди сына. Оторваться не может. Все шепчет: «Только вернись, вернись...» А паровоз уже надрыгается от гудков, рывком дергает вагоны. Поспешно прыгают на подножки красноармейцы. Поезд набирает скорость. Впереди фронт.

Мерно покачивается заляпанная грязью «летучая мышь». Там и сям мешки с овсом, сеном — корм для коней, которые тут же, в вагонах. На сене и устраиваются бойцы. Вдруг один из них, вглядываясь в темноту угла, воскликнул:

— Да там кто-то есть! А ну выходи!

Робко отделившаяся от стены тень оказалась мальчонкой лет пятнадцати-шестнадцати.

— Хорош! Ну, рассказывай, что ты тут делаешь? Часом, не беляки подослали?

Гневно взглянув на говорившего, парнишка с достоинством сказал:

— Колька Колокольников я. Москвич. А еду на фронт. Деникинцев-гадов бить. Примите меня...

Первое боевое крещение Колька получил в разведке. Здесь он был незаменим. Взрослый в деревню зайдет — заметят: кто таков да откуда? С мальчонки же что взять? Много их без роду без племени в ту пору по дорогам болталось.

А Коля знает свое дело. Примечает, что надо. Выспрашивает. Много ценных сведений доставлял. И обнаружил такую сметливость, что Карпов, старый рабочий, участвовавший еще в дружине пятого года, сказал:

— Малыш совсем, а молодец!

С легкой руки Кольку так и стали Малышом величать.

На привалах между боями Малыш любил читать стихи:

На всех континентах света
Пятиконечная звезда людей труда объединяет.
И лозунгом борьбы за правду —
Красным цветом
Весь старый мир лучом свободы озаряет...

Стихи были слабоватые, порою не совсем понятные. Но Колька все равно любил их. Потому что они

На фото: Иван Шаповалов (снимок времен гражданской войны).

были про революцию. Про свободу. А это, он считал, главное в книгах.

Он любил мечтать. О том времени, когда перебьют всех врагов. Тогда он вернется в Москву. К друзьям. К маме. Она, бедная, осталась совсем одна.

О его семье мало что знали. Колька ничего не рассказывал. Опасался: узнают адрес — домой отправят. А это было бы для него самым страшным наказанием. Он боялся пропустить хотя бы один бой.

...Под Лисками завязалось ожесточенное сражение с денкидцами. Московский кавалерийский полк, вклинившись в левый фланг противника, начал теснить врага. Бой приближался к концу. И вдруг вырвавшихся вперед кавалеристов стал обстреливать пулемет. Упал один. Другой. Забились в предсмертных судорогах кони. Люди сопротивлялись, как могли. Но силы были неравны. Семеро, в том числе и Колокольников, попали в плен.

Думали, расстреляют сразу. Нет, повели в город, в тюрьму. По дороге конвоиры сняли приглянувшиеся сапоги, брюки. Отобрали деньги. В тюрьме допрашивали. Били. Потом построили в шеренгу.

— Кто доброволец? Выходи!

Секунду все молчали. Словно сговорившись, все семеро сделали шаг вперед. Офицер злобно растянул губы в улыбке. Подошел к пленным, отобрал троих, и тут же их расстреляли.

Остальных погрузили в товарный вагон. Повезли в неизвестном направлении. Как выяснилось позднее, — на Дон, в станицы. Днем гоняли на земляные работы. Вечером запирали в старом сарае. У дверей маячил конвоир, казак с хутора.

Так и тянулось время. Иногда случайно долетали вести о положении на фронте.

Пожалуй, не было дня, когда бы москвичи не думали о побеге. Особенно горячился Малыш.

— Люди воюют, а мы сидим. Скорее, скорее бежать надо.

Благоприятный для побега момент представился неожиданно. Только что улеглись спать, вдруг шум. К охраннику примчался сынишка:

— Батько, быстрее до дому. Кобыла жеребится.

— Слава богу, сынок, слава богу. Ох, как нужен добрый конь казаку!

От радости забыв об охране, старый казак припустился до дому. На посту остался его сын.

План разработали мгновенно. Колька вышел, будто по надобности. Незаметно оставил незапертой дверь. Пока мальчишка его сторожил, бойцы успели выйти.

— Глянь-ка, пленных нет! — крикнул Колька. Охранник кинулся в сарай. А Малыша уже и след простыл.

Днем москвичи отсиживались в скирдах сена. Вечером пробирались на восток, к фронту. Вскоре вышли к станице Котельниково, через которую проходила железнодорожная линия Ростов — Царицын. Малыш пошел на разведку. Вернувшись, сообщил: в станице много военного имущества — бомбы, снаряды; часть белых ушла на фронт; среди жителей много недовольных властью.

Решили так: пойти на базар, попытаться найти сочувствующих красным.

Базар кишел людьми. Пробираясь сквозь галдящую толпу, красноармейцы вдруг услышали.

— Говорят, что красные грабят. А кого грабят? Буржуев проклятых. Так разве это грабеж?

Окружив говорившего, высокого небритого мужчину, люди одобрительно кивали.

«А что, если рискнуть? — одновременно мелькнуло в головах у беглецов. — Пора действовать. А без помощи местных жителей не обойтись».

Красноармейцы подошли к этому мужчине, уже собиравшемуся покинуть базар.

— Послушайте, вы хорошо говорили. Истинную правду.

— А вы откуда знаете, где она, правда?

— Знаем. Мы боремся за нее. Только вот помощь нужна.

Казак сердито и вопросительно взглянул на них:

— Видать, нездешние. Откель будете? Кто такие?

Бывает так: почему-то проникаешься доверием к человеку. Сразу же.

— Мы пленные красноармейцы. Идем к своим. Подмога нужна.

— Ну, зайдем до хаты. Погутаим.

Помощь Захар Житков (так звали казака) оказал, и немалую. Поместил в своей хате, хотя знал, чем грозит это. Одежду дал. А главное, обещал достать документы, «будто беженцы вы, с тех мест, что Советы заняли». Познакомил Захар и с надежными людьми. Быстро сошлись москвичи с донскими казаками. И не удивительно. Одно чувство объединяло их — ненависть к белым. Однажды дотемна сидели в хате Житкова. Обсуждали, как будут бороться с белогвардейцами. Сообща разработали план действий: взорвать железную дорогу по обеим сторонам станицы, чтобы вражеские эшелоны с боеприпасами не шли на фронт. Забросать гранатами бронепоезд. Поджечь склады с оружием. Сделать это надо одновременно. У белых не хватит сил прекратить пожар в нескольких местах. Будет паника. В это время москвичи покинут Котельниково. Через калмыцкие степи станут пробираться к своим.

Гранаты и порох уже были заготовлены. Колокольников и Житков «позаимствовали» их на станции.

План понравился всем.

Захар Житков, обращаясь к москвичам, сказал:

— В надежности нашей не сомневайтесь. Вы, можно сказать, попали в боевой район. Сколько здесь схваток было с бандами Корнилова, Деникина! Сколько людей хороших погибло!

Некоторое сомнение внушал лишь Петрушков, железнодорожник, тоже привлеченный к операции. Когда стали расходиться, он как-то боязливо оглянулся и жалобно спросил:

— Братцы, а вдруг не получится — боязно!

Было странно это слышать. На такое дело надо идти с верой. Но как не доверять человеку? Может, это минутный страх.

Наступил решающий день. Малыш, которому было поручено подорвать железнодорожное полотно, взял гранаты и взрывчатку, пошел на станцию. Чтобы не вызвать подозрения, подпоясавшись железнодорожным ремнем с флажками: «Пусть думают — путевой сторож!»

Сколько боев пережил Малыш? Не один и не два. Но так, как сейчас, не волновался. В бою рядом друзья. Здесь — один. От него зависит успех операции: взрыв полотна — сигнал для других. Он подумал, как напряженно остальные ждут сейчас взрыва.

Осмотревшись — никого! — Коля вырыл гнездо под стыком рельсов и стал бережно укладывать взрывчатку. Уф! Кажется, все! И вдруг с ужасом услышал шум приближающегося состава. Что делать? Состав не предусматривался в плане. Откуда он? Что делать? А поезд все ближе. Поезд, везущий оружие белым. Лихорадочно, дрожащими руками Коля схватил шнур. Зажег. Эшелон приближался. Но огонь уже полз по шнуру вверх. Малыш метнулся в сторону. Тут же раздался оглушительный взрыв. Что он увидел, когда бежал, — это с треском наползающие друг на друга вагоны. Пламя озарило все окрест. Позднее мелькнула мысль: «Где же второй и третий взрывы?»



Рисунок С. Аристоксевой.

Полотно «готово», теперь очередь за бронепоездом и складами».

Взрывы не последовали. Петрушков, который должен был отвлечь охрану бронепоезда, не явился. План уничтожения бронепоезда сорвался по его вине. Но ущерб белогвардейцам был нанесен немалый.

Взрыв железнодорожного полотна и воинского эшелона всполошил белогвардейское командование. Станцию наводнили контрразведчики. Поселок оцепили. Начались аресты. Вzbешенные неудачами, белые зверски допрашивали арестованных, большинство из которых не имело отношения к взрыву. Среди взятых был и Петрушков.

Говорят: от трусости до подлости — один шаг. Не выдержав пыток, Петрушков сделал этот шаг. Он рас-

сказал контрразведке о Николае Колокольникове. Согласился опознать его.

В это время Малыш пробирался к своим. Они ждали его близ станции, чтобы вместе идти к линии фронта. Закопались в стог сена. У Малыша был документ беженца, которым снабдили его казаки. Юный вид его не вызывал подозрения. Ну, кто мог подумать, что мальчишка взорвал целый эшелон?

Все же случилось так, что полиция задержала его. И так как никаких улик не было, его уже хотели выпустить. И вдруг он увидел Петрушкова. Нет, презрения к этому человеку он не мог скрыть — настолько велико было оно.

— Что, знакомого встретил? — спросил офицер контрразведки, находившийся в это время в полиции.

Он заметил горящий ненавистью взгляд Малыша. — Ну-ка, Петрушков, поди сюда, — позвал он предателя. — Знаешь этого парня?

Так решилась судьба Коли. Его били. Ломали пальцы. Вывертывали ноги. Все допытывались имен товарищей. Но в ответ было одно: «Не скажу». Упорство мальчишки приводило в бешенство белых. Его опять били. Еще сильнее, хотя на него уже было страшно смотреть. Опять пытали. И опять слышали: «Нет! Нет! Нет! Нет!..»

Когда его вели на расстрел, за ним шла толпа местных жителей. Они провожали его в последний путь. В толпе Малыш увидал своих товарищей. «Живые, значит», — облегченно подумал он. И, преодолевая боль, улыбнулся им.

Его подвели к плетню. Хотели повернуть спиной. Он презрительно отвел руки палача. Выпрямился. Глубоко вздохнул. Прощаясь, в последний раз посмотрел на людей. На небо. На солнце.

Белогвардейцы уже поднимали винтовки. Целились точно в грудь.

Толпа замерла. Подавили рыдания женщины. В мертвой тишине раздался звонкий голос Малыша:

— Скажите в полку: комсомолец Колокольников свой долг выполнил. Да здравствует Советская власть! И уже тише, с болью:

— Маме поклон передайте.

Раздался залп...

П. Юзюк,
В. Чернявский

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ ШЕПЕТОВКИ

Ты глядел в глаза винтовке,
Ты погиб как надо.

Э. БАГРИЦКИЙ.

В марте 1920 года на Украине, в районе оккупированной белополяками Шепетовки, вражеской дефензиве (контрразведке) удалось арестовать большую группу подпольщиков.

Разведчик, посланный в тыл противника Политуправлением Реввоенсовета XII армии, не вернулся. Как выяснилось позже, с его мандатом на Ровенскую

подпольную большевистскую конференцию проник агент дефензивы. В руках агента оказались имена, явки...

В ночь на 12 марта были схвачены руководители боевых троек, половина из них — комсомольцы. А через две недели в Шепетовке были расклеены объявления о том, что чрезвычайная сессия военно-полевого суда 13-й польской пехотной дивизии приговорила к расстрелу Ефима Барского, Ивана Сергеева, Ивана Павловского, Сергея Кудлаева (все четверо из Ровно), Анну Нисензон (из Острога), Ивана Демчука (из Цветохи) и Моисея Бернштейна (из Славути). «Вышеуказанные лица», — гласил приговор, — принимали участие в тайном коммунистическом союзе, который финансировался большевистским правительством, агитировали против польского правительства, организовали в селах на территории (оперативной) польских войск тайные повстанческие коммунистические союзы и дружины.

Для устрашения местного населения казнь совершили в открытую — на лесной опушке у обочины Слаутского шоссе (ныне улица Ленина).

Нескольким политзаключенным шепетовской тюрьмы вручили по заступу и погнали под конвоем за город. Там их заставили выкопать четыре ямы. На сквозном ветру, под хлопьями мокрого снега они долбили холодную, смерзшуюся землю. Покопавшись с ямами, врыли перед каждой по два столба — таков был приказ.

Вскоре со стороны города показалась группа людей, окруженная верховыми — белопольскими уланами. Когда они приблизились, «могильщики» узнали в конвоируемых Барского, Кудлаева, Павловского и Сергеева. Их развели поодиночке и привязали к столбам. От черных повязок, которыми им пытались завязать глаза, они отказались так же решительно, как незадолго перед тем выгнали из своей тюремной камеры ксендза, пытавшегося примирить их перед смертью с богом. Стоя под дулами винтовок, они запели «Интернационал».

Прозвучала команда «Пли!», но ружья безмолвствовали. «Пся крив! Большевистская сволочь!» — бесновался офицер, но ружья по-прежнему молчали. В одном из «саботажников» Сергей Кудлаев узнал распропагандированного им солдатика из караулки.

Как-то в тюрьме, скованный одной с Сергеевым кандалной цепью, Барский попросил пить. Едва один из заключенных кинулся с кружкой к стоявшему поодаль ведру, караульный ударил его прикладом. Тогда русобородый, в студенческой тужурке парень (это был Кудлаев) спросил по-польски:

— Ты за что его стукнул?

— Он большевик!

— А кто, по-твоему, большевики?

— Разбойники, — не задумываясь, ответил солдат.

— Разве я похож на разбойника?

— Нет, — нерешительно произнес караульный.

— Ну, вот видишь, а ведь я большевик.

Солдатик был явно обескуражен. Кудлаев решил ковать железо, пока горячо.

— Ты откуда родом? — спросил он.

— Из Польши, а жил в Соединенных Штатах.

— Как так?

— Поехал на заработки.

— А чего вернулся?

— Вернулся защищать родину.

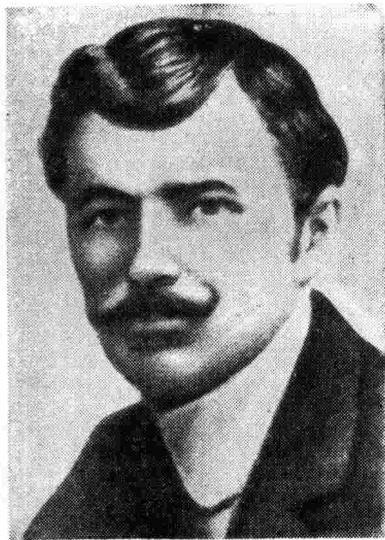
— А чем занимался за океаном?

— Работал на обувной фабрике.

— Сколько же ты скопил на этой самой фабрике?

— Двести долларов.

— Это за сколько времени-то?



Один из участников большевистского подполья в районе Шепетовки — комсомолец Иван Демчук.

— За десять лет.
— За десять! А хозяин твой, как думаешь, сколько себе в карман положил?
— Думаю, сотни тысяч.
— То-то и оно! А большевики хотят отнять у таких хозяев их фабрики и отдать рабочим.

«...Видно, не зря тогда поговорили», — не без гордости думал Кудлаев, наблюдая замешательство, охватившее распорядителей казни. Надежда проснулась, но ненадолго. Бунтовщиков отправили в трибунал, а взамен пригнали «познанчиков» — солдат познаньского легиона. И кудлаевский крик: «Хай живе Червона Армия и Радянська влада!» — был заглушен залпом. Познанчики били без промаха...

«Могильщикам» велели отвязать тела казненных и закопать их — по двое в каждой яме. Две другие остались пустыми. Кто же следующий? Вскоре со стороны города показалась новая группа пеших в сопровождении конного конвоя. Это были Иван Демчук, Анна Нисензон и Моисей Бернштейн.

Изяславец Ваня Демчук и его невеста, киевлянка, присланная для подпольной работы в Острог, Аня Нисензон, — оба комсомольцы. Комсомольцем был и Бернштейн.

Когда начальник шепетовского управления дефензивы Заглоба пренебрежительно спросил вожака подпольщиков, коммуниста Барского, зачем он набрал себе зеленую молодежь, тот ответил: «Это самородки!»

Служаки контрразведки не могли понять бесстрашия подсудимых. Выслушав Анину речь на суде, Заглоба сказал, что, если бы большевики знали, как она смело говорит, они непременно наградили бы ее орденом.

Но не ради орденов и славы работала в подполье Аня. Последние ее слова: «Гибну за идею!»

«Мне осталось жить пять часов», — писал своей сестре из тюрьмы Ваня Демчук. — Пусть я погибну, но не погибнет дело, за которое я боролся. Будьте спокойны: революция победит!»

Победившая революция их не забыла. В Шепетовке есть улицы Анны Нисензон и Ефима Барского, в Изяславле — улица Ивана Демчука. На месте казни героев установлен скромный мраморный обелиск с высеченными на нем именами погибших. 31 мая 1967 года пленум Шепетовского горкома ЛКСМУ принял решение: передать горсть земли с могилы павших борцов на вечное хранение Московскому государст-

венному музею Николая Островского. И это знаменательно: ведь Островский был их земляком и собратом по борьбе. После тяжелого ранения осенью 1920 года, находясь в освобожденной Шепетовке, будущий писатель приходил поклониться праху расстрелянных коммунаров. По словам его брата Дмитрия, «Николай перед могилой погибших товарищей дал слово, что будет мстить всю свою жизнь тем, кто гнусно издевался над комсомольцами, отдавшими свою жизнь за коммунизм...». И, может быть, эта и другие священные комсомольские могилы заставили Павку Корчагина задуматься о том, что жить надо так, «чтобы, умирая, смел сказать: «Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

П. Гук,

полковник запаса,
бывший комиссар 85-го гвардейского
Московского минометного полка

ГВАРДЕЙСКИЙ, МИНОМЕТНЫЙ, КОМСОМОЛЬСКИЙ...

На столе заявления. Одно, два... сто... Очень похожие: «Прошу послать на фронт. Мне восемнадцать лет. Студент. Учебу обязательно продолжу после победы.

Сухарев Михаил,
член ВЛКСМ с 1939 г.»

«Мне 17. Отец, мать, сестра — на фронте. Хочу быть с ними. Имею значок Ворошиловского стрелка...

Осипенко Кирилл,
член ВЛКСМ с 1940 г.»

Около здания горкома комсомола — толпы молодых. Многие дежурят не первый день, не первую ночь. У всех одно желание: быть зачисленным в полк. Тот, что сейчас организуется, — 85-й Московский, минометный, комсомольский.

На фронте появилось новое оружие. Оно приводит в ужас врагов. Наши бойцы ласково называют его

«катюшей». Но «катюши» требуют верных рук. Нужны специалисты.

В постановлении бюро ЦК ВЛКСМ от 13 мая 1942 года указывалось:

«Мобилизовать в гвардейские минометные части Красной Армии 8 335 комсомольцев — минометчиков, автоматчиков, истребителей танков».

Московский обком и горком комсомола стали штабом формирования комсомольского полка.

Через короткое время скомплектованный полк, разместившись в Измайлове, начал учения. Они проходили у боевых машин. Приведение орудия к бою, расчет, наводка прочно входили в сознание ребят. Учились упорно. За два месяца надо было все освоить. И, что не менее важно, за это время ребята узнавали друг друга, становились друзьями. А чувство локтя на войне — великое чувство.

Часто в полку проводились собрания и беседы. Каждый рассказывал о себе. Люди здесь собрались разные по возрасту, образованию, национальности. Было интересно. Эти беседы помогли выявить комсомольский актив, агитаторов, чтецов.

Шел сентябрь 42-го года. Бесконечно лили тошнеливые дожди. Над затемненной Москвой по ночам кружили вражеские самолеты. С фронта поступали тревожные вести.

Ребята рвались на фронт...

8 сентября командира и комиссара полка вызвали к командующему минометными частями за получением боевого приказа. Полк должен отбыть на Воронежский фронт в распоряжение 38-й армии.

Перед выступлением произошло событие, надолго запомнившееся бойцам. Полку вручили красное знамя. Торжественная и суровая минута. Преклонив колени, каждый повторял за командиром клятву: «Именем матери-Родины клянемся отстоять свободу, не пожалеть жизни в борьбе с врагом...» Полковые поэты посвятали этому событию стихи...

Продолав труднейший марш-бросок, комсомольский полк прибыл в расположение армии. Времени для отдыха не было. Утром — бой. Подвозили боеприпасы. Оборудовали огневые позиции... Все делали четко, организованно. На лицах — с трудом сдерживаемое волнение. Политработники были вместе с ребятами, подбадривали. Тоже волновались. Ведь раньше такие части формировались из коммунистов, бывалых солдат. А тут мальчишки 17—18 лет.

Начало светать. Над рекой, где проходил передний край, клубился туман. Мирно клонились к воде ивы.

Полк в боевой готовности. Все замерло. Кто-то шепчет: «Какое название поэтическое у речки — Нега». И замолкает: из-за поворота по реке плывут трупы бойцов, расстрелянных немцами.

Тут же слышится команда: «К бою!» И долгожданное: «По фашистским захватчикам — огонь, огонь!»

Активность «катюш» потрясла гитлеровцев. У них началась паника. Воспользовавшись этим, танки и пехота сломали оборону противника. Заняли деревни Ольховатку, Липовку. Но враг был еще очень силен. В течение дня Ольховатка и Липовка переходили из рук в руки. Немцы во что бы то ни стало хотели засечь расположение «катюш», но войны-комсомольцы ловко маневрировали.

Этот бой — первый бой нового полка московских комсомольцев — длился без перерыва пять дней. За это время гвардейцы истребили более двух тысяч фашистов, нанесли большой урон вражеской технике. Боевое крещение состоялось. Потом были еще бои. И еще... Брали безымянные высоты. Форсировали Дон. В составе войск Юго-Западного фронта освобождали Калач. Штурмовали позиции немцев под Сталинградом.

В Калаче впервые в жизни увидели концлагерь для русских пленных. Изможденные, худые, как скелеты, люди протягивали руки: «Хлебца кусочек...»

К этому времени мальчишек трудно было узнать. На войне быстро взрослеют.

Побеждали. Побеждали не только потому, что были у них грозные «катюши». Главным было великое чувство любви к Родине, чувство ненависти к врагу.

Москвичи не забывали комсомольский полк. Они взяли шефство над ним. Присылали посылки с шерстяными носками, книгами. Приезжала даже делегация от горкома комсомола. И письма. Их было много, теплых, сердечных... Они рассказывали, как живет и трудится тыл: все для фронта, все для победы!

Вот два из тысяч таких писем:

«Дорогие друзья! Комсомольцы и молодежь Коминтерновского района столицы следят за вашими боевыми успехами. Мы гордимся вами, берем пример. У нас есть бригады, называемые фронтовыми. Производственные нормы там — 300—400%...»

Секретарь РК Долинская».

«Мы, ученики 8-го класса, добровольно изучаем военное дело. Организовали кружки самозащиты. Дежуриим в госпитале.

Обещаем хорошо учиться, а вы беспощадно уничтожайте фашистов.

Неля Кленбажова,

Валя Сигорова и др.».

И ребята делали для победы все. Им довелось участвовать в великой битве на Волге.

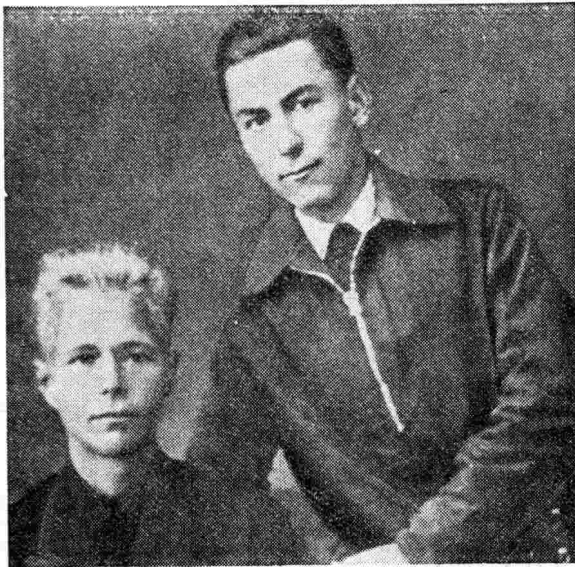
23 февраля 1943 года полк был в Москве. Столица радостно встречала гвардейцев-минометчиков — героев Сталинграда.

А потом снова были фронты — Брянский, 1-й и 2-й Прибалтийский, Дальневосточный. И так до сорок пятого. До Победы.

С. Мотуз

**— Я, БОРИС ГЛAVАН,
ВСТУПАЯ В РЯДЫ
«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»...**

Собирая материалы о молодогвардейце Борисе Главане, я побывал у матери героя — Зинаиды Трофимовны. Она сообщила, что Борис родился 24 декабря 1920 года в Бессарабии, в селе Царьград. С радостью встретил в сороковом году Борис воинов Красной Армии, которые освобождали Бессарабию от власти румынских бояр. В тот же год осенью поступил он в педучилище.



На фото: молодогвардейцы Борис Главан (справа) и Анатолий Попов. Сентябрь 1942 г. Краснодар.

Но не суждено было ему учить детей. Началась война. Борис взял в руки винтовку и ушел на фронт. На фронте вступил в комсомол.

Летом 1942 года часть, в которой служил Борис, попала в окружение. Выходя вместе с другими бойцами из окружения, он пробрался в Краснодар, где встретился с родителями.

Как Борис вступил в «Молодую гвардию»? По совету с ним жил комсомолец Анатолий Попов. Они познакомились. Единство взглядов сдружило их. Анатолий свел Бориса с Ульяной Громовой. И вскоре на квартире Виктора Третьякевича Борис давал клятву: «Я, Борис Главан, вступая в ряды «Молодой гвардии»...».

Привожу записанные мною воспоминания члена штаба «Молодая гвардия» Василия Левашова:

«В оккупированный Краснодар я вернулся 4 сентября 1942 года. На следующий день в парке встретил своих товарищей по школе — Ивана Земнухова и Георгия Арутюнянца. Здесь же они познакомили меня с Борисом Главаном. Борис был одет в спортивную куртку, белую рубашку с галстуком. Производил впечатление опрятного и аккуратного человека. Он охотно разговаривал, но вел себя несколько настороженно.

Мы встречались еще несколько раз и постепенно пришли к единому пониманию обстановки в оккупированном Краснодоне и к взаимному доверию. Тогда мы конкретно заговорили о создании подпольной комсомольской организации. Борис Главан принимал активное участие во всех совещаниях, которые предшествовали созданию подполья. Мы еще не знали тогда, что у Бориса были спрятаны два ручных пулемета советского образца.

С приходом Виктора Третьякевича наша работа оживилась. Виктор предложил начать создание подполья с образования штаба. В дни, когда формировался штаб, Борис не появлялся. Его исчезновение было для нас загадкой. Как позже выяснилось, Борис был связан с группой комсомольцев-подпольщиков поселка Первомайка. Группу создали Ульяна Громова и Анатолий Попов. А исчезновение Бориса объ-

яснялось просто: он уходил за пулеметами. Они были спрятаны не в Краснодоне. Это через Бориса Иван Земнухов установил связь с Первомайской группой. Когда мы в конце ноября устроили засаду в семи километрах от города Краснодона и уничтожили автомашину с фашистами, Борис Главан принимал в этом участие, вел огонь из ручного пулемета».

Что еще удалось узнать мне о Борисе Главане?

В дни оккупации Борис познакомился с Катей Хайруллиной — дочерью одного из тридцати двух заживо закопанных шахтеров. Он полюбил эту простую и милую девушку. Когда организации понадобился радиоприемник, Катя сумела найти его и передать Борису. Отремонтировав приемник, молодогвардейцы постоянно ловили Москву.

Главан принимал активное участие в освобождении военнопленных, в нападении на автоколонны. Был незаменим и как переводчик с румынского.

Борис был арестован одним из первых и подвергся нечеловеческим пыткам. Сидя в камере с секретарем подпольного райкома партии Ф. П. Лютиковым, он учился у этого коммуниста мужеству и стойкости. 15 января 1943 года Борис Главан был живым сброшен в шурф шахты № 5...

Вместе с Василием Левашовым я побывал в Рышкановском районе Молдавии, в селе, где родился отважный молодогвардеец. Теперь это село носит имя Бориса Главана. В домике, где родился Борис, односельчане создали музей.

А Зинаида Трофимовна живет в Кишиневе. Она рассказала:

— Вы знаете, когда Александр Александрович Фадеев опубликовал первое издание своего романа «Молодая гвардия», он изменил фамилию. Вместо «Главан» написал «Гловань» — «цыганенок из Тирасполя». Я написала Фадееву, и он вскоре мне ответил. Вот это письмо:

«20 ноября 1948 г.

Уважаемая Зинаида Трофимовна!

Вы совершенно правы в обоих своих предположениях: с одной стороны, я действительно не имел достаточных данных о Борисе Главане, с другой стороны, я считал возможным вносить известные элементы вымысла, поскольку я писал не подлинную историю «Молодой гвардии», а роман.

Думаю, что мной правильно передан самый дух борьбы молодогвардейцев против немецко-фашистских захватчиков и что образ Бориса Главана — такой, каким он у меня получился, — вызывает симпатию и любовь читателя. Я понимаю, что родительскому сердцу, может быть, и трудно примириться с тем, что сын получился не таков, каким был в жизни.

Но что же делать нам, писателям, если для выражения идеи произведения, а также в интересах его занимательности мы должны по-своему комбинировать события и вносить необходимое разнообразие в обрисовку характеров героев, то есть прибегать к художественному вымыслу.

Думаю, что интересы воспитания молодежи могут служить для нас оправданием в этом деле.

С уважением к Вам А. Фадеев».

В новом варианте романа Фадеев, как известно, уточнил образ Бориса Главана.

В прошлом году ЦК комсомола Молдавии учредил премию имени Бориса Главана в области литературы и искусства. Премия будет присуждаться 29 октября, в день рождения Ленинского комсомола.



Р. Рома

ТОГДА, В СОРОК ТРЕТЬЕМ

*Из записок
актрисы*

Рисунки М. Лисогорского.

I

Крым был сдан. Флот базировался в небольших портах Черноморского побережья Кавказа. Моряки смеялись редко.

Наш театр уже около месяца играл на кораблях, на базах подплава, на береговых батареях, в госпиталях и для 18-й армии, пришедшей через горы на помощь морякам. Это был передовой рубеж обороны Кавказа. В Новороссийске стояли немцы.

Тяжелая береговая батарея, где мы жили в подземных блиндажах вместе с моряками, находилась в поселке Фальшивый Геленджик, в двенадцати километрах от Новороссийска. Возвращаясь ночью в блиндаж, моряки снимали обувь, чтобы нас не будить. Мы поступали так же после дальних поздних концертов.

Много интересного можно рассказать об этом грозном времени. Я расскажу одну историю, похожую на выдумку, но это правда, это действительно было.

Однажды артиста Аркадия Райкина вызвал к себе адмирал Холостяков.

— У меня к вам есть просьба, — сказал он, — именно просьба, потому что приказать вам я не могу, вы не военный, а это, по существу, боевое задание, связанное с опасностью для жизни. Откажетесь — не упрекну, ваше право. Выполните — сделаете нужное дело. Будем вам благодарны.

— Я слушаю вас, товарищ адмирал, — сказал Райкин.

— Необходимо обслужить две батареи тяжелой артиллерии, расположенные под Новороссийском. Люди на батареях — герои. Отлучиться не имеют возможности. Приглашают вас в гости. Попробуйте их рассмешить. Ехать к ним придется ночью. Дорога



Аркадий Райкин (справа) на фронте. 1943 год.

простреливается. Людей с собой можно взять самых необходимых — человек пять, не больше.

— Поедем, товарищ адмирал, — сказал Райкин.

— Спасибо, — ответил адмирал.

Когда артисты узнали о задании адмирала, начался бунт. Все захотели ехать. В споре прошла половина ночи. Выехали на нашем желто-голубом автобусе в двенадцать часов дня, при ярком солнце.

Оба концерта прошли хорошо. Райкин был в ударе, и моряки хохотали всюду. Потом в блиндаже зазвучал хриплый детский голосок — это была Рина Зеленая. После нее начали танцевать Мирзоянц и Резцов. Наш пианист, о котором речь будет ниже, играл на аккордеоне. Вдруг раздался противный вой, и глухой взрыв потряс воздух. Обстрел! Каждый раз, когда был пролетающий снаряд, аккордеон, растянутый судорожным движением, испускал резкий, истерический вопль. Никто не обвинял музыканта. У всех были напряженные лица и сосредоточенные глаза. А танцоры продолжали плясать с застывшими улыбками, сами подпевая себе негромкими прерывистыми голосами. Когда танец кончился, командир сказал:

— Артисты, в машину! Быстро. Спасибо, братцы! Уезжайте, сейчас мы им ответим, заткнем глотки.

Мы уехали, благополучно проскочили опасные места.

На следующий день пианист подошел ко мне.

— Хочу с тобой поговорить, — сказал он.

Это был прекрасный аккомпаниатор, образованный музыкант и композитор. Специально для того, чтобы поехать с театром, он научился играть на аккордеоне: во фронтовых условиях это было необходимо. К сожалению, он любил выпить; долго, неделями крепился, а потом вдруг страшно напивался, но никогда не срывал концерта, потому что обладал странным свойством, повергавшим нас в величайшее изумление: стоило ему сесть за рояль, иногда даже с чужой помощью, как пальцы его снова приобретали гибкость и железную твердость. Он играл, будто ничего не случилось. Музыка привязывала его к роялю неразрывными, невидимыми нитями. Как только кончался концерт, он валился со стула. Его уносили спать. Добавлю еще, что человек этот никогда не опаздывал, был хорошим товарищем и мы его любили.

— Пойдем, — сказал он мне, и мы пошли к морю через кусты держи-дерева. Был утомительный солнечный день. В траве, в кустах что-то трещало, пошвыстывало, хрустело. Далеко внизу, под обрывом, волны по-кошачьи играли с прибрежной галькой.

Пианист молчал. Лицо его, обычно добродушное и улыбающееся, было серьезным, нахмуренным, а в глубине маленьких, заплывших глаз я заметила какое-то смущение и уклончивость.

— Вот что, — начал он. — Разговор серьезный, без шуток. Я уже пытался говорить с Аркадием, он меня не слушает и смеется. — Помолчав немного, он спросил: — Скажи, тебе очень хочется, чтобы он стал калекой?

— Я не понимаю вопроса.

— А ты думаешь, что этого не может случиться? Почему мы здесь столько времени? Зачем испытываем судьбу? Мы не солдаты. Ты должна его уговорить, чтобы мы отсюда уехали, поняла? Ну пойми, кому он будет нужен, если останется без руки или без ноги? А если погибнет? У тебя ребенок.

— Не пугай меня.

— Уговори его, чтобы мы отсюда уехали. Хватит. Я, например, вообще невоеннообязанный.

— Ну и уезжай!

— Как я уеду? Не могу же я вас подвести.

— Вот видишь? Раз не можешь, не надо об этом и думать. Вместе приехали, вместе и уедем.

— Зря я с тобой говорил. И с ним зря.

Он стал смотреть на море. Там вертелись и кувыр-кались дельфины.

— Послушай, — сказала я ему, — ты очень хороший и смелый человек. Что это на тебя нашло после вчерашнего концерта? Мне тоже было очень страшно. Всем было страшно. Но подумай, кем был бы Арка-

дий, если бы он вдруг пришел к командующему и сказал: «Здесь очень страшно, здесь стреляют, опустите меня лучше в Москву...»? Что ты мне советуешь? Ты же специально учился играть на аккордеоне, чтобы ехать с нами на фронт! А почему ты вчера больше всех кричал, что хочешь ехать на батарею?

— Ну, ладно, — сказал пианист. — Считай, что этого разговора не было.

Он вытащил из кармана большой холостяцкий носовой платок. Посыпались крошки, бумажки, огрызок карандаша. Нагнулся за карандашом, уронил очки. Потом стал шарить в траве, пытаясь их найти. Когда мы с ним вместе искали очки — без них он таращил глаза и плохо видел, — я вдруг вспомнила одну иранскую сказку.

— Однажды к иранскому шаху, — начала я, — прибежал первый визирь и сказал: — Разрешите мне взять твоего лучшего коня, мне срочно нужно бежать из Тегерана в Мешхед. — Что случилось? — спросил шах. — Я вышел в сад и увидел на скамейке Смерть. Она сердито на меня посмотрела. Скажи, — ответил шах, и визирь ускакал в Мешхед. А шах пошел в сад взглянуть, правда ли, что там сидит Смерть. Она действительно сидела на скамье под деревом, даже улыбалась и смотрела на шаха. — Скажи мне, Смерть, — спросил шах, — почему ты, глядя на меня, улыбаешься, а на моего визиря смотрела сердито? — А как же я могу смотреть на твоего визиря, — ответила Смерть, — если он у меня по спискам числится в Мешхеде, а сам все время в Тегеране вертится?

Тут как раз блеснули очки. Они повисли на толстом сучке держи-дерева. Музыкант надел их, посмотрел на меня искоса сквозь толстые стекла, потом завязал на платке четыре узла по углам и натянул его на голову.

— Жарко, боюсь, голову напечет.

Навстречу нам шел Аркадий.

— Где вы были? — спросил он. — Я искал вас.

— У моря. Сказки рассказывали, — ответил пианист.

Больше об этом разговоре мы не вспоминали. Через месяц нас вызвали в Москву. Пианист был москвичом и с волнением ожидал возвращения в город, где у него в комнате стоял, как он говорил, «родной рояль».

Вечером на следующий день после приезда в Москву мы все собрались на премьеру в Эрмитаже. Пианиста не было. Никто не волновался, все знали его аккуратность, что он точен и будет с минуты на минуту. Но когда к третьему звонку он не появился, начали волноваться. Пришлось задержать спектакль и вызвать другого пианиста. Мы забеспокоились, не случилось ли несчастье. Оно случилось. На следующий день мы узнали, что наш товарищ в первый же вечер в Москве попал под трамвай и погиб.

2

Был такой странный период нашего пребывания на фронте, когда мы все время опаздывали к своей смерти. Это звучит непонятно и требует разъяснения.

Дело в том, что нас всегда очень ждали в частях армии и флота, поэтому было составлено четкое расписание наших переездов и спектаклей. Но однажды, когда мы спешили в тот же самый Фальшивый Геленджик, где должны были остановиться в



специально приготовленном здании небольшого санатория, нас на Михайловском перевале задержала пурга.

Мокрые хлопья снега шмякались об автобус. Мы поминутно вылезали, чтобы толкать его то туда, то сюда. Колеса, плавая в месиве, буксовали, мотор нутно выл, шофер тихо и разнообразно матерился. Наконец он заглушил мотор и сказал:

— Все... Не поеду... Нельзя.

Сопровождавший нас молодой морской офицер требовал, чтобы шофер сел за баранку, но тот упорно отказывался.

— Без цепей нельзя, — говорил он спокойно, хотя офицер настаивал, кричал, даже делал вид, что берется за оружие.

— Ну что вы грозитесь? — лениво сердился шофер. — Без цепей вниз ехать нельзя: спуск крутой. Поедем на стоячих колесах. Я же всем артистам шеи поворачиваю.

— Мы должны быть в двадцать один ноль-ноль там. Кровь из носу!

— Будем. Не спешите. В ноль-ноль. А крови из носу — этого я не допущу. И кверху колесами ездить я не привык.

— Вы слышите? — вмешался Аркадий. — Василий Иванович не привык ездить кверху колесами. По правде сказать, я тоже. Это все-таки аргумент.

— Но там для всего театра ужин приготовлен. Начальник приказал прибыть вовремя. Ужин же остывает, — горевал провожающий.

— Главное, чтобы было, кому есть ужин. Переждем до утра погоду. Можно и утром поужинать.

Рассвело сразу, как всегда на юге. Яркое солнце быстро растопило снег, и автобус осторожно, как бы нюхая крутую влажную дорогу, стал спускаться на ту сторону Михайловского перевала.

Оказалось, что, пока мы стояли на горе, ночью был налет на Геленджик и дом, приготовленный для нашего ночлега, начисто снесло вражеской бомбой.

Из-за этого опоздания все наше расписание передвинулось, и мы также «опоздали» к выступлению на передовой — в Кабардинке, где днем снаряд попал в эстраду, на которой мы должны были в это время играть спектакль.

В тот день, о котором я хочу рассказать, мы выступали на Черноморской базе подплава.

Спектакль шел вяло. Райкин, как всегда, играл в полную силу, но подводники сидели тихо, мало смеялись, были молчаливы и подавлены. Мы искали причину такой непривычной реакции, считали, что,

очевидно, играем хуже, стали «нажимать», на ходу перестраивать программу. Ничего не помогало. К концу спектакля в зале возник какой-то шумок, движение, кто-то вышел из задних рядов, потом, пригнувшись, начали выходить и из передних.

Огорченные, мы закончили спектакль, не понимая, в чем дело.

Внезапно за кулисы вбежал молодой матрос. Лицо его сияло.

— Ребята! — закричал он нам с порога. — Лодка вернулась! А мы их уже было похоронили, можно сказать, оплакали. Четверо суток ни слуху, ни духу. А они вернулись! Живые! Целые!

Мы, не разгормившись, как были, выбежали к морю. Там моряки молча обнимали, передавая из рук в руки своих вернувшихся товарищей. Одного быстро пронесли на носилках.

Мы были потрясены этим зрелищем и стояли кучкой, еле сдерживая слезы.

Начальник базы подплава, крупный, полный человек, фамилия его была, по-моему, Гус, подошел к нам.

— Товарищи, — сказал он, — вот у нас какая радость! Под водой чинили лодку, на последнем дыхании. Ну, это ж молодцы! Потопили два вражеских транспорта, а потом и их зацепило глубинной бомбой. К вам, товарищ Райкин, и ко всем вам просьба, товарищи: сыграйте им снова. Для них. Сейчас они побреются, чаю выпьют, а? Хотят посмотреть. Да и мы все еще раз посмотрим. Ведь, по правде сказать, нам глаза застило. Не до того было.

Мы побежали за кулисы, чтобы снова начать спектакль.



Зал быстро заполнился, и все стали терпеливо ждать прихода товарищей. Они вошли один за другим, смущенные и улыбающиеся.

— Ура-а-а! — стоя кричала наша публика. И мы кричали тоже.

Что это был за спектакль! Что за радость была играть его!

В первом ряду сидела команда вернувшейся подлодки. Изжелта-бледные матросы хохотали, и с ними хохотал, качаясь, весь зал.

А Райкин вспоминал все новые и новые свои сценки, монологи, песенки, стараясь развеселить людей, которые победили смерть.



**Евгений
Храмов**



В лесу

Чуть-чуть у берега помешкав,
на реку глянув с высоты,
зеленой редкой перебежкой
по полю движутся кусты.

И, двигаясь за ними следом,
косым лучам наперерез,
как бы знакомиться с соседом
мы входим в пригородный лес.

Да! Вспомнишь вдруг о человеке,
и лес становится ясней:
он, словно бы хозяин некий,
к гостям выходит из сеней.

Но не отыщешь в нем, по счастью,
знакомой ни одной черты —
ни равнодушного участия,
ни бесполезной суеты.

Он сам живет, он нас не слышит,
его вершины далеко,
не для того листвою он дышит,
чтоб нам дышалось бы легко.

Ковер лиловый иван-чая,
и щелк, и посвист соловья
он нам дарил, не замечая,
не приглашая, не зовя.

И, шум соединяя с шумом,
соприкасая лист с листом,
он не мешал ни нашим думам,
ни разговорам о пустом.



Средь недель, друг на друга похожих,
вдруг увидишь в одну из недель:
сколько прелести в лицах прохожих,
не увиденных раньше людей!
В этих людях, под землю спешащих,
выплывающих из-под земли...
Сколько солнечных бликов дрожащих
им на смутные лица легли!

О прекрасные облики встречаемых
на бульварах и площадях,
на трамвайных стоянках конечных,
в бесконечных очередях!
Как разлука и воспоминанье,
как надежда, печаль и любовь,
удивит тебя это сиянье
на лице человеческом лицом.
И под платом старушечьим черным
не желает погаснуть оно —
так и в доме, на слом обреченном,
не желает погаснуть окно.
Заграждая плотиною реку,
торопясь со знакомой в кино,
человек, приглядишься к человеку —
вот что надобно прежде всего.



Я это в памяти берегу —
дождь и женщина на берегу.
Туфельки в лаке
И ногти в лаке,
длинный, какой-то усталый взгляд.
Белые, как хорошие лайки,
волны к ее ногам летят.

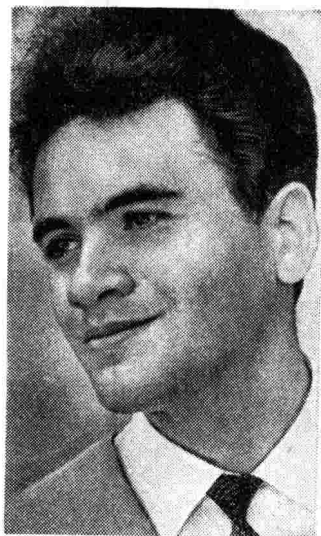
С ходу я оставляю лодку,
кричу: «Себя-то побереги!»
Стаскиваю ненужно, неловко
мои мушкетерские сапоги.
Оглохнув почти в этом громе, гуле,
стараюсь в глаза ее посмотреть,
детским,
забытым именем «Гуля»
в ладоши дышу, чтоб отогреть.

А она
удивленно бровями поводит,
и тонкие пальцы сминает дрожь,
и в дождь от меня уходит, уходит,
и сама
превращается
в дождь.



Целую твои тоненькие руки,
Гляжу в твое хорошее лицо,
Но вот напомниманьем о разлуке
Под сапогами скрипнуло крыльцо.
Встал давний мой приятель у порога.
Он ждет меня, ушанку теребя,
А за его спиной дымит дорога.
Она необходимее тебя.
Она меня возьмет и забормочет:
«Вперед, вперед, пока ты на ногах...»
Она мне столько, столько напроорочит
О звездах, о цветах и о снегах!
И сосны будут падать вверх тормашками,
И брать мы будем перевал крутой,
И пахнуть будет воротник рубашки
Твоих ладоней сладкой теплотой.
Любимая! Все кончилось сегодня.
Погасли звезды, тлеют фонари,
Не жди моей открытки новгородней
И ничего сейчас не говори.
Не говори, что навсегда запомнишь,
И писем мне писать не обещаешь...
Так холодно здесь!
Уходи: замерзнешь.
Войны не будет — встретимся.
Прощай.

Александр Кушнер



Баллада

«На кровле ворон печально прокричал...»

В. А. ЖУКОВСКИЙ

На кровле ворон дико прокричал.
Но нет, его никто не замечал.
Все думали, что это просто так.
А это был, конечно, тайный знак.
И черный конь недаром в этот миг
В конце пустынной улицы возник.
Он землю рыл, копытами стучал.
Но и его никто не замечал.
Поэтому в ту ночь не умерла
Старуха та, что дачу стерегла.
Поэтому дворовый пес не выл.
Поэтому обычный вечер был.
О боже мой, как было хорошо!
В домах свежо, на улице свежо.
Вечерний свет струился там и здесь,
И дачный лес просматривался весь.
Он так сиял, что не было ствола,
Где птица в страхе спрятаться б могла,
Он так блестел, что не было куста,
Где б тень нашлась от клюва до хвоста.
Он так пылал, как склянка на окне,
Жуки в его сверкали глубине,
И каждый ствол горел среди других,
И тайн не оставалось никаких.
Бедняга ворон, чтоб не околеть,
Был должен с кровли в сторону смотреть,
И черный конь, чтоб вдруг не запылать,
Был должен левый глаз не открывать.
Печаль должна была сойти на нет.
И боком должен был стоять поэт,
И с грустью гладить черное седло,
И радоваться — было так светло.

☆

Я был в тот вечер вкрадчивою тенью,
Велосипед мой шел по вдохновенью,
Как умный конь послушен провиденью,
Когда забудет всадник про коня.
Крутились сами легкие педали,
Жуки над ухом с воем пролетали,
Но головы моей не задевали,
Как будто вовсе не было меня.
Я ехал так, как едут наудачу,
Решая в сердце старую задачу,
Что так сейчас примерно обозначу:
С кем по ночам так тихо говорю!
Кого ищу за блещущей мглой!
Иль говорю в тоске с самим собою,
И сам себя прошу и беспокою,
И сам себя в слезах благодарю!
Вдруг спохватился я и оглянулся,
Как будто спал и только что проснулся,
Как будто слуха моего коснулся
Зов хорошо упрятанной трубы:
В огромных дуплах, скрючены, раскосы,
Приняв кривые старческие позы,
Стояли в ряд могучие березы,
Все в два обхвата, дружно, как дубы.
В кровоподтеках, трещинах, увечьях,
В болячках старых, шрамах человеческих,
Почти ложась с обочины на встречных
Тяжелым грузом страшной красоты.
И если это дела не меняет,
Что ж душу жжет и слезы навевает,
О, что нас так в тоске переполняет
Среди обнявшей землю темноты!

☆

Средь солнца, ветра и дождя,
О мокром платье не тревожась,
В прогулках летних доходя
До Академии художеств,
Мы вспомнить многое могли б,
Хоть живописцев русских в Риме!
До нас дошел дагерротип:
Они в плащах, и Гоголь с ними.
Им были портки нужны,
Везувий, мрамор, храм Киприды.
Руины их обожжены
И дикой зеленью увиты.
А плащ лоснился, взор сверкал,
И полагалось кудрям виться.
И так высок был идеал,
Что как же было им не спиться!
Не потому ли мы с тобой
Имен не вспомним, лишь бородаки!
Мне представляется с тоской
Как бы провал — их век короткий.
Великолепная Нева —
И та их взоры не прельстила.
Ни сада Летнего, ни льва
Их кисть в пылу не начертила.
Не потому ли мы с тобой
Картин не вспомним, лишь гравюры!
И невский отблеск голубой,
И яркий шпиль, и запад хмурый
Ложатся на сердце как есть,
Не подменяют их полотна,
И тают, стоит взор отвести,
Как соль в воде, бесповоротно.



М. Биянова

МЫ— ВИЛЮЙГЭС

С Францем поругались окончательно. Мы требовали, чтобы он созвал совет кафе. Франц упирался: мол, сейчас не до этого. (Мы — это члены совета молодежного кафе «Подснежник», Франц — наш председатель.) Тогда мы собрались сами и любезно пригласили его на заседание. Он не явился. Это было более чем обидно.

Конечно, работали сейчас на стройке бешено: гидростанция в будущем году должна дать ток. Для этого надо было во что бы то ни стало последнее перекрытие Вилюя закончить к концу этого года, а работы еще, казалось, невпроворот. Но разве раньше было легче? Всегда поджимает какое-нибудь «во что бы то ни стало», — не до кафе, мол.

Когда «началось» кафе, в апреле, тоже надо было во что бы то ни стало успеть то-то и то-то до начала паводка, который в последний раз пройдет через створ плотины будущей Вилюйской ГЭС. А теперь, когда молодежь уже привыкла два раза в месяц ждать наших вечеров, мы просто не имеем права вдруг «перестать хотеть» работать в «Подснежнике». Именно теперь. Нет, мы стоим на своем. И настаивали.

Толпа молодежи медленно растекается от кафе по улицам поселка. Кажется, вечер прошел неплохо. Многие из нашего поселка Чернышевский побывали за границей, еще больше собиралось побывать. Поэтому билеты, нарисованные Вовкой Лазутиным и отпечатанные на синьке (парень явно чернышевского вида в меховом костюме неуклюже топает по глобусу, печатая на нем толстые следы от унтов), буквально выдирали из рук комсомольских секретарей. «Мир глазами чернышевцев» — так назывался этот вечер. Рассказы, стихи Элюара, Марти, Хайяма и других поэтов стран, о которых шла речь, остроумные любительские фильмы. И музыка, под которую танцевали, тоже из этих же стран: молодежный оркестр постарался.

Впереди меня парень в солдатской ушанке ведет под руку девушку в модных сапожках на высоком каблучке. Вдруг каблучок попал в выбоину в бетоне, девушка слегка покачнулась, и парень, поддерживая ее, не очень ласково помянул строителей. Мне вдруг стало смешно. Ну-ну, давай крой их, таких-сяких!

Понятное дело, не должно быть даже маленькой выбоины в таком отличном поселке. Кругом новые двухэтажные дома, обшитые деревянной вагонкой, то есть специальными облицовочными планками, сверкающие разноцветной масляной краской. В каждой квартире можно, по Маяковскому, петь оду белоснежной ванне и всем прочим удобствам. Даже традиционных помоек в поселке нет: два раза в день в строго определенное время к каждому дому подъезжает самосвал — и, пожалуйста, будьте любезны ваше помойное ведро! И нет тебе, недавно демобилизованному, дела до того, что еще три-четыре года назад, на третьем году существования поселка, такими страусами пробирались мы по краю вязкого месива, называемого дорогой, на каждом метре гадая, зальется ледяная каша тебе в сапог или нет. Проклятая мерзлота (а под нами еще 300 метров в глубину) ни за что не хотела принимать оттаявшую влагу. Когда же все это засыхало, жители едва не ломали ноги, спотыкаясь на каждом шагу в окутанном пылью поселке. Тогда стройка еще только набирала силу. Жилья было мало. Рабочих и механизмов не хватало. Было не до благоустройства. Правда, уже построили первую базу на Лене, город Ленск, город Мирный и — о белоснежное чудо! — обшитую алюминиевыми панелями обогатительную алмазную фабрику № 3 («айсберг тайги» — с чьей-то легкой руки называют ее журналисты). Поэтому, естественно, до поселка руки дошли не сразу.

Помню совместное заседание руководства строительства и специально приехавшей из Мирного комиссии. К тому времени в опытным порядке бетонировали одну из улиц поселка — Почтовую. Почему именно ее? Здесь живет много народа, здесь расположен единственный в ту пору магазин «всех товаров», почта. Комиссия как раз и приехала по поводу «самовольного» бетонирования.

— Это — преступное разбазаривание народных средств, — возмущались члены комиссии. — Мирный — город с двадцатью тысячами населения, и то мы считаем, что не можем себе такого позволить. А вы? Что вы тут городите для своих двенадцати тысяч? Народу нужна дешевая энергия для алмазов, а не бетонные дорожки!

В общем, «мы у себя в Мирном всяких там кана-

лизаций-водопроводов не делаем, дорог не мостим, так как вы смеете?» — это был главный довод.

В свою очередь, начальник и главный инженер Виллюгэсстрой доказывали, что, если принять во внимание ремонт, простои и быстрый износ машин (а потому и огромный штат ремонтников автобазы), окажется, что дешевле забетонировать дороги, чем пользоваться ими в таком виде. Комиссия, однако, не желала принять наши доводы. Тогда встала маленькая белокурая женщина, начальник планового отдела Виллюгэсстроя, и с покорившей всех непосредственностью сказала:

— Ну хорошо, можно ведь подойти к делу чисто по-человечески. Вот мы строители. У меня, например, вся молодость прошла на стройках. Жили трудно, неблагоустроенно. Нас не нужно было убеждать, что иначе нельзя. Но теперь изменилось многое. Теперь, если хотите, благоустроенный поселок входит в понятие «культура строительного производства». Разве мало молодежи уезжает от нас, не смотря на хорошие заработки, как раз из-за того, что надоело жить среди грязи, помоек, без элементарных удобств? Ведь хочется, придя домой после такой трудной работы, помыться, не экономя воды, красиво одеться, сходиться в клуб, в кино, в кафе. И почему не могут девушки пройти по поселку в красивых туфлях на каблучках? Честное слово, все это тоже нужно народу вместе с дешевой электроэнергией для алмазов...

Сегодня у нас есть все, о чем говорила эта белокурая женщина. А тогда, хотя наше начальство и схлопотало себе по выговору, все равно бетонировать поселок не прекратили. Больше того, возле Дома культуры, на северном склоне Кукушки, соорудили большую смотровую площадку. С нее далеко внизу видна вся стройка. Особенно красиво вечером. Как снимок из «Огонька» — фермы кранов, кружевные каркасы больших промышленных зданий, сложные переплетения проводов. Все это выглядит празднично и величаво в свете прожекторов и таинственных вспышек электросварки.

Все началось с Генки Зверькова. У него вьющиеся русые волосы, большие голубые глаза, симпатичная жена и первый разряд по слалому. А вообще-то он геодезист. В позапрошлом году он в одиночку прорубил небольшую лыжную трассу за Зеленым логом. Гора была не очень большая, не очень крутая, с крохотным трамплинчиком. Собрал мальчишек-мелкоту: «Пошли учиться на лыжах!» За мальчишками потянулись и те, кто постарше. На следующий год уже все вместе вырубали новую трассу, побольше. И гора — ого! И крутая — будь здоров! Ну, и трамплинчик посередине, конечно. Рядом построили забавную избушку на курьих ножках с березовыми поленьями-ступеньками. Точно такую мы потом видели в журнале «Современная архитектура Франции» (наша техбиблиотека получает). Называется у нас этот горный домик «шале а ля хижина». В нашей «хижине» — печка, длинный стол из досок, по стенам нары. Обязательный запас — сахар, чай, печенье, консервы. Кружки, ведра, топоры, лыжи, ботинки. Дверь открыта любому. Заходи, пользуйся всем, что есть.

Порядок Генка завел такой: пришел — наруби дров или принеси снега для чая. Помни, что после тебя придут еще ребята. А уходишь — так чтоб все было чисто.

Конечно, все мы липли к горке, как мухи к меду. Ходили в синяках и ссадинах, но упорно лезли вверх. Горных лыж на всех не хватало. Установили очередь.

«Безлыжные» летели с горы на всем, что хоть как-нибудь скользило. В середине апреля, когда растаял снег, устроили торжественное прощание с горкой. Сразу стало как-то пусто. И тут опять вылез Генка. В наступившем грустном молчании он произнес:

— А мы с Колей Мартенсом делаем водные лыжи.

Лодки строили многие, были моторы, была даже яхта с алыми парусами — это все понятно: рыбалка на Виллюе и в притоках отменная. Охота по берегам в тайге — тоже. Но водные лыжи!.. Выяснилось, что кататься на них умеет только Генка; кто-то видел, как катаются другие, большинство же — только в кино. И все же это оказалось так заманчиво, что летом, пренебрегая зазывными гудками автобусов и грузовиков, отвозящих строителей после работы в тайгу — по грибы и ягоды, — мы лезли на плоты, делая попытку за попыткой «покорить» водные лыжи.

В Чернышевский из Мирного можно прилететь на «Антошке» — так по-дружески называют у нас «АН-2» — и увидеть сверху голубые крючки и загогулины, которые своеобразно выписывает Виллюй. Но лучше (поверьте мне) поехать рейсовым автобусом или попутной машиной — там всего-то сто километров. Дорога теперь отличная. Не то, что раньше, когда каждый год заново прокладывали зимник, а летом все расплывалось.

За последним поворотом, как по волшебству, распахнется перед вами панорама всей стройки. Не топоритесь сворачивать налево, в поселок, что яркой подковой обогнул распадок, отделивший Кукушку от соседней Медвежьей высотки. Езжайте прямо к плотине. Ручаюсь, почти обо всем, что вы увидите, можно сказать: «впервые в мире». Впервые в мире гидротехническое строительство ведется круглый год в таких суровых условиях. (У канадцев, например, на севере зимой стройку закрывают.) Впервые в мире на Виллюе нашли способ укладывать суглинок в экран плотины при минус 40°. (В той же Канаде сделать это даже при минус 15° — сложная проблема.) На водосбросном канале прекрасно работает уникальный сегментный затвор. Его пролет — 40 метров — самый большой в мире. Да всего и не перечислишь. И людей таких, честное слово, тоже нигде больше нету.

А чтоб не думали вы, будто это пустое хвастовство, расскажу один эпизод. И пусть потом еще не раз стройка заставляла сделать больше, чем казалось возможным, — та ночь занимает особое место в нашей памяти.

В тот раз весь поселок был внизу, на основных сооружениях. Дома остались одни старики (которых у нас раз-два и обчелся) и дети (вот уж кого много!).

Поперек русла реки, в основе будущей плотины, соорудили бетонную галерею для контроля состояния и цементации дна. Перегородили Виллюй перемычкой, загнав его в узкую строительную траншею. Во что бы то ни стало надо было закончить бетонирование до наступления весеннего паводка, до того, как зальет котлован. И мы бы успели по графику, если б не хватанул надолго мороз ниже пятидесяти. Металл же при температуре ниже 45° ломается. В общем, пришлось потом до самого паводка из кожи вон лезть. И вот уже оставалась самая малость. Но и паводок буквально с часу на час начаться мог. Уж не успевали наращивать перемычку, — вода поднималась все быстрее.

Тогда-то и обратились по радио начальник стройки, парторг и секретарь комитета комсомола с призывом к добровольцам прийти на перемычку. Добровольцами оказались все. По всей длине перемычки

встали мы чуть не вплотную друг к другу с лопатами и трамбовками. Чтобы быстрее оторваться от воды, наращивали перемычку шириной всего в полметра. Потом и того уже. А вода не сдается. Наступила поздняя майская ночь. За спиной у нас, в котловане, полным-полно техники: всюду идет бетонирование последних секций, которые в опалубке останутся под водой на период паводка.

Яростно взрывают темноту сполохи электросварки. Ночь наполнена грохотом бульдозеров, ревом машин, тревожными сигналами кранов. Непрерывным потоком подвозят к основанию перемычки суглинок. Восемь бульдозеров едва-едва успевают поднимать его повыше, к гребню, где мы лопатами и трамбовками укладываем его в перемычку. Уже ширина ее едва превышает длину ступни. А от жуткой черной глади нас отделяют всего несколько сантиметров. Внимательно следим, чтоб не просочилась где-нибудь протертая струйка.

И вдруг я чувствую: грунт подо мной вздыбился, и я едва не свалилась в ледяную воду. Оказывается, бульдозерист, молоденький парнишка, видя, как тяжело нам таскать лопатами липкий суглинок, хотел повыше подать его ножом да чуть не свернул перемычку.

С тревогой посматриваем в сторону котлована. Сколько еще осталось бетонировать? Все ли у них там гладко? Знаем, что работу ведет лучшая бригада бетонщиков — Михаила Горлова. Эти не могут не успеть. Но все же сколько еще?

Наконец приходит парторг:

— Ребята, там заканчивают. Надо продержаться еще около часа. Дежурный, удалите из котлована и с перемычки женщин.

В пять часов последний бульдозер вскрыл перемычку у самого берега, не дав Вилюю в лоб ударить по только что забетонированным блокам. Паводок начался. А люди все стоят в ледяном месиве грязи и снега, и никто не уходит.

Стихийно возник митинг. Я слушаю взволнованные слова и всматриваюсь в побледневшие, усталые лица моих товарищей. Рядом со мной Тая Вечерина. Почему она не ушла? Ведь живет в Мирном, просто приехала ко мне в гости. А вот там Полина Пещанская со своими подругами Юлей и Аннушкой. Как же так? Я всегда считала, что им ни до чего нет дела. Чуть дальше — Зинаида Арсентьевна из отдела кадров. У нее больное сердце, да и лет ей немало...

Наконец усталость и утрепанный холод берут свое. Мы садимся в грузовики и едем в поселок.

...Вы смотрели когда-нибудь поверх тайги? Нет, не сверху, скажем, с самолета, а именно поверх, с какой-нибудь высотки? Когда вынырнешь вдруг за ее лысую макушку и увидишь себя посреди моря тайги. Тут уж каким бы эрудитом вы ни были, а глянув вокруг, на эти зеленые волны, обязательно подумаете про это самое море. Конечно, тут же улыбнетесь собственной неоригинальности и начнете искать другие сравнения. Но в первый момент...

Потом вы вновь нырнете в зеленую пучину и едва заметными прогалинами спуститесь все ниже, ниже, пока не разломится впереди тайга надвое и не предстанете вы пред ясны очи батюшки Вилюя. Нет на этой реке места, где бы взгляд устремлялся вдаль по воде в бесконечную перспективу. Нет! Обязательно упрется в поворот. Впрочем, так раньше было. А теперь разлилось на Вилюе водохранилище, как говорится, даями неоглядными. Раньше грохотал Вилюй своими страшными порогами с экзотическими якутскими именами — Таастах, Эрбейек. И порог порогов — Улахан-Хан (в переводе с якутского — Большая кровь). Никто водой его пройти не мог: все гибло. Теперь над Таастахом и Эрбейеком — пятидесятиметровая толща воды, а Улахан-Хан... Улахан-Хан этим летом можно было перейти, не замочив ног, — он ниже плотины. Все уважительно удивлялись его громадным черным камням, мрачно выставившим свои гладкие спины. Тогда сами собой приходили на ум потускневшие было от частого употребления слова о величии коллективного труда, о человеке — покорителе природы. И каждый открывал их вновь, неожиданно для себя постигая в привычном звучании слов глубокий и мудрый новый смысл.

Наверно, мимо многих слов проходим мы в жизни, так и не удосужившись шевельнуть их, не познав их драгоценного сверкания.

Только вы ничего такого от наших ребят не услышите, потому что открытия эти — не на каждый день. Они не для повседневного пользования. Как большую ценность, прячут их поглубже, для себя. Чтоб ненароком не пообтесались, как обкатанная вилюйская галька...

ВилюйГЭС.
Якутская АССР.

Станислав
Рассадин



ЛИТЕРА-
ТУРНЫЕ
ПОРТРЕТЫ

НА ПЕРЕ- КРЕСТКЕ ТРАДИЦИЙ

О творчестве Кайсына Кулиева

Поэт Кайсын Кулиев однажды написал стихи по поводу, который не всякий счел бы достойным стихотворения:

Мы говорим: «Огонь, согревший нас...»
Не говорим, что нас дрова согрели.
Мы о дровах молчим. А ведь как раз
Они нас грели. И они — сгорели.
Горят дрова, чтоб было нам теплей.
И дерево золой и углем стало.
А мы, привычке верные своей,
Твердим: «Горит огонь...» Нам горя мало.

Это не филологическая игра в слова. Не спор о нормах словоупотребления. Это непосредственная вера в то, что мир, окружающий нас, живой и населенный живым, настолько живой, что в нем надо наводить справедливость по законам, принятым у людей, надо точно знать, кому (именно кому, а не чему) мы обязаны теплом.

Конечно, как принято говорить, стихи эти «не о том». Не о дровах. Правильно. О людях. О тепле самоотдачи:

Дрова сгорают ради нас в огне,
Безмолвно предают себя сожжению.

(Перевел Н. КОРЖАВИН.)

Но и о дровах тоже. Потому-то здесь нет аллегории, все всерьез, все взаправду, и сопереживание — подумать только, с дровами! — полное, безоглядное, тоже всерьез, тоже взаправду.

Кайсын Кулиев пантеистически верит в одухотворенность природы. Он жалеет ее, как жа-

леют человека: одно из излюбленных им выражений, ставшее и названием книги, — «раненый камень» — не парадоксальное столкновение символа крепости и бесчувственности с ранимостью, со страданием, а детски сильная вера, что и камню больно. Он не ищет общего языка с природой, он просто владеет им, и его обращения к зверю и камню не поэтическая условность, а вопросы собеседника, ждущего ответа:

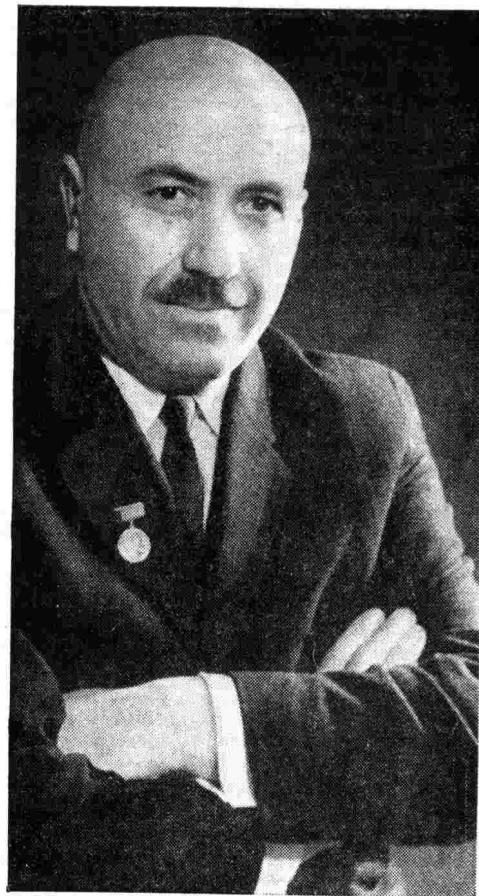
И к высотам Хуламским я голос вознес,
Отдал счастьем и радости светлую дань.
Здравствуй, тучка! Опять взобралась на утес?
Здравствуй, чуткий фазан, легконогая лань!
(Перевел Н. КОРЖАВИН.)

Легче всего предположить, что этот пантеизм — влияние народной традиции. Так, русский фольклор, языческий по происхождению и сохраняющий связь с язычеством, видит душу живую и в сером волке и в синей-бурке.

Однако в балкарском фольклоре все несколько иначе.

В нем скрестились противоречивые, даже противоборствующие тенденции. С одной стороны, сохранилось влияние язычества, прежде всего в эпосе о нартах. С другой, — скажем, в исторических песнях, возобладало влияние религии ислама, особенно цепко пустившего корни в оседлой Балкарии.

А магометанство суровее христианской религии с ее евангельским всепрощением. Нравственный под-



виг для правоверного магометанина не христианское самопожертвование, а убийство неверного во славу аллаха.

Впрочем, дело не просто в противостоянии религий. Христианский фанатизм тоже непримирим.

В пушкинском «Тазите» жестокому уставу магометанского Кавказа противопоставлено не только христианство. Правда, и оно тоже. По словам пушкиниста С. М. Бонди, в поэме «трагическое столкновение в душе молодого горца европейской «культуры» — в лице христианских идей — с властными обычаями и законами старинного крепкого быта горцев». Сохранившиеся планы окончания поэмы подтверждают, что Пушкин имел в виду проникновение на Кавказ православия.

Но только ли в этом дело? И в этом ли прежде всего?

Тазит, проклятый отцом за то, что не захотел убить мирного купца, не вернул беглого раба и не отомстил за гибель брата потому, что «убийца был один, изранен, безоружен...», — этот отверженный по природе своей не походил на прочих:

Он иногда до поздней ночи
Сидит, печален, над горой.
Недвижно в даль уставя очи,
Опершись на руку главой.
Какие мысли в нем проходят?
Чего желает он тогда?
Из мира дального куда
Младые сны его уводят?..

В Тазите не зря подчеркнуто мечтательное, поэтическое начало. Оно-то и выделило его из среды, оно-то и отвратило от жажды убивать.

Собственно, с этого и начинается подлинный поэт.

Все наиболее гуманное, что было в фольклоре Балкарии, воплотилось и возродилось в стихах предшественника Кайсына Кулиева, поразительного поэта Кязима Мечиева.

Поразительно не только то, что в маленькой горной стране возник поэт незаурядной культуры и огромного дарования, но и то, что Кязим, бывший знатоком восточной поэзии и не знавший русской и европейской лирики, первым в Балкарии сделал шаг — и какой шаг! — в сторону мировой, общечеловеческой культуры.

Начать с того, что он нарушил жесткую строфичность поэзии Востока, оберегаемую строгими традициями, и пришел к стихотворению с перекрестной рифмовкой и свободным количеством строк — таким, каким нужно для этого случая, для этого чувства, для этой мысли.

Стихотворение у него как бы формирует само себя — только по своему образу и подобию.

Но, главное, в стихах Кязима сам лирический герой смог отрешиться от условностей, от соблюдения церемонных правил, от красноречия — от всего, что бывало живым у классиков и что превратили в штамп эпитеты; он проявился в стихах открыто, цельно, конкретно — именно горец, именно балкарец, именно кузнец. Такой, какой он есть, в том числе очень добрый...

Впервые в балкарской поэзии так проникновенно прозвучала любовь ко всему живому, вера в одушевленность природы.

Кязим не только участливо, как с товарищем по несчастью, говорит с мерзнувшим воробьем, не только обращается со словами признательности к сторожевому псу или корове («С лысинкой на лбу моя корова, ласковая, с лысинкой на лбу»), но, что удивительнее и неожиданнее, в его поэме «Раненый тур» звучит прямо-таки толстовская тема совестливой жалости ко всему живому: охотник жалеет и щадит свою добычу — тура. А поэт и вовсе видит в

загнанном звере брата: «О раненый тур, мы похожи...»

Чтобы мы осознали необычность этого мотива в балкарской поэзии, в поэзии охотников, для которых тур — просто мясо, скажем так: это все равно, как если бы в русской народной поэзии прозвучал плач по зарезанной свинье.

Это не было возвращением к пантеизму первоначальному. В язычестве человек столь же жив и столь же беспомощен, как любое проявление природы. В стихах Кязима мир не просто живой, но оживляемый человеком, который — на правах старшего брата — ответствен перед младшим, умеет распознать в них живую душу, умеет установить в мире свой, человеческий, справедливый порядок.

Отсюда, от Кязима, и своеобразный пантеизм Кулиева.

Он писал: «Если есть что-нибудь значительное в нынешней балкарской поэзии, то оно выросло из кязимовских корней».

«Значительное в нынешней балкарской поэзии» — это Кайсын Кулиев.

Его объединяет с учителем многое. Может быть, прежде всего — народная определенность взгляда на мир.

В поэме «Кузнец» он слышит голос Кязима, который умер в сорок четвертом году, разделив со своим народом все тяжкие невзгоды тех лет:

И рвется с чужой стороны
Твой голос к родимому краю:
— Я умер во время войны.
Что было потом, я не знаю.
— ...Потоки текут ли?
— Текут!
— А хлебы пекутся?
— Пекутся!
— Деревья цветут ли?
— Цветут!
— А песни поются?
— Поются!

Переводчик Н. Гребнев самой неизысканностью, элементарностью глагольной рифмы передал здесь первоначальность, основательность тех ценностей, что в первую очередь назвал Кязим, наконец-то подавший голос своему ученику.

Те первоначальность и основательность, без которых нельзя понять жизнь народа и нельзя одолеть высот в искусстве.

Замечательный литературовед Н. Я. Берковский писал о пушкинских «Повестях Белкина»:

«Прозанческие фрагменты Пушкина этой поры да и законченные его художественные произведения... все они тяготеют к одному центру, и центр этот — народ с его прямым отношением к элементарным силам и заботам жизни... Пушкин был убежден...: человеку, как бы он ни был высок умственно и духовно, необходимо сохранять свою связь с простейшими мотивами жизни, развиваться, не отрываясь от них, внутренне питаясь ими».

Поэзия Кайсына Кулиева — поэзия устойчивости, определенности, поэзия четких ориентиров. Это от народа, это от Кязима.

Как характерно для Кулиева, что в стихотворении, написанном на фронте и обращенном к любимой женщине, он уверен: там, где она, идет точно такой же снег: «Ты по улице идешь вся, как я, в густом снегу». В другом стихотворении — то же: «И верится, что дома ты глядишь сейчас, как я, на эту же звезду».

Определенность ориентира сокращает расстояния, сохраняет любовь, вселяет надежду.

Она помогает и сегодняшнему Кайсыну Кулиеву.

Связь его с народом серьезна и глубока.

Он родился в Чегемском ущелье, в сердце Балкарии. Для него есть особый смысл и особая радость в том, что он крестьянин по рождению и балкарец по национальности. Но он не тычет никому в глаза это обстоятельство, честно предупреждая любителей экзотики: «Я не пою, а пишу на бумаге, мерю пальто городского сукна».

Он гордится своей Балкарией, ему мило все балкарское, но, несмотря на это, а вернее, благодаря этому, в стихах его вовсе нет внешненациональной хвастливости. Он и в бытописательных своих стихотворениях — в старом цикле «Мои соседи» — не слишком увлекался броскостью балкарского быта; теперь же и вовсе его интересует не этнография, а душа, не столько национальная особенность, сколько всечеловеческая близость.

Для него его происхождение, его непрерывающаяся связь с народом — ответственность, а не льгота. Потому достойно, а не кичливо звучит у него:

И тем гордиться буду я до гроба,
Что и моя душа наделена
Крестьянской простотою хлебороба,
Бесхитростностью горца-чабана.

(Перевел Н. ГРЕБНЕВ.)

Оттого же его гуманизм чужается расплывчатости, до предела конкретен:

Легко любить все человечество,
Соседа полюбить трудней.

Оттого его оптимизм не поддавался бедам, а как бы даже вобрал их в себя:

Судьба, склоняюсь низко пред тобой,
Благодарю, что в пору лихолетий
В огне, под снегом или под водой
Мой смертный час нигде меня не встретил.

Я мог и за решетчатым окном,
Где моего никто б не слышал зова,
Окончить жизнь и в мерзлый глинозем
Лечь, не увидев края дорогого.

Ты предо мной не застилала свет,
И все, на что потратил я чернила,
Что для себя писал я столько лет,
В конце концов ты в книги превратила.

Эта благодарность своей судьбе — одновременно память о тех, чья судьба сложилась много хуже. Думая о себе, Кайсын Кулиев не в состоянии забыть о других:

Я вижу полдень, полночь и зарю,
Я жизни рад, хоть сам порой не знаю;
И за себя судьбу благодарю
Или за тех — погибших, проклиная?

(Перевел Н. ГРЕБНЕВ.)

Кулиев, духовный сын кузнеца Кязима, много думает о двадцатом веке. Он проверяет его искусствами народную устойчивость своих представлений о жизни.

Горькие мысли о судьбах разума в нашем столетии родили стихотворение об Эйнштейне:

Когда-то строя цепь своих теорий,
Он не предвидел городов в дыму,
Не знал, что для кого-то станет горем
Закон, пока понятный лишь ему.

Открытие всегда необратимо,
И перед ним его создатель — раб...
Молчал Эйнштейн, узнав про Хиросиму,
Он был, как я, беспомощен и слаб.

(Перевел Н. ГРЕБНЕВ.)

Кулиев не укоряет Прометея огнем лагерей смерти, но парадокс истории, поворачивающей величайшие человеческие открытия против самого человечества, не дает ему покоя.

Однажды, сожалея, что Кязим не знал русскую поэзию так же хорошо, как восточную, Кайсын Кулиев заметил: «Ведь он во многом близок и к Лермонтову».

Может показаться, что это — наивное желание сблизить, сроднить двух любимейших поэтов. Ибо о любви к Лермонтову Кулиев говорит много и страстно.

Но в сближении этом есть смысл.

Все дело в том, о каком Лермонтове идет речь, что в Лермонтове близко Кязиму Мечиеву и что — Кайсыну Кулиеву.

В «Парусе», написанном восемнадцатилетним Лермонтовым, есть и гениальная зрелость и еще полудетскость, тоже, впрочем, гениальная.

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...

В этих строчках есть то, что объединяет мировосприятие фольклора со взглядом ребенка: крупность и четкость картины мира. Это как в сказке Пушкина:

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут...

Лазурная струя — и золотой (непреренно золотой) луч солнца; синее море и синее небо — так рисует ребенок. Так видит и народная поэзия.

Поэтому пушкинская сказка, овладевшая тайнами народной поэзии, перешла к детям, которым вовсе и не назначалась.

Но вслед за детской ясностью и четкостью красок «Паруса» — строки, поражающие своим трагическим предвидением:

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Тем же, что и «Парус», 1832 годом помечено еще одно лермонтовское стихотворение — «Челнок». О человеке, разбитом бурей, которой так ищет парус:

Никто ему не вверит боле
Себя иль ноши дорогой;
Он не годится — и на воле!
Погиб — и дан ему покой!..

Вот он, покой, который «как будто» есть в буре.

Лермонтов видит возможный — и, вероятно, неизбежный — конец своего паруса. Но он — или, для точности, его лирический герой — все-таки избирает, не может не избрать этого пути. Заключительные строки «Паруса», быть может, впервые так ясно посетившая юного Лермонтова безыллюзорность. Но безыллюзорность лермонтовская, все сознающая, однако неспособная отказаться от опасного, даже рокового плаванья.

Последние строки «Паруса» очень приближают стихотворение к нам, к нашему веку, к нашей поэзии. Они даже поразительно современны. Не о том ли, не о трагической ли необратимости поиска стиха Кулиева об Эйнштейне?

Ему суждено было в балкарской поэзии осознать предвидения Кязима, его шаг к мировой поэзии, к мировым проблемам. То есть совершить новый шаг. В его стихах лирическая индивидуальность, вступившая с миром в новые, куда более сложные и многообразные связи, сама проявилась сложнее и многообразнее.

Кайсын Кулиев — явление уникальное в поэзии двадцатого века. Уникальность не уменьшается оттого, что он в этом смысле не одинок.

Он один из тех, чей поэтический характер сформирован одновременно живым, не прекратившим свое формообразующее влияние балкарским фольклором, сконцентрированным в народной поэзии Кязима, и традицией литературной. Прежде всего русской.

Он на перекрестке двух традиций.

Такое возможно лишь там, где устное народное творчество еще развивается наравне с письменным, книжным. Или хотя бы там, где оно лишь недавно уступило эстетическое господство стихам, размноженным типографской машиной.

Такое возможно в Балкарии, классик которой Кязим Мечиев еще записывал стихи арабскими буквами: своих не было. В Балкарии, и сейчас не столько читающей, сколько поющей Кязима.

Поэтическая судьба Кайсына Кулиева была определена годом его рождения. Он родился в год Октябрьской революции, давшей балкарскому народу свободу и письменность, открывшей ему русскую и мировую культуру.

Лермонтов погиб совсем-совсем недалеко от родного дома Кайсына Кулиева; от горы Машук до Чегемского ущелья — считанные километры. Но для того, чтобы поэзия Лермонтова преодолела эти километры и пришла к сыну балкарского крестьянина, должен был произойти великий революционный взрыв, разрушивший вековую национальную замкнутость и сделавший поэта Кулиева таким, каков он есть.

Кайсын Кулиев отправился в плавание вместе с Лермонтовым, но находить в открытом море ориентиры, которые там еще нужнее, чем на твердой земле, помогает ему Кязим.

Народная — почти детская — ясность и простота не изменили Кулиеву до сих пор:

Чиста, как снег вершины,
Проста, как серый камень,
Звонка, как эта речка,
Та песенка простая,
Как мальчика улыбка,
Ты, песенка простая,
Ты веточкой мне сنيшься
Кизиловой, зеленой.

(Перевел Н. КОРЖАВИН.)

Но чем дальше, тем реже ясность и простота проявляются у Кулиева в таком первоначальном, не испытанном мучительной жизненной сложностью виде.

Вот стихотворение о счастливом сне. О том, как поэту приснилось, будто все на земле прекрасно и мирно, будто ничего другого и не было никогда, будто все страшное — дурной сон:

А наяву мир не будили трубы,
Не строились во фронт ефрейтора,
И венский обыватель Шикльгрюбер
По-прежнему подручный маляра.

...Мне снилось, что прошли все беды мимо,
Я тихо спал в траве, и снилось мне:
Прах Хиросимы, печи Освенцима —
Все это с миром было лишь во сне.

(Перевел Н. ГРЕБНЕВ.)

Стихи о возможности сладко забыться обернулись стихами о невозможности забвения. Мир во сне безмятежен только потому, что противостоит жестокой действительности. Двойное отражение (сон во сне) настойчиво возвращает нас к ней.

Сон во сне... Что он напоминает так неотступно? Конечно, лермонтовский «Сон», несомненно, повлиявший на стихи Кайсына Кулиева:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь сочилась моя.

Тоже сон во сне. Умиравшему снится «вечерний пир в родимой стороне» и девушка, чья душа также погружена в вещи сон:

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди дымилась чернела рана,
И кровь лилась пладеющей струей.

Поразительная близость — и поразительное различие поэтов.

В лермонтовском «Сне» — трагедия отъединенности. Уносясь в родную сторону, умирающий вторым отражением безжалостно отбрасывается назад. Только что ему казалось, что он там, с ними, как пророческий сон его любимой возвращает его к ужасной реальности.

Ощущение смерти дано как ощущение порвавшихся связей, как невозможность даже в мыслях быть среди людей.

В этих стихах Лермонтова — характернейший его мотив: трагическая отъединенность от мира. В стихах Кайсына Кулиева — трагическая причастность к миру, горькая невозможность уйти от всего, что было с людьми в двадцатом веке.

Это чувство, обостренное нашим временем, когда под угрозой общей гибели идет процесс сближения людей Земли, сближения общим чувством опасности, общим чувством ответственности.

Тем чувством, что заставило Хемингуэя выискать у старинного поэта Джона Донна и взять в эпиграф к своему роману слова о том, что всякий человек — часть материка и не надо спрашивать, по ком звонит колокол, ибо он звонит и по тебе.

Эти старые слова, быть может, именно сегодня оказались такими современными, современнее, чем были в XVII веке.

Близкого человека всегда одинаково страшно было терять. И все же, мне кажется, стихи Кулиева о смерти его друга Симона Чиковани помечены этим сегодняшним чувством трагической причастности:

О, как ты плакала, Марика!
Был птичьим крик твой в тишине!
И что-то было в нем от крика,
Что к небесам взлетит ко мне.

(Перевел Н. ГРЕБНЕВ.)

Уже почти буквально: он звонит по тебе.

Эта любовь к человеку обострена, как уже было сказано, современностью. Но за ней — гуманистическая традиция поэзии.

Вслушаемся в стихотворение:

Там, впереди, — очертанья аулов.
В сумерках смутно дорога видна.
Пляшут крестьяне, погонщики мулов,
Пляшут, слегка захмелев от вина.

Пляшут, заботы забыв на мгновенье,
Тяготы сбросив с натруженных плеч.
Мулы и люди, восторг и забвенье,
Стройное пенье, нестройная речь.

Разве у жизни — одни лишь посулы?
Сбудется все, чего жаждет душа!
С робкой веселостью движутся мулы,
Пляшут погонщики: жизнь хороша!

...Кажется им, что ни дома, ни в поле
Не было смерти и тяжелых потерь,
Не было голода, горечи, боли, —
Было всегда хорошо, как теперь!

...Будто их жены красивей всех женщин,
Будто их овцы жирней всех овец,
Будто все знания — у них, деревенщин,
Что ни старик, то знаток и мудрец...

(Перевел С. ЛИПКИН.)

Это написано человеком, знающим деревню: с такой естественностью, по-крестьянски грубовато и простоудушно поставлены здесь рядом женская красота и упитанность овец, любовь и хлеб насущный. Это написано человеком, знающим тяжесть крестьянского труда и радость хоть минутного отдыха, — знающим не понаслышке.

Но есть тут и нечто гораздо большее, не позволяющее стихам остаться жанровой зарисовкой. Что же именно?

Давным-давно Лермонтов признался в «странной», какой-то новой, удивившей его самой любви к родине. Взгляд его с неясным для него чувством задерживался на белеющих березах, на резном деревенском окошке, пока не остановился с особой пристальностью на крестьянской гулянке:

И в праздник, вечером росистым
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

То, что Лермонтов искренне признается: «...но я люблю — за что, не знаю сам», — говорит нам: это — чувство, еще непривычное для русской поэзии. Еще не вполне ею осознанное.

«Ни слава, купленная кровью... ни темной старины заветные преданья» — ничто из того, что принято было связывать с величием России официальной, не тронуло лермонтовского сердца.

Его признание: «...не победит ее рассудок мой» — это не то, что тютчевское «умом Россию не понять», где сама непостижимость уложена в жесткую формулу загадочности славянской души, в том числе души государственной. Лермонтовская «Родина» — одно из первых приглядываний к народной России «просто так», к российскому крестьянину, не только как к доблестному победителю Наполеона, которым принято гордиться, и не только как к крепостному рабу, которого надо жалеть, а просто как к человеку вне государственных функций, зато в естественных человеческих проявлениях, хотя бы вот пляшущим в праздник.

По тем временам лермонтовское стихотворение могли считать, так сказать, антиобщественным.

Ведь иные не шутя упрекали Пушкина, который от юношеской «Деревни», от ее обличительной гражданственности приходил в «Онегине» к той же любви «просто так»:

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор... —

вплоть до строк, поразительно похожих на лермонтовские:

Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепанка
Перед порогом кабака.

Между тем декабристская «Деревня» — взгляд на народ издали; крестьянские парни изображались в традициях сентиментализма: «Опора милая стареющих отцов, младые сыновья, товарищи трудов...» Молодые крестьянки выглядели сплошь бедными Лизами: «Здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея».

А в «пестром соре» «Онегина» было уже реальное знание, реальный интерес к реальным мужикам.

У этих строк Пушкина и у лермонтовской «Родины» есть предыстория и предощущение: так когда-то Карамзин догадался, что и крестьянки чувствовать умеют. Но одно дело бедная Лиза, разговаривающая на языке петербургских гостиных, и совсем другое — подвыпившие мужички, вероятно, выражающиеся не совсем благоправно.

От бедной Лизы можно было ожидать разве что трогательного самоубийства, а чего надо ждать от этих?..

У Лермонтова не уверенный ответ, за что надо

любить народную Россию, а вопрос, тот самый, что в стихах важнее ответа.

Любовь «просто так», ни за что сильнее любви за что-то. Ибо бескорыстнее. Она не оставляет любящему возможности самоутвердиться за счет своей любви.

И интерес «просто так» проницательнее. Интересующийся не вносит с собою цель, не вносит заготовленные вопросы, на которые невольно уже припасены ответы или хотя бы варианты ответов.

Такой интерес непредвзят и потому может дать наиболее точное знание.

Мне кажется, что, конечно, не непосредственно с лермонтовской «Родины», но с чувства, которое вызвало к жизни и эти стихи, реально начался человеческий интерес русской литературы к крестьянину, к человеку из народа, давший потом такие мощные результаты.

Стихотворение балкарца Кайсына Кулиева стоит в ряду этой традиции.

Увидеть в пляске подвыпивших погонщиков мулов воспарение души, «восторг и забвенье» — значит увидеть в них неисчерпаемые душевные возможности, которым так мало нужно, чтобы вырваться на волю; увидеть природную артистичность, о которой и сказано-то всего только «стройное пенье», но которая пережита всем строем легкого стиха.

Может быть, и Лермонтова в свое время — еще не осознанно — привлекла на сельском празднике та же живая душа, освобожденная от быта, от всего, что ее сковывает, освобожденная хоть на часок, хоть при помощи казенной водки?..

У Кулиева уже есть сознание, а не только чувство. В его стихах — горькое понимание тяжести тех обстоятельств, что пригнули этих людей (они названы: война, голод, иные беды). И вера в высокое, в поэтическое начало, скрытое в человеке до поры до времени, — в начало, которому дай только выйти из-под гнета обстоятельств.

У тех, о ком написаны стихи, нет этого осознания, они погружены в свои будни, а сейчас, в веселую и хмельную минутку, тем более не думают о том, что с ними происходит, что они испытывают. Они то сосредоточены в труде, то самозабвенны в веселье.

Поэт сам должен понять души героев, их чаяния. Сам должен соотнести их жизнь с выношенным им идеалом, осознать ее приближенность к идеалу или удаленность от него.

Это и близкая причастность к людям и умение понять то, чего не могут в такой степени понять они сами и что дано ему, поэту.

Их не высказанные, а вырвавшиеся только во время негаданного веселья мечты о счастье, вера в него рождают в поэте мысли о назначении человека. О его изначальных надеждах, которые не должны быть обмануты.

Подлинное уважение к человеку не предполагает его идеализации. Напротив, оно зовет к правде, ко всякой, даже к горькой. Оно говорит о возможностях личности, освобожденной от тягот, которые с лихвой выдал людям двадцатый век.

Кайсын Кулиев знает, как прекрасна освобожденная человеческая душа. Он знает, в чем назначение поэта.

Об этом сказал ему горский кузнец Кязим. Об этом говорит ему традиция русской поэзии.



Виталий Гузиков



САШКИНА ОДИССЕЯ

Рисунок
Н. Воробьева.

Сашка проснулся от резкого тошнотворного запаха. Пахло паленым. Неестественно тепло было сбитым в кровь, натруженным ногам. Ноги даже легко жгло, пощипывая подошвы и пальцы, которые могли теперь свободно шевелиться, чему он удивился, забыв, когда чувствовал их так в последний раз. Он открыл глаза и, ничего не увидев — ни меховых стен яранги, ни оружия своего, лежавшего в углу, — кроме ленивых языков пламени костра, зачихал. Едкий до слез дым поглотил все вокруг.

С трудом поборов чих, он достал карманный фонарик и... ахнул. Его новенькие, расшитые оленьи торбасы медленно тлели. Сон мигом слетел. Он выскочил из яранги в пургу и заметался по снегу, хотя спасать-то уже теперь было нечего. Обреченно махнул рукой, сплюнул, откашлялся, вернулся в ярангу и принялся стаскивать торбасы. За какие-то двадцать — тридцать минут, что он, вконец измотанный, убаюканный теплом и покоем, провел в глубоком забытии, огонь превратил его незаменимую для тундры обувь в обуглившиеся, искореженные ремешковые доски. Съездившиеся, севшие чижки, слава богу, были целы. Но что толку, куда в них одних пойдешь в такой морозище...

Сашка окончательно приуныл. Он разом вдруг ощутил свинцовую тяжесть во всем теле, почувствовал такую безысходность и обреченность, что ему стало жутко. «Ну вот, — заговорил в нем самый чей-то чужой, зловещий голос, — дотанцевался, доигрался в романтику...» Сашка попробовал заткнуть этот чужой рот, но голос продолжал: «Брось упрямиться-то, прощайся с жизнью, господин хороший, побродил по земле девятнадцать — и будет с тебя...»

От холода или от голода, а скорее всего от страха Сашку затрясло. В яранге было достаточно тепло, а его колотило озноб. Он заплакал и застонал. Занявшаяся с утра пурга грозила долгой непогодой. «Как там олени? Да черт с ними, сохатыми!»

Попутала же его нечистая пойти в оленеводы, вот теперь и мучайся. Сашка уже не видел в себе героя, рвущегося в эти «белые пятна», в эту лютую тундру, чтобы доказать отцу, друзьям, себе, наконец, что нет для него никаких преград в жизни. А как все лихо было поначалу... По принципу самому что ни на есть мальчишескому — захотел и сделал, захотел — и получите на блюде с голубой каемочкой...

Сашка залез в спальник, продолжая перебирать в памяти все подробности и детали пути, приведшего его сейчас сюда, в эту взбесившуюся тундру, оставившего одного с оленьим стадом, почти без пищи, без курева, без обуви, а главное без людской помощи.

Это случается с каждым мальчишкой. С одним — в большей, с другим — в меньшей степени. В каждом живет робинзоновское начало, такая страсть к самостоятельности, которая, по его твердому убеждению, легче всего и быстрее всего утоляется где-то в дальнем далеке от родительского крова. У Сашки же Зырянова эта страсть была не только плодом мальчишеской фантазии. Сказалась, видно, и наследственность. Досталась она ему от отца-строителя, а тому — от деда, тоже строителя. Где только старший Зырянов не побывал на своем веку! Сложи все отцовские километры, не одна кругосветка получится. А сколько памятников своему труду, своим лишениям он возвел — жилых зданий, заводов, мостов, электростанций, — не счесть!

Не сказать, чтобы Зырянову-младшему дело отца было не по душе, но нравилось оно не настолько, чтобы стать рядовым армией строителей. Уж больно легким и доступным все это ему казалось, да тем более дома, под родительским крыльшком.

Он чуть не сторел от нетерпения, выполняя единственное отцовское требование — закончить десятилетку. Сашка хорошо запомнил тот день, когда положил перед старшим Зыряновым свой аттестат зрелости. Это был, пожалуй, первый в его жизни день взрослого человека. Во всяком случае, так ему казалось. Да и отец тогда впервые был с ним на равных. Впервые на Сашкиной памяти поправ все законы педагогики, вечером отец велел матери собрать на стол, достал бутылку «Московской» и налил сыну, как и себе, полстакана. И предложил выпить за дорогу, на которую выпускал теперь своего неоперившегося голубя. Они пили водку и разговаривали. Сашка дивился доброте, мудрости отца и видел себя уже где-то «у черта на куличках», хотя их районный городок Шимановск, что в Амурской области, тоже не ближний свет.

Когда он объявил об отъезде, мать долго плакала, а отец сказал: «Твоя воля, езжай, коли решил...»

Ты теперь сам себе голова, сам судья и подсудимый... А я, ежели не против, стану твоим советчиком...»

Саша решил двинуть в Якутск, в железнодорожное училище. Там и получил свой первый и пока единственный в жизни диплом кузнеца свободнойковки. Ну, а дальше? А дальше оказалось, что вкалывать кузнецом — это не сахар. Но не то чтобы трудно, а просто не самое интересное в жизни. Не нашлось у него сил сидеть на одном месте. И случилось, что стремление повидать мир и показать себя сорвало его в один прекрасный, февральский (для точности), день и двинуло дальше на северо-восток. Маршрут этот не был подсказан интуицией или выбран ткнутым вслепую в карту пальцем. Все объяснялось куда прозаичнее.

С легкой руки случайно подвернувшихся двух дружков узнал он, что есть на свете Чукотка, край длинный, а главное, легкого рубля. И в душу парня как-то незаметно вползла страстишка лихо подзаработать и доказать своему «старика», что и в двадцать можно иметь свое авто, модный гардероб, наличность, позволяющую шиковать в ресторанах. Она-то и привела его в Билибино...

Они пришли в райгруппу проситься на прииск. Тем двум дружкам — слесарю и технику — отказали: мест свободных по их специальности не нашлось. Кузнецы оказались нужны, и Сашке дали направление в поселок Встречный, на прииск имени 45-летия ВЛКСМ. Но из солидарности, обидевшись на кадровика за своих компаньонов, Сашка «бумагу» четвертовал за порогом райгруппы. Двое суток просидели в аэропорту. И когда остались без копейки и уже было приуныли, встретился им (как в сказке) добрый человек, а на самом деле обычный северянин, местный авиатехник. Напоил их, накормил да и посоветовал: «Бросьте вы, ребята, это золото к чертовой матери, дуйте-ка в пастухи... Не жизнь, а малина — денег куча, гребни лопатой, мяса и шкур без счета...»

В общем, так им авиатехник оленеводство разрешил, что они сразу, недолго думая, отправились в райисполком, к Комарову Александру Венедиктовичу, председателю. Так, мол, и так, хотим в пастухи, в колхозники... «Почему?» — тот спрашивает. Ну, ясное дело, промолчали. Комаров на них криком набросился: «Чего от дела отрываете?.. Тоже мне чукчи...» А потом говорит: — Дуйте в колхоз «Вперед», вот вам направления...»

Стоял тогда мороз под шестьдесят градусов. Путь предстоял тридцатикилометровый. Машины в те дни из-за заносов не ходили. Дружки были одеты, как полагается, по-северному. А Сашка полегче: в брючках, стоптанных валенках, полупальтишке. Решили двинуться пехом. Прошли километра три. На большее Сашки не хватило. Превратился в сосульку и убежал обратно в Билибино. Те дошли. А Сашку на другой день или совесть заела, или гордость мальчишеская взвырала. И двинул он снова в колхоз по колее от машин, чтобы с пути не сбиться.

Прошел километров пятнадцать, замерз вконец. Тут и черта, и дьявола вспомнил, и свою дурью башку, занесшую его сюда. Ни рук, ни ног уже не чувствовал. Брел из последних сил, знал, что садиться нельзя... Сон одолеет... Под вечер услышал тарахтение мотора. Ушам не поверил. Думал, мираж. Машина и спасла.

Завез его шофер прямо в колхоз. Встретили там, будто только его и ждали.

¹ Районное геологоразведочное управление.

— Ты к нам, — спрашивает председатель, — по комсомольской путевке оленеводство поднимать?

— Да нет, я сам, по доброй воле, — сказал Сашка и почувствовал себя героем.

Колхоз, хоть и в небогатых тогда ходил, дома пообещал добровольцам поставить. Приличный аванс выдали. Чукчи — местные портные — мерку сняли, меходежду стали ему шить. Ну, и отлегло у Сашки от сердца. Решил: попробую, не боги горшки обжигают. Да и убедился, что пастухам и впрямь платят больше полутысячи. Весь месяц, что шили ему куртки, торбасы, малахай, камусовые рукавицы, уверенность крепла.

Пришел день, посадили его на нарты и повезли в тундру, в восьмую бригаду Папальгина, сорокалетнего чукчи. Вошел он в ярангу, вежливо поздоровался, сел к огню рядом с пастухами шестым и понял, что приехал не в ту сторону. Они-то говорят все по-своему. Откуда ему знать чукотский! Так два дня, что пурга мела, и просидел у огня молча. Спать приглашали в полог. Отказывался. Ему нечем было у огня дышать, до того резки и непривычны оказались новые запахи. Доброволец все норовил на воздух... Только холод гнал его назад, в ярангу.

В первый же вечер он вытряхнул содержимое своего тощего рюкзака, угощая оленеводов. Те, не отказываясь, ели его ступенку, печенье, галеты, консервы. Взамен предлагали отведать мульгу-муть — кислую кровь и тырчнат — суп из требухи и крови. Попробовал — затошнило. А те ничего, едят, причмокивают от удовольствия да над Сашкой посмеиваются. У них тоже были свое печенье, галеты, ступенка. Но откуда Сашке было знать, что у чукчей принято угощать гостя или случайного путника, а друг друга — разве что из-за беды какой! Удивился Зырянов и только позже понял, в чем дело. Живя месяцами в тундре, кочуя со стадом в сотнях километров от поселка, в магазин не больно-то наездишься. Да и оленей не бросишь. Да и погода на такие длинные вояжи не шибко щедра.

На третий день Сашка «лопал» один чай. На четвертый — пришел конец сахару. На пятый — он попросил мяса. Ему дали большой теплый кусок от только что освежеванной туши. Он заикался от удивления и злости. Но никто над ним не издевался. Оленеводы ели сырое мясо с наслаждением. Он не мог. Его тошнило.

Папальгин тогда сказал что-то недоброе, взял у него мясо, бросил в кипящий котел. Минут через пять вернул обратно. Теперь кусок был серым и по-прежнему сырым. К вечеру Сашка не выдержал. Съел мясо и впервые лег спать на сытый, но баствующий от непривычной пищи желудок.

Потом пурга ушла на юг, и его повезли в стадо. До этого всю неделю Сашка видел только ездовых оленей. Стадо искали три дня. Он почти не слезал с нарт, а когда все-таки спрыгивал, чтобы размять затекшие ноги, более десяти метров пробежать рядом не мог. Снегу было чуть ли не по пояс.

Дней через десять в бригаду приехал зампред колхоза Константин Петрович Кавракай, оленевод знатный и опытный, с орденом Ленина на нижней куртке. Долго держали совет, где искать оленей, пока опять не запуржило. Пришлось откладывать отъезд. Потом наконец нашли стадо. Разбили его на ревкут и печвак — маточное и производственное — и определили Сашку помощником к Николаю Рыневи, чукче, самому болезненному и доброму из оленеводов.



Взяли они своих тысячу двести голов и ушли на север, к свежему месту, богатому ягелем. Поставил Николай ярангу, и потекли у Сашки дни, что близнецы: все, как один, серые, однообразные до нудности. Рыневги, хоть и больной был, оказался быстрым на ногу. Олени, будто понимая по-чукотски, видели хозяина только в нем, не обращая внимания

на Сашкины приказы. Николай редко собирал оленей. Чуть ли не месяц провели в яранге, сутками гоняя чай. Сашку поначалу бесили ответы Николая — односложные и одинаковые, о чем бы ни спрашивал. И он тоже примолк.

Черт те что с ним творилось! То он хмелел от злости на себя, на того жареного петуха, что клюнул

его, загнав в эту глушь... То он покорно подчинялся судьбе, уговаривая себя дотерпеть, проявить характер. Сашка уже ел недоваренное мясо, потому что не всегда удавалось собрать достаточно топлива. Стал уже часто спать в пологе из шкур, потому что усталость брала свое, хотя по-прежнему не по нутру ему были непривычные, резкие запахи.

Прошел месяц, и Николай окончательно слег. У него шла горлом кровь, он бредил, надолго теряя сознание. Когда приходил в себя, — справлялся про оленей. Сашка вылетал на мороз и носился как угорелый, собирая сохатых в кучу. Тогда до него еще не дошло, что дело это бесполезное, что человек должен идти за оленем, а не олень за человеком.

Раз погонял, пять, десять — плюнул. Силы были на исходе. Потом за бредившим, уже редко приходящим в себя Николаем наконец приехали из поселка. Так Сашка и остался один.

На дворе зима. А у них в доме сегодня жара. У плиты хлопчет мать... Печет пироги... Как всегда по праздникам... С мясом и вареньем... Сашка ест их прямо из духовки, хрустящие, и никак не может насытиться...

Что-то прогремело. Сашка проснулся. Сон растравил, заставив с новой силой ощутить холод и голод. Открыв глаза и увидев все ту же беспросветную картину, Сашка снова принялся растравлять себя разными размышлениями.

«Говорят, первый блин комом, — твердил он. — А если все они комом — и первый, и третий, и пятый?.. Тогда на пенсию... Только не по возрасту, а по развиту извилины. Ну, куда денется он без торбасов? Черт его дернул не взять пару запасных. Точно, тут дело в извилинах... А может, нет?..»

Сашка не знал, сколько времени он, обессиленный, коченея и голодая, провел в таком полузабытии — сутки или трое. Часы давно остановились. В оставшейся от Рынеги «Спидоле» сели батарены.

Голодным волком, тешась над человеком, был ветер. Он был господином. Он побеждал человека. Но, как каждый, даже отверженный и обреченный, Сашка ждал помощи... Надеялся... Он мог ждать ее долго... И не дожидаться... Быть может, это и разбудило в нем наконец самое острое у юношей чувство — стыд. Ему вдруг стало стыдно слабости своей и беспомощности. Может быть, в нем впервые в жизни заговорил тогда мужчина.

Он встал, размял затекшее тело, поджег остатки шкур и сала, обогрелся. Взял карабин на случай, если не догонит оленя, чаат, который еще никогда не метал, и решительно вышел из яранги. Белое безмолвие поначалу ослепило. Сильный мороз защипал лицо. Но Сашка, не замечая этого, понесся к ближайшей сопке. У ее подножия — о счастье! — паслось несколько оленей...

Довольно скоро он подвел к яранге то, что сумел поймать, — молодую олениху. В первый и последний раз в жизни нарушив закон оленеводов, он забил мать будущих телят. Кое-как освежевав тушу, с жадностью набросился на сырое мясо. Потом сделал несколько глотков теплой крови. И впервые не испытал отвращения. Он развесил шкурки камуса с жилами над огнем и стал ждать... Когда они подсохли, смочил шкурки и принялся на чукотский манер разминать их на доске, благо видел, как это делали оленеводы. Пришлось с этим изрядно попотеть. Потом он стал заготовщиком и, наконец, сапожником...

Мучался три дня. А на четвертый, когда торбаса были готовы, пошел за оленями. К вечеру пригнал их, пересчитал и, убедившись, что все целы, лег и

тут же забылся сном вконец измотанного, но довольного собой человека.

С того дня беды, как по мановению волшебной палочки, пошли на убыль. Впрочем, парень твердо решил, что если его хватит и он доработает до лета, то хотя и без почета, но зато без позора подастся из этих мест без оглядки.

Вскоре приехал Папальгин, бригадир; он пересчитал оленей, заулыбался и легонько двинул молодого пастуха под бок. Вместе они сняли ярангу и, кочуя, погнались стадо дальше. Теперь бригадир уже не молчал. По вечерам, когда они садились к огню, Папальгин глядел на Сашкины торбаса, одобрителем кивал головой и все повторял:

— А я думал, пропал твой голова, Зырян... Думал, волк тебя кушал... Косфонафт ты, Сашка...

Они стали пасти стадо с Сидором Поликарповичем Митивым, добрым и словоохотливым стариком чукчей. Саша ожил, слушая рассказы этого человека, который вместе с братом в пору организации колхоза «Вперед» первым в округе сдал своих личных оленей в общественное стадо. С Поликарповичем было нескучно. Каждый день он рассказывал все новые и новые легенды, будто не было им числа и счета в его памяти. А еще, и это главное, был Поликарпыч оленеводом самым что ни на есть опытным. Вот от него Сашка и постиг всю на первый взгляд простую, а на самом деле мудреную профессию пастуха. Научился управлять стадом, лечить оленей от копытки, поить их вовремя, чтобы не теряли в весе. Познал и новые маршруты на миллионных гектарах колхозных угодий. Набил глаз и стал ориентироваться на голой тундре, что иной местный. И еще стал выносливым и способным сносить любые невзгоды кочевой жизни — и голод, и холод, и пургу.

Подождал июль — месяц Сашкиного первого трудового отпуска. И хоть чувствовал он себя теперь равным среди пастухов, все же скитаться ему надоело порядком. Надоело жить без свежей газеты и журнала, без кино, танцев. Да и от гнуса и комара можно было сойти с ума. И решил Зырянов брать расчет подчистую.

В правлении не возражали. Его и так-то героем считали: ведь те двое его дружков (да только ли они из приезжих!) на второй месяц деру дали. Но все же посоветовали не торопиться, подумать. И Поликарпыч — тоже. Старик чуть не плакал, его провожая. Привык к парню. Своих у него сроду не было, вот Сашку он за сына и почитал. Екнуло тогда у Зырянова что-то в груди. Но сказал он прямо и старику и в правлении: «Потянет — приеду, а нет — не обессудьте...»

Отпуск был двухмесячным. Отправился к родителям. Ну, деньжат привез немало. Им часть положил. На юг, к морю съездил. Да и приехал обратно в Кемерово чуть ли не на месяц раньше срока. Не выдержал, заскучал. А может, жалко стало бросать дело, с таким трудом постигнутое... Может, к людям привык...

Стой поры минуло четыре года... Для Севера это уже срок. Теперь для Александра Зырянова нет в тундре ни секретов, ни тайников. Трудовая его биография полна историй и приключений, на какие так богат Север. Ну, а если говорить о том пути, который прошел пешком, так тут ему бегуны-стайеры позавидовать могут. За день-то в среднем километров пятьдесят выходит. В году рабочих месяцев у него десять. Простая арифметическая задачка дает внушительный ответ: сколько километров отшагал Зырянов в пургу и дождь, по колена в воде и по пояс в снегу.

А ведь бывало и так, что и в этот километраж он не укладывался. Вот прошлый год, например. Стоял холодный и снежный сентябрь. Он пас с напарником свое стадо в районе речки Енретковом. Голов больше тысячи. Дежурили по очереди, отпуская стадо вечерами в распадки, когда унимался овод, и собирая его по утрам. У оленя нет страшной врага, чем овод. Одна матка выпускает до шестисот личинок. По шерсти личинки добираются к волосистой луковиче и там развиваются до взрослых особей, питаясь за счет оленя. При большом поражении оводом олень быстро теряет в весе, болеет, издыхает или же его приходится добывать. Вот почему олень, едва услышав звук овода, похожий на жужжание шмеля, начинает носиться в поисках ветра и часто, теряя голову, инстинктивно бежит в сторону океана.

Нечто подобное произошло и тогда. Однажды утром Зырянов не нашел оленей. Следы вели в сторону Ледовитого. Сбросив сапоги и верхнюю одежду, он кинулся в одних чизах в погоню. К вечеру, пробежав без отдыха почти девяносто километров, вернулся со стадом... Два дня после этого кросса отходил. Вся печенка болела...

С тех пор дал себе пастух зарок не жалеть ни сил, ни времени на профилактику. Конечно, опрыскивать тысячу — полторы оленей — дело нелегкое. Но не поленившись — и спокойнее оленям: привес солидней, значит, мяса сдать можно больше; да и самому мороки меньше, носиться-то по тундре так не придется.

Зырянов научился беречь оленя и от другого хищника — волка. Как-то в его стаде после одного набега волков polegло разом двадцать две головы. Ну, тут у него одна метода: волк охотится на оленя, а он — на волка. «Взял» уже не одного хищника. И олень — вот же умные животные! — поняли, что хозяин их бережет. Теперь выйдет из яранги, гортанно гаркнет что-то, одним сохатым понятное, и несутся они к нему, только пар идет да копыта сверкают. Старики местные все не верили, пока своими глазами не увидели.

А раз в пургу отбилось от стада голов триста. Хоть Зырянова пастухи отговаривали, он ушел искать оленей. И нашел. Только когда возвращался и гнал оленей напрямик, через сопки, в пурге ориентиры перепутал. Из съестного ничего при себе не было. Впроголодь и блуждал, но не посмел забить даже больного теленка, хотя такое право имел. На четвертый день наткнулся на пастухов...

Вот так «взрослая» жизнь Зырянова началась с того, что пришлось постигать все с колес. Не ровен час, мог он завывть волком, или запить горькую, или вообще податься с Чукотки. Но он остался. Видимо, не его это удел стать нытиком и трусом.

В трудностях, в борьбе с природой, в которой побеждают далеко не все даже местные жители, в борьбе с самим собой закалился, а может, и родился заново его характер. Подчас это называют силой воли. Может, и верно. Впрочем, не в том суть, как называть умение человека шагать напрямик и преодолевать трудности и лишения на своей трудовой дороге. Важен результат!

Если мужчина ропщет на свою судьбу, если говорит вслух, не про себя, что ему трудно, если теряет голову, бросается в крайности, забывая о чести и долге, — это уже не мужчина.

Вот по какой заповеди живет нынче Александр Зырянов, уверенный в том, что остальное — и здоровье, и счастье личное, и успехи там разные — приложится. А как он пришел к этому, что он думал года четыре назад, вы теперь знаете.

Битый час стучусь в дверь новой рубленой зыряновской избы, что стоит в центре поселка и, кстати, где бывает он считанные дни в году. Уже дважды я возвращался к председателю колхоза Дмитрию Пантелеевичу Кудрину спрашивать: не перепутал ли он, сказав, что Зырянов приехал из тундры.

— Неделikatные вы, журналисты, люди, — отчитал меня председатель. — К нему молодая приехала, а вы требуете: открой немедленно. Дождись вечера, Сашкина дверь сама распахнется. Человек он гостеприимный. Вечером за мной прибежал чукотский паренек.

— Вас к себе Саша Зырянов приглашает...

Он встретил меня недоверчивой улыбкой в своей просторной избе, еще не обжитой из-за недостатка мебели. В горнице было жарко. Майка облегла его рельефный, узкий в талии торс. Над верхней губой топорщилась полоска усов. Он оказался блондином среднего роста. И в том, как он пожал руку, закрыл дверь, прошел в комнату, подставил, приглашая сесть, стул, протянул, наконец, папиросы, чувствовалась недожимная сила, ловкость, уверенность в себе.

Александр сразу познакомил меня с миловидной, застенчивой девушкой. Сказал просто, что это Галка и она, если ей понравится, будет здесь жить, работать и станет его женой. От этих слов Галка зарделась и сказала с укоризной: «Саш, ну зачем ты? Все же решено...» Осеклась, смутилась и быстро выпорхнула из дома.

Узнав, кто я и зачем к нему пожаловал, он упрямо улыбнулся и сурово сказал:

— Если вам нужен романтик, — не по адресу. Я романтиков, извините, не уважаю...

— А за что, Саша?

— За то, что кричат о романтике на каждом углу, слово доброе позоря...

Все стало на свои места. Таким я и представлял Зырянова по рассказам его односельчан. Можно было, судя по всему, спокойно переключать разговор на любую постороннюю тему. Но я все же спросил:

— Послушай, Саша, ты любишь тундру?

— ?!

— Ты любишь свое дело?

— Черт его знает... Может, да, может, нет...

— Тогда зачем ты областные курсы бригадиров закончил?

— Для порядку... Послал и закончил... Учиться никогда не лишне в любом деле...

— Послушай, Саша, а был у тебя момент, когда все хотелось бросить и уехать?

— Был не был, какая разница...

Прав Кудрин, не любит Зырянов рассказывать каждому встречному-поперечному о своих трудных днях и месяцах. И мне не рассказал. Только сказал, что собирается вступать в партию. Услышав об этом, я порадовался за людей, которые дадут ему, комсомольцу, одному из лучших колхозных оленеводов, рекомендации, порадовался тому, что коммунисты сделают это с легкой душой.

Алла
Гербер

ФАНА- ТИКИ ЖИЗНИ

Рисунки В. Терещенко.



Восьмого марта меня пригласили рассказать ученикам и ученицам одной московской школы о нашей женской доле. Я уходила из школы расстроенная и недовольная собой. Ведь сколько раз говорила себе: никаких выступлений! И вот на тебе, опять согласилась.

Он догнал меня у самой двери, мальчик, которому до смерти хочется выглядеть мужчиной, десятиклассник, которому до окончания школы осталось совсем недолго.

— В чем дело? — спросила я, не дожидаясь его вопроса.

— Совсем пустяк. По случаю женского дня в знак особого уважения хочу обратиться за советом к женщине.

Меня раздражал его тон, и волосы на глазах, и эта усмешка до ушей, и вытянутый (для пущей небрежности) свитер. Все меня раздражало, а больше всего я сама: вместо того чтобы уйти, стою и слушаю этого типа.

— Так что вы от меня хотите? — покорно спросила я, готовая ко всему.

— Простите, — неожиданно растерялся парень, — я, кажется, нахамил, но мне и правда хочется вас спросить. Вот вы вроде пишете о молодых и в самом деле хотите научить нас жить. А если я сейчас спрошу вас: как мне жить?

— Вы это серьезно?

— К сожалению. Знаете, в поездах случайным попутчикам выкладывают душу, когда душа того требует. Считайте, что мы в поезде. Вы сейчас уйдете, и мы вряд ли когда-нибудь увидимся. Так что не удивляйтесь. Душа моя разговора требует. Я хочу вам сказать, что мне шестнадцать. В этом году — в институт... А у меня такое ощущение, как будто взяли меня, взболтали, и все во мне смешалось, сместилось куда-то, все рассыпается! Скажите, за что цепляться, что главное? Где тот стержень, который покажет мне, что я человек, существо единое, неделимое, для чего-то рожденное, кому-то нужное... Ну как, будете смеяться или отвечать?

...Главное. Над этим думали мудрецы всех времен. Главное — для этого рождались, умирали где-то посередине пути, завещав другим продолжать поиски. И мы ищем. А если не будем искать, — значит, не для чего жить. Конечно, есть какие-то безусловные ценности, накопленные человеческим опытом. Есть общие нормы морали, законы человеческого существования. И все-таки каж-

дый из нас рожден, чтобы пройти в жизни свой путь. Хороший ли, плохой ли, но свой. И хотя на свете многое уже было, многое произошло, для каждого из нас все начинается сначала.

Нет, не надо смеяться над мальчиком, остановившим меня у выхода из школы. Хотя, согласитесь, рассыпаться в шестнадцать лет — отчего бы? Что было в нем твердого, определенного, из какого здания посыпалась штукатурка? Он не развалился — он еще не сложился. А время подходит — десятый класс, выбор профессии — вот что сейчас для него самое главное. Как жить дальше? Какое место, какое дело считать своим?

Помогу ли я ему, не знаю. Но поговорить-то ведь мы можем.

☆

В больнице, где я лежала, ее называли доктор Ирочка. Нам, измученным хворобами, желтым от болей, лекарств и больницы воздухом, было приятно смотреть на ее свеженькое личико, накрахмаленный, надушенный халатик, на аккуратно причесанную парикмахерскую головку.

Она не случайно пошла в медицинский. Не традиции семьи, не папины советы и мамыны слезы сделали ее медиком. Призвание, усердие, хорошие отметки, диплом. Ее послали в больницу. Она работает и будет работать до пенсии, но... Но никогда Ирочка не станет врачом.

Доктор Ира не любила волноваться. Нет, она не была ленивой или злой, но зачем портить себе настроение? Зачем пробовать новое лекарство — вдруг больному станет хуже? Зачем делать проверочный рентген, а вдруг обнаружится что-то неприятное?! Пусть больной все узнает сам, когда его выпишут, и ей, Ире, не придется брать на себя грустную обязанность выносить приговор. Ира не хотела нарушить видимость выздоровления, испортить косметику, которую временно наложила на лицо больного.

Она боялась нас, чтобы мы не огорчили ее неожиданным поворотом болезни, чтобы, не дай бог, в ее дежурство кому-нибудь из нас не стало плохо. Повторяю, она не была злой или жестокой, но никто, даже смерть, не имел права нарушить ее безоблачный труд. Да, врач работает ради жизни. Казалось бы, какая светлая, прекрасная работа! Но что за этим? И эффективные, прямо для кино, операции, и действенные, на премию, эксперименты, и литератур-

но-бессонные ночи. Но только ли это? В работе врача больше всего простых, утомительно ежедневных, одних и тех же обязанностей. Тут все: и терпение к больным, и умение выслушивать, и бесконечное расписывание историй болезни, и анализ «анализов», и прощупывание животов, и выслушивание сопел, нет, тысяч сердец. Чтобы их услышать, нельзя постоянно заглушать себя праздничными голосами. Это бьется обычное человеческое сердце. В его шумах тревожный (и далеко не всегда радостный) шум жизни.

Работа эта изнуряющая и порой раздражающая. Работа, когда и впрямь хочется наконец услышать что-нибудь веселое, а у женщины из третьей палаты опять приступ. Работа с клизмами, дурными запахами, гнилыми зубами, колитами, гастритами, мокротами, рвотами. Это необходимость, жестокая необходимость каждый день слышать про боли и страдания. Видеть их. Ненавидеть их. И бороться с ними, чтобы хоть на время, на год, на день вернуть человека к здоровой жизни. И вот тогда — обрадоваться, что спасла, победила, оторвала на время у смерти.

— Ничего не понимаем, — скажете вы, — что же, по-вашему, труд — это тяжкая повинность, временительная необходимость? А как же насчет того, что труд — радость, счастье, истинное наслаждение?

Да, радость и наслаждение, но чаще всего как итог, как награда за необходимость. Если думать, что труд — всегда праздник, тогда не выдержишь его тягот, его физического и нравственного давления. Если ждать от труда сплошь радостей, тогда убежишь от обязательных огорчений, а значит, от риска, от поиска, от всего того, что может причинить боль, разочарование. Но если не рисковать, в чем же тогда конечная цель труда? Если не дерзать, в чем же истоки роста, где дорога к прогрессу?

Я сознательно повторяю истины общеизвестные и никого не удивлю, если скажу, что работать всегда трудно, и учиться трудно, если, конечно, учить, а не «проходить». Гораздо легче рассчитывать на праздник труда, а заметив несоответствие, удивиться, почему это до сих пор не провели в шахту солнце, не охладили заблаговременно сталь, не научили учеников, прежде чем отправить их в школу, не обеспечили врачу бессмертие, прежде чем выдать диплом.

..Постепенно, поняв все это, мы

разлюбили нашу Ирочку. Поверьте, мы не были желчными хрониками — палата наша была молодой, и каждая из нас попала в больницу впервые. Но ее вечная беззаботность, ее запрограммированная на все случаи жизнерадостность сделали ее в наших глазах ненадежной. Мы хотели хоть раз почувствовать ее усталость, увидеть покрасневшие от бессон-



ной ночи глаза. Чтобы та тоска, которая одолевает больного, хоть на минуту передалась и ей. Господи, думали мы, ну хоть бы раз она забыла надуться! В этом не было зависти. Мы ведь тогда еще любили ее и понимали то, чего она никак не хотела понять: праздники кончаются быстро. Чем заполнит она послепраздничные будни, если с первых лет своей рабочей жизни не поймет, как трудно трудиться?

Вспомните, ведь не случайно когда-то работающему человеку (за плугом ли он шел, муку ли молот, картину ли рисовал) встречные, незнакомые уважительно говорили: «Бог в помощь», — и шапку при этом снимали. Бог помогал слабо, но люди-то в него верили и уповали на его помощь. Было в этом и уважение к труду как к делу святому и понимание его тягот, если самого бога призывал народ трудовому человеку в помощники.

Те же, кто в своей эгоистической уверенности думает, что труд — этаким бесконечным карнавалом, и себя унижают и самый труд, а он не прощает легкого к себе отношения.

☆

Недavno пришла ко мне одна десятиклассница — советовать, как попасть на факультет журналистики или в институт кинематографии на сценарный факультет. Она была способная девочка, неплохо писала, много читала, так что желание ее

стать журналистом или сценаристом меня не удивило. Удивило другое: ее собственная аргументация.

— Я бы, может, и в технический пошла. У меня, знаете, и по физике и по математике пятерки, но какая же каторжная ждет меня там жизнь! Ученым я все равно не буду — это точно. А вкалывать где-нибудь на заводе, сами понимаете, не великое счастье.

— Ну, а журналисты или сценаристы, — спросила я, — они что же, по-твоему, не «вкалывают»?

— Нет, конечно, и они. Но у них такая интересная, такая веселая жизнь!..

У этой девочки немало единомышленников. Не одна она полагает, что у представителей так называемых творческих профессий (хотя название это весьма условно) не жизнь, а разливное море, не работа у них, а сплошное наслаждение: сиди и вдыхай фиюмиа славы и успеха. И очень хочется им сказать, что для профессионального, скажем, журналиста труд, между прочим, тоже необходимость. Далеко не всегда писать — естественная потребность, элементарное утоление творческого голода. Может быть, как раз легче не писать (легко пишется разве лишь графоманам). И не всегда «зовут и манят» дальние дороги, и не всегда (как в песне) с сигаретой во рту и машинкой в чемодане, обезумев от радости, летишь на срочное задание. Иногда с такой тоской подъезжаешь к аэродрому, что только об одном и думаешь: хоть бы не полететь. Ну, пусть завтра, через неделю, только не сегодня... А гостинычи! Когда сутками молчит телефон, и надвигается вечерняя «командировочная» тоска, и все вокруг чужие, незнакомые. И знаешь, так будет всегда: и усталость под стук колес, и какой-то насквозь просвечивающий, как в рентгеновском кабинете, вагонный свет, и откуда-то вползающий в тебя самолетный страх («все же на земле спокойнее!»), и монотонный призыв стюардесс застегнуть ремни...

А потом (и это самое страшное) не пишется. Все факты в руках, все материалы собраны, казалось бы, садись и пиши. А не пишется. Хоть убей — ни строчки, ни мысли. И только потом, когда появится наконец в печати много-страдальная статья (сокращенная, отредактированная, с твоими ошибками и чужими поправками), тогда только испытываешь нечто похожее на радость, особенно, ес-

ли есть реакция, отклик, эхо... значит, не зря; значит, что-то все-таки получилось. Получилось — тогда и начинается праздник. Но ведь это потом. А до этого сколько раз все повторится сначала: и ехать до смерти не хочется, и в гостинице нет номеров, и факты не те, и люди тебе не рады (так тоже бывает), и опять (разучилась, что ли, или не умела никогда?) — опять не пишется.

Я знаю журналистов, которые влюблены в свою работу, но временами они ненавидят ее. Может, это и есть настоящая любовь: не слепая, не слюнявая, не по программе праздника, не по счастливому билету, когда все совпадает, а вот такая — неровная, не всегда уверенная, порой мучительная, порой равнодушная, с вечным страхом потерять, с вечным желанием удержаться. Трудная, но все-таки прекрасная, потому что иной не надо...



Встретила я недавно приятельницу, которую не видела много лет. Такая обычная, необязательная встреча, когда люди вроде бы достаточно знакомы, чтобы поздороваться, и достаточно далеки, чтобы не слишком пылко обрадоваться встрече. Но существует ритуал вежливости, который мы соблюдаем; честнее было бы пройти мимо, а не спрашивать друг у друга, «как живешь», когда обоих это мало волнует. Но мы не нарушили этикета: постояли, поговорили. Выяснили, у кого сколько детей, где дети учатся, кого из общих знакомых видим, кого нет... Говорить больше было не о чем.

— Да, кстати, — поинтересовалась я. — Ты тогда ушла из педагогического?

— Ушла? Нет, зачем же, окончила, сейчас преподаю.

— Но ведь ты говорила...

— Да, да, я сразу, уже после первой практики, поняла, что это не мое дело. Но сейчас...

— Что, полюбила?

— Работу? Какое там!.. Но сейчас уже поздно что-то менять. Жду не дождусь, когда все это кончится.

— Но ведь долго ждать. До пенсии еще далеко.

— Что поделаешь? — тяжело вздохнула моя знакомая. — Такова жизнь...

Я слушала ее и вспоминала, как шли мы в институт. Кто с мечтой — туда и только туда! Пусть не сразу, пусть пройдет год, даже два, три, но прийти в свой

институт, куда душа и сердце тянут. А кто со страхом — лишь бы «не потерять» год, куда-нибудь, но попасть. И шли в педагогический те, кто не выносил детей. И в лесной — кто боялся леса. И в биологический — кого тошнило от одного запаха животных. Одни привыкли, развивали в себе интерес



к поначалу нелюбимому делу и в конце концов становились если не поклонниками его, то, по крайней мере, честными подданными. Другие так и не смогли привыкнуть. Напротив, с годами нелюбовь переходила в равнодушие, в озлобление, в ненависть к своей профессии. И все-таки... Вместо того, чтобы собраться с силами, поднапрячься и вырваться туда, где нашли бы себя, они предпочли окопаться в том углу, куда попали совершенно случайно. Им там душно, тесно, узко. Они клянут этот не свой угол, ругают, но... сидят и подсчитывают, сколько потеряно лет...

Только оттого, что когда-то побоялся потерять год, можно потерять всю жизнь. Что может быть трагичнее человека, который до дня последнего обречен заниматься нелюбимым делом? Он засыпает с мыслью: о черт, завтра опять на работу! Он желтеет от отвращения, а чаще от безразличия. Он механически выполняет свои обязанности, быть может, даже выполняет их точно и добросовестно, но какая постоянная борьба с самим собой, постоянное подавление отвращения!.. К чему? К делу жизни своей?

Такие люди быстро стареют. Сколько желчи в них от неиспользованной полезной энергии, сколько злости от бесплодия, бессилия, от бессмысленности! Пустота разрушает, она съедает задолго до физической смерти.

Вы скажете: а что, собственно, за такого волноваться? Да, волноваться вроде бы нечего, если бы «такой» жил сам по себе, один,

где-нибудь на необитаемом острове. Но он несет обязательства не только перед собой, но и перед обществом и тем самым предаёт и подводит не только себя...

Можно было бы пожалеть учительницу, которая не любит свое дело. Но кто пожалеет учеников? Можно пожалеть писателя, который не умеет писать, но кто пожалеет читателя? Кто скалится над зрителем, который пришел слушать настоящего актера и не виноват, что тот когда-то случайно попал в театральный? Ни я, ни вы — никто не хочет лечиться у случайных врачей, смотреть фильмы случайных режиссеров, носить платье случайных портних. Не хочет есть случайный хлеб и жить в случайном доме.

Тогда зачем этот парень идет в педагогический? Он ведь собирался быть энергетиком. Конкурс поменьше? А тот, что сдает в экономический? Он ведь не любит считать. Что, знакомый декан? А почему ты решила подавать во ВГИК? Все говорят, что хорошенькая, но ведь ты так мечтала стать учительницей, а разве учителю противопоказана красота?

Ладно, вы ошиблись, вы поступались не в ту дверь. Так имейте мужество признаться. Имейте силы уйти, чтобы потом не пополнять ряды бракоделов. Не заставлять страдать больных оттого, что не умеете лечить, детей — что не научились учить, новоселов — что «запустили» их в нежилое «жилье».



Кем ты хочешь быть? — спросила я сына. «Героем», — ответил сын и, помолчав, добавил: «Космонавтом». А потом, совсем тихо, покраснев: «Петь хочу, в хоре...»

Вполне естественно, что маленькому мальчику кажется, будто мечтать петь недостойно мужчины. Мы взрослые, но мечта совершить что-то необычное, для людей и себя удивительное остается. И прекрасно. В этом залог долгой молодости, гарантия от преждевременной старости. Кто любит трусов? Кому симпатичны дезертиры? Чей идеал — храбрец до первого выстрела?

Но быть героем, увы, дано не каждому. И не потому, что он не способен, силенок не хватит, характер не тот (мы знаем, что в годы войны героями становились и самые тихие, «кабинетные» люди); просто не все попадают в «героические» условия. Не каждому

выпадает счастливый жребий спуститься в горящую шахту, вытащить из огня ребенка, переплыть в лодке океан или встретиться один на один со шпионом. В жизни действительно есть место подвигу. Но в жизни куда больше места занимает просто жизнь.

Я заранее вижу ваши улыбки: знаем, мол, о чем пойдет речь. Вы хотите сказать, что ждут нас трудности, чтобы были готовы... А мы готовы, всегда готовы, как юные пионеры. И хватит об этом.

А я не об этом. Думаете, сейчас запою старую песню про сытую жизнь, которой надо избегать? Про города, которые будете воздвигать в пустыне, и нефтепровод через тайгу...

Есть трудные профессии и трудные условия, но я не о них. Не о тех девочках-геологах, которые, натянув штаны и взвалив на плечи тяжелые мешки, отправляются искать алмазы там, где их прежде не было. И не о тех, кто, отрезавшись от радостей земных, забирался на вершину Памира, чтобы, может, до конца дней своих работать для земли под облаками. Ко всему этому надо привыкнуть, и мучиться, привыкая, и не у каждого еще получится, потому что все это очень трудно: и целина (как будто писанная-переписанная), и общежитие на новостройке, когда любят за ситцевой занавеской (и порой успевают разлюбить раньше, чем построят первый дом), и грязная чайная вместо городского кафе-мороженого, и тишина села, если привык к городскому шуму, и крик петухов, когда месяцами не слышишь паровозных гудков...

Но есть трудности, о которых не сразу задумываешься; они-то как раз самые опасные. Потому как на первый взгляд невидимые, неоткровенные. С ними не распривыкнешь одним ударом, их с разбегу, на энтузиазме, на порыве не возьмешь. Когда вроде действительно пришли на готовое: и дом, и газ, и детский сад, и оклад приличный, и крыша не течет, и мыши не скребутся, и окно на южную сторону... А человеку плохо. На всем готовом, а плохо. Почему?

...Он окончил техникум, и зовут его Витя. Он прочел немало поучительных книг и мечтал о трудной жизни. Он, как и герой этих книг, терпеть не мог засидевшихся на месте, привыкших к одному стулу. Он хотел жизни яркой и необычной. Пусть бараки, пусть вода со ржавчиной, землянки, черствый хлеб и мороз, который прохватывает до костей, но

чтобы дух захватывало, сердце замирало от опасностей, от борьбы с самим собой, своим страхом, городской неумелостью, интеллигентской неловкостью.

На «распределении» он сказал: «Пошлите меня в Сибирь». И его послали. Он не красовался, не ждал аплодисментов. Хотел поехать и поехал. Он был техником-инструментальщиком и попал на завод. Не самый большой, не самый современный — обыкновенный авторемонтный завод. Ему обрадовались. Его ждали: техники заводу были нужны. Прошло два месяца, и Витя затосковал. Он писал грустные письма. Он сам не знал, что с ним происходит.

Он думал, что жизнь — вечная романтика, опасность, риск. Есть старт, есть финиш. Все, что мешает, преодолевай. Трудности как бег с препятствиями, как барьер, который надо взять.

А на завтра... наступило завтра. «Завтра» по будильнику, по таблице, по расписанию. С перерывами на обед, с набитым в часы «клик» автобусом, с «рапортчиками», с накладными, с руганью мастеров, с пятиминутками у начальников. И ему стало тяжело от этого однообразия дел и дней, от этой жизни от понедельника к понедельнику, от всего того, что, между прочим, и есть жизнь. Если ждать от нее вечных сюрпризов, если не готовить себя к трудностям жития обиденного и обычного — с расчетом на то, что не всем, не во всем и не всегда суждено быть героями, — можно попасть в очень тягостное и тоскливое положение.

Иногда бывает легче совершить подвиг, чем, предположим, долгие годы возиться с одним экспериментом, который весь-то умещается в маленькой колбе. Или всю жизнь пытаться расшифровать смысловую временами рукопись. Или с механической точностью подсчитывать расходы и доходы, или высаживать розы, или мучиться над новым гибридом пшеницы... Или не мучиться, а тихо нянчить детей, или выдавать книги, или продавать телевизоры...

В самой, казалось бы, романтической профессии — моряка — не выдерживает как раз тот, кто уходит в море, захватив с собой десяток-другой морских песенок («По морям, по волнам — нынче здесь, завтра там»), брукли-клеш и глубокое убеждение, что «только смелым покоряются моря». Да, смелость необходима. Воля, отвага, мужество и даже мускулы! Но только ли одно это? В море, между прочим, прежде всего надо работать.

Мне довелось плавать на танкере. И я узнала неписанный устав моряков: или будь человеком, говорят они, или — «с приветом»... Я спросила: «Что это значит, по-вашему, быть человеком?»

— Как что? Вкалывать и нюни не распускать, ребят не подводить...

Они не включили в этот перечень — быть храбрым, отдать по необходимости жизнь, в любую минуту быть готовым к подвигу. По-видимому, они понимают, что выдерживать ежедневные привычные обязанности труднее, чем минуты опасности, когда нервы напряжены до предела, когда все силы собраны в кулак, а чувство ответственности становится главным позывным нашей сигнальной системы.

Заметьте, как быстро бежит человек, даже не умеющий бегать, когда его преследуют, и как трудно бывает ему пробежать даже стометровку просто так, для разминки. Почему мы вскакиваем, когда кто-то неожиданно входит в комнату, и еле поднимаемся, когда нужно встать с постели в положенный час? Что труднее: делать гимнастику каждый день «для себя» или неделю накануне ответственных соревнований? Все труднее, когда идет по заведенному расписанию, по обязательству, по одному и тому же кругу. Труднее спуститься в шахту, чем выйти на-гора, рисовать картину, чем нести ее на выставку, воспитывать и растить ребенка, чем родить его.

Что труднее? Вопрос элементарен — ответ сложнее. Найти и осознать этот ответ надо в начале, а не в конце жизни. От этого зависит, выдержишь ли ты ее повседневность, или она одолеет тебя. Попросишь когда-нибудь «кусочек подвига» или сделаешь подвигом всю жизнь именно потому, что не согнешься под тяжестью ее понедельников, не разучишься радоваться ее воскресеньям.

В научном городке, недалеко от Москвы, но далеко от шума столицы и разнообразия ее развлечений, молодой аспирант из одной дружественной страны сказал мне, что это, конечно, прекрасный городок, но жить здесь могут одни лишь фанатики. Каждый день одно и то же: лица, дома, деревья...

— А в других? — спросила я.

— Ну, там больше впечатлений, возможностей, встреч...

— А в других, — повторила я, — разве не нужно быть фанатиками?

— Фанатиками? Чего?

— Жизни...

Он засмеялся. Он решил, что это шутка.



Анастас Микоян

Бакинское подполье при английской оккупации (1919 год)

Из воспоминаний

НА ЛОДКАХ
В СОВЕТСКУЮ АСТРАХАНЬ!

Как-то на заседании Рабочей конференции вновь возник вопрос о создании Совета рабочих и матросских депутатов. В очень спокойном тоне мы разъяснили депутатам, что в данный момент главное — это укрепление Рабочей конференции, а когда настанет время, Совет будет создан. Этого разъяснения оказалось достаточно.

Через несколько месяцев вопрос этот опять был поднят и на этот раз, как ни странно, по инициативе азербайджанского правительства: кажется, в июле правительство — через Министерство труда — обратилось к Президиуму Рабочей конференции с предложением организовать Совет рабочих депутатов.

Предложение это очень нас удивило. Мы стали думать: какой подвох кроется за этим предложением? И мы поняли, что правительственная партия мусаватистов (кстати сказать, с каждым днем теряющая свое влияние на мусульман-рабочих), лишенная права присутствовать и участвовать в работе Рабочей конференции, видимо, надеется, что с образованием Совета ей удастся через правительственных чиновников и некоторых отсталых рабочих-мусульман быть представленной в этом Совете, тем более что для этого они могли широко использовать обильный арсенал всякого рода подтасовок при выборах, давление и репрессии. Возможно, у них было при этом и другое соображение: создав Бакинский Совет рабочих депутатов, мусаватисты были не прочь постепенно превратить его в свой «послушный» орган, как это очень искусно было сделано меньшевиками в Тифлисе.

Без долгого обсуждения Президиум Бакинской Рабочей конференции отверг это предложение правительства.

Партийная работа в Баку продолжала развиваться вширь и вглубь. Однако она страдала от отсутствия связи с Советской Астраханью, а значит, и с ЦК партии. Мы не получали центральных партийных газет. Партийная касса была пуста, и пополнить ее было неоткуда.

По всем этим причинам мы стали искать путей к установлению связи с Астраханью.

Решили купить рыбацкую лодку, чтобы на ней отправить своего представителя с письмом в Астрахань. Но денег на покупку лодки у нас тоже не было. Как-то в эти дни пришел ко мне член правления Каспийского кооперативного союза — коммунист Шига Иоанесян. «Я знаю, — сказал он, — что вы нуждаетесь в деньгах. Рабочая конференция тоже страдает от отсутствия средств. Я думаю, что вам в этом деле можно помочь». И он рассказал мне, что еще в 1918 году Бакинский Совет рабочих депутатов направил в Ленкорань большое количество узкоколейных железнодорожных рельсов, шпал и вагонок, чтобы помочь вывозу хлеба из «глубинки» в Ленкоранский порт. Но вскоре власть Советов в Баку пала, и все эти материалы остались не использованными по своему назначению. В Ленкорани же до сих пор сохранился уполномоченный Бакинского Совета, в распоряжении которого и находится все это имущество. Иоанесян сказал мне, что, если Президиум Рабочей конференции примет соответствующее решение, он готов организовать через ленкоранского уполномоченного Бакинского Совета продажу всего этого имущества частным лицам, а вырученные от этой операции деньги передать Президиуму Рабочей конференции. Эта операция, заявил он, вполне законна, потому что единственным наследником Ба-

Продолжение. Начало см. «Юность» за 1967 г. №№ 11, 12; за 1968 г. №№ 1, 2, 5, 6, 9, 10.

кинского Совета является Бакинская Рабочая конференция.

На мое замечание, что азербайджанские власти могут всему этому помешать, он без колебаний заявил, что это обстоятельство его не беспокоит: азербайджанские власти в Ленкорани не имеют никакого влияния, иначе они давно бы уже наложили свою лапу на это имущество.

Посоветовавшись, мы решили выдать Иоанесяну соответствующий документ от Президиума Рабочей конференции. Передавая ему этот мандат, я, честно говоря, очень сильно сомневался в удачном завершении этой, как мне тогда казалось, весьма сомнительной операции.

Но, как ни странно, недели через две Президиум Рабочей конференции получил полную стоимость проданного в Ленкорани имущества. Это была для нас большая материальная поддержка.

Покупка лодки стала возможной: заимообразно комитет партии взял у Президиума Рабочей конференции нужную для этой цели сумму денег. Покупка лодки была поручена Исаю Давлатову — человеку очень деловому, опытному конспиратору, умевшему удачно выполнять самые сложные и трудные поручения.

Вскоре Давлатову удалось приобрести рыбацкую лодку, на которую мы посадили надежного моряка Сарайкина с двумя другими матросами и направили их в Астрахань. Сарайкин должен был повезти с собой наше письмо, получить необходимую информацию, а также привезти побольше партийной литературы и «николаевских» денег, которые в Советской России были к тому времени отменены, а в Закавказье ценились еще достаточно высоко — во всяком случае, значительно выше «керенок» и денежных бон, в изобилии выпускавшихся тогда закавказскими буржуазными правительствами.

Лодка удачно пробралась в Астрахань и через четыре или пять недель, во второй половине мая, благополучно вернулась в Баку. На ней прибыло несколько товарищей из Астрахани — Отраднов и другие. Они привезли нам партийную литературу и какую-то (не помню точно какую) сумму «николаевских» денег.

Привезли они также письмо С. М. Кирова, бывшего в Астрахань в начале 1919 года и руководившего там всей работой. Сергей Миронович писал нам, что в Астрахани нет бензина и поэтому имеющиеся там самолеты бездействуют, в то время как деникинцы безнаказанно бомбят Астрахань. Такое же положение было и в других районах Советской России, которая тяжело страдала из-за нехватки бензина.

Мы немедленно взялись за организацию покупки бензина и лодок: это была бы наша лучшая помощь Красной Армии. Вскоре под руководством Давлатова товарищи Губанов, Рогов и Сарайкин организовали знаменитую морскую экспедицию Баку — Астрахань.

Закупать бензин в Баку было очень трудно. Его продажа находилась под неусыпным контролем английского военного командования. Вывозить же бензин из Баку по морю (кроме Персии) вообще было категорически запрещено. Лодки, выходящие в море, подвергались на пристанях самому тщательному осмотру. Однако нам все же удалось наладить и закупку и транспортировку бензина. Сопряжено это было с очень большими трудностями. Каждый раз приходилось добывать у властей разрешение на вывоз — то в Ленкорань, то в Персию — довольно солидных партий бензина, нужно было доставать лодки, подбирать специальные команды и отправлять

их так, чтобы «не к чему было придраться». Благодаря умению Давлатова и его товарищей нам удалось за лето отправить в Астрахань двенадцать парусных лодок с бензином.

Если добывать бензин и лодки и отправлять их из Баку представляло величайшую трудность, то самый путь от Баку до Астрахани был сопряжен со смертельной опасностью. Дельта Волги охранялась военными судами деникинцев. Эти суда все время шныряли по морю. При благоприятной ветреной погоде парусная лодка еще могла быстро пробраться мимо деникинских судов, которые сторожили главное русло Волги, и потом, по второстепенным рукавам реки, добраться до Астрахани. Но при неблагоприятной погоде лодке приходилось долго стоять в море, на виду у деникинских судов. Помню, как одна из наших первых лодок верстах в 35 от Астрахани попала таким образом в руки деникинцам: весь ее экипаж был расстрелян.

На всех лодках, которые мы тогда отправляли в Астрахань, находились преданнейшие люди, подлинные патриоты — надежные коммунисты водного транспорта. Хочу подчеркнуть, что за все то время не было ни одного случая, когда бы кто-нибудь из водников струсил, провалил дело или оказался провокатором. Из экипажа той лодки, который был расстрелян деникинцами, одному из наших товарищей, Мише Судейкину, удалось спастись. Жестоко избитый, он лежал в обмороке среди трупов расстрелянных товарищей. Очнувшись, никем не замеченный, он сумел как-то уйти и смешаться в толпе с большими деникинскими солдатами. Затем с помощью знакомых моряков, раздетый, босой и голодный, он пробрался в Баку. Мы смотрели на него, как на выходца с того света. И что же! Даже и после этого он не только не оставил свою работу, но на такой же лодке снова отправился в не менее опасное путешествие — из Баку в Красноводск, занятый нашими войсками, а с моря окруженный деникинскими судами. Здесь, попав под пулеметный огонь, он опять еле спасся вместе с товарищем Гогоберидзе. Но и в третий раз он (уже с большой группой) в 1920 году пустился в новое опасное путешествие, в блокированный деникинцами Красноводск, на баркасе «Эдичка». Много подвигов совершил и славный моряк Рогов, один из руководящих работников морской экспедиции. Он сам плавал на лодке в Астрахань и обратно. В одну из таких поездок он трагически погиб.

Нужно было знать всех этих товарищей, говорить с ними, наблюдать их в работе, чтобы понять, какие люди были тогда с нами! Это были замечательные сыны нашего героического рабочего класса.

Мне хочется отметить геройски погибшего председателя ЦК союза водников Федю Губанова, лодка которого из-за неблагоприятной погоды попала под Петровском в руки деникинцев. Он был замучен ими и брошен в море. Вместе с ним деникинцы уничтожили всю команду лодки. Так же трагически погиб Буннат Сардаров, член партии с 1906 года. Лодка, на которой он с группой товарищей возвращался из Астрахани в Баку, была захвачена англичанами, и весь ее экипаж расстрелян.

Из двенадцати отправленных нами к концу лета лодок погибло, помню, четыре. И каждый раз в опасный путь отправлялась новая лодка, с новыми людьми, нередко идущими на верную смерть. Много товарищей погибло тогда у нас. С великой горестью я вспоминаю о них...

Отправляя в Астрахань бензин, бакинские коммунисты оказали весьма результативную помощь Красной Армии и Советской России в трудную годину

гражданской войны. Я не говорю уже о том, что благодаря этому нам удалось установить регулярную связь с Астраханью и Москвой, с Центральным Комитетом партии, что для нас было тогда жизненно важно.

РОЖДЕНИЕ ЛОЗУНГА «ЗА СОВЕТСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН!»

Между тем революционные события в Баку нарастали с невероятной быстротой. Одна за другой возникали перед нами, молодыми и еще малоопытными руководителями, политические проблемы, острые вопросы большевистской тактики и стратегии. Трудности усугублялись тем, что мы долго не имели возможности сноситься с ЦК партии и получать оттуда нужные указания. В крайкоме были довольно опытные товарищи, но, постоянно находясь в Тифлисе, они очень слабо представляли себе обстановку в Баку. Они думали, что мы преувеличиваем силы, которые за нами стоят. Мы не могли получить от крайкома конкретных советов, которые отвечали бы на все новые и новые вопросы, каждый день выдвигаемые самой жизнью.

Все это повышало и без того обостренное чувство нашей личной ответственности за свои решения.

Мы были уверены, что главное для нас состоит в том, чтобы закрепить руководство рабочим движением в Баку, готовить, вооружать и обучать боевые отряды рабочих для восстания и захвата власти. Рассчитывали, что сможем приурочить вооруженное восстание к началу навигации, когда к нам на помощь смогут подойти советские военные корабли из Астрахани. Однако мы еще не успели согласовать этот вопрос с Астраханью, поэтому не знали точно, выйдет ли этот флот, а если и выйдет, то когда. Это задерживало решение о сроке восстания: начинать восстание, не получив окончательного ответа из Астрахани, было бы с нашей стороны политической авантюрой, «игрой» в восстание.

Нас, руководящих работников Бакинского комитета партии, волновал вопрос и о том, под какими лозунгами следует начинать восстание. Конечно, под лозунгом борьбы за Советскую власть! Но была и известная «тонкость»: надо было поднимать восстание в сложных национально-государственных образованиях Азербайджана и Закавказья, где второй год существовали три национальных буржуазных государства во главе с мусавистами в Азербайджане, меньшевиками в Грузии и дашнаками в Армении. Какие формы должно принять решение национального вопроса в этих условиях, как сочетать такое решение с лозунгом Советской власти?

Я задавал себе вопрос: какую конкретную государственную форму должна принять Советская власть на Кавказе, какой территорией себя ограничить?

В решении апрельской Всероссийской конференции партии по национальному вопросу было сказано: «Партия требует широкой областной автономии». Аналогичное решение было принято и Кавказским краевым съездом партии в октябре 1917 года.

Но никто еще не дал ответа на вопрос, как областную автономию практически осуществить на Кавказе. Будет ли существовать единая Кавказская и Закавказская автономная область? Если да, то вряд ли сможет решить очень разные национальные проблемы азербайджанцев, грузин, армян и других народов Кавказа. Должны ли сохраниться старые губернии в их нынешних территориальных делениях

или следует избрать какой-то иной принцип деления?

Нам было известно, например, что в Ташкенте победившая Советская власть провозгласила Туркестанскую Советскую Автономную Республику, не внося при этом никаких изменений в существовавшие деления на губернии и области Средней Азии и во внутреннее устройство края. Естественно, возникал вопрос, подходит ли этот пример для нас? Для меня лично был ясен отрицательный ответ. Я понимал, что нельзя не считаться с фактом существования на Кавказе национальных государств. Хотя фактически все они в то время находились под пятой английского оккупационного командования, формально они были независимы. Предполагалось, что оккупационный режим — временный, преходящий. Было ясно, что нельзя одержать победу, а тем более удерживать ее без активной поддержки как азербайджанских рабочих, так и крестьянства и передовой интеллигенции. За небольшой срок существования азербайджанского буржуазного государства народ Азербайджана убедился в том, что он впервые в истории имеет свое собственное национальное государство; это ему нравилось, вдохновляло его. Но, с другой стороны, националистический угар, который был вначале у интеллигенции, а также у части крестьян и рабочих, стал постепенно угасать, потому что сидевшие у власти представители азербайджанских помещиков и буржуазии не только ничего не делали для простого народа, но и еще более ухудшали условия жизни. Не хватало товаров, катастрофически падал курс денег. Промышленность, лишившись русского рынка для продажи нефти и покупки товаров, переживала острейший кризис. Правительство не открыло ни новых школ, ни больниц. Земля по-прежнему оставалась у помещиков, которые, придя к власти, еще более нагло угнетали крестьян. Все это обостряло классовое самосознание рабочих и крестьян, а вместе с тем сближало их с передовой интеллигенцией. Даже буржуазия и служившая интеллигенция чувствовали безвыходность создавшегося положения.

И вот, раздумывая обо всем этом, я пришел к выводу, что в предстоящей революционной борьбе за власть нам, коммунистам Азербайджана, надо выдвинуть задачу превращения Азербайджанского «независимого» помещичье-буржуазного государства в независимое советское социалистическое государство, находящееся в тесной связи с Советской Россией и закавказскими советскими республиками. Нам надо провозгласить лозунг «Да здравствует Советский Азербайджан!» и под этим лозунгом вести массы на восстание.

Я не очень тогда задумывался над тем, какие конкретные формы примут эти связи. Да в этом не было и политической необходимости. Все эти вопросы должны были возникнуть — и возникли — несколько позже, после установления Советской власти в закавказских республиках, и то не сразу.

Твердо убедившись в правильности лозунга «За Советский Азербайджан!», я стал советоваться с разными товарищами по партии, чтобы до официального обсуждения в Бакинском комитете партии узнать, какие могут быть на этот счет возражения. Для русских коммунистов такая постановка вопроса была столь неожиданной, что они не сразу могли понять, почему я выдвигаю этот лозунг. Они забросали меня вопросами: «А будет ли Азербайджан входить прямо в состав Советской России и если не прямо, то каким образом он будет с ней связан?» Было много и других вопросов. Я отвечал, что все национальности, проживающие в Азербайджане, будут иметь равные права и равные возможности для раз-

вития своей культуры, но старался центр тяжести бесед переносить на другое: спрашивал их, «можем ли мы завоевать на свою сторону большинство крестьян, рабочих и азербайджанской интеллигенции, если заявим им, что с победой Советской власти национальное азербайджанское государство существовать не будет?» Такая постановка вопроса производила сильное впечатление. И действительно, если в результате нашей победы будет установлено Советское азербайджанское государство, мы, без сомнения, сумеем привлечь на свою сторону такие слои населения, которые сегодня еще далеки от нас.

Через несколько дней, когда мне стало ясно, что почва подготовлена, вопрос этот был поставлен на заседании Бакинского комитета партии. Комитет после длительного обсуждения одобрил лозунг «За Советский Азербайджан!». Было решено вынести этот вопрос на обсуждение Бакинской партийной конференции. Созыв конференции назначили на начало мая 1919 года.

После заседания комитета мы встретились с Караевым, Гусейновым и Агаевым. Они были очень обрадованы нашим решением: оно облегчало борьбу с мусаватистами.

Бакинская партийная конференция одобрила предложение Бакинского комитета партии: лозунг «За Советский Азербайджан!» стал боевой программой Бакинской партийной организации.

Вскоре мы поехали в Тифлис на очередное заседание Кавказского краевого комитета партии. Тифлисские товарищи, узнав о нашем решении, были крайне недовольны. Они продолжали стоять на позициях старого решения Кавказского съезда партии, принятого в 1917 году, и не хотели признавать никаких самостоятельных государств в Закавказье, хотя эти государства уже реально существовали, и не считаться с этим фактом было невозможно и неразумно.

Помню, что наиболее рьяно против нас выступал мой старший товарищ и друг Филипп Махарадзе, а с ним еще несколько товарищей. Однако сбить нас с нашей позиции в этом вопросе они не могли. Видя их упорство, мы заявили, что поставим этот вопрос на обсуждение предстоящей Общекавказской партийной конференции.

Мы отчетливо понимали, что постановка вопроса о Советском Азербайджане выходит за пределы нашей республики. Если мы правы, то так же должен быть поставлен вопрос и о Советской Грузии и о Советской Армении.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 1919 ГОДА

Приближалось 1 Мая. Нарастал новый подъем рабочего движения в Баку. В связи с этим все мы по горло были заняты рассмотрением и решением массы вопросов, поступавших со всех сторон. Но, несмотря на это, мы одновременно начали серьезную подготовку к предстоящей первомайской демонстрации. Необходимость такой подготовки была вызвана не столько даже тем, что нам хотелось вывести на улицы как можно больше рабочих; в том, что их будет много, мы несколько не сомневались. Но нам надо было решать некоторые другие задачи и прежде всего подобрать достаточное количество надежных и опытных руководителей колонн демонстрантов, которые смогли бы обеспечить должный порядок на демонстрации, не допустить никаких экс-

цессов, оградить демонстрацию от возможных провокаций со стороны полиции и оккупантов и не дать им повода для применения против демонстрантов оружия. Кроме того, учитывая общую скудость наших материальных средств, нам надо было добиться, чтобы рабочие предприятий в самые короткие сроки своими силами и средствами подготовили для демонстрации необходимые плакаты, лозунги и знамена. Мы рассчитывали в этом отношении на самую широкую самостоятельность рабочих организаций. Бакинский комитет партии, например, самостоятельно изготовил свое красное знамя; то же самое сделали районные партийные комитеты, которые к тому времени были уже созданы во всех районах Баку. Президиум Рабочей конференции за счет своих средств сделал с десяток неплохих плакатов, на которых были написаны такие, к примеру, лозунги: «Да здравствует всемирная республика Советов!», «Да здравствует III Коммунистический Интернационал!», «Долой международный империализм!», «Долой контрреволюционеров!», «Да здравствует беспощадная борьба с контрреволюцией!».

Так как английский военный гарнизон в Баку был достаточно большой, мы подготовили несколько десятков плакатов на английском языке с лозунгами о 1 Мая как международном празднике рабочих, как дне солидарности пролетариев всех стран и дружбы пролетариев в борьбе за мир, против колониализма. Помню, что изготовление этих плакатов встретило большие трудности — нам с огромным трудом удалось найти человека, знавшего английский язык. Это был один из сотрудников английского штаба, служивший там переводчиком. Он согласился написать лозунги на английском языке, хотя, как мне потом говорили, сделал это с некоторыми ошибками.

Для придания большей «монументальности» нашей колонне мы наняли три грузовых автомобиля. На одном из них была установлена большая пятиконечная звезда в полторы сажени, на другом — изображена живая картина на тему интернациональности рабочего класса, а на третьем — тоже живая картина: рабочий-кузнец с поднятым молотом. Кроме того, мы организовали из числа сочувствующих нам бакинских музыкантов и певцов весьма неплохой и довольно большой хор.

Тщательная подготовка к проведению первомайской демонстрации проходила, как мне помнится, во всех районах.

План демонстрации приблизительно был таков. Рабочие собираются у себя в районах по фабрикам, заводам и промыслам, проводят короткие митинги и организовано, колоннами, с музыкой, плакатами и знаменами направляются в центр города — на площадь Свободы. В то время не было громкоговорителей, поэтому на площади было устроено сразу четыре трибуны для выступлений ораторов. Колонны демонстрантов, пройдя вокруг площади, должны были направиться по главным улицам города — к набережной и дальше по Садовой, мимо английского штаба и английских казарм — по Николаевской, мимо Азербайджанского парламента к рабочему клубу, где было предусмотрено проведение завершающего митинга, после которого демонстранты должны были организовано и мирно разойтись по домам.

Азербайджанское правительство и английское военное командование, предвидя внушительный размах готовящейся демонстрации и боясь влияния «красной заразы» на умы и сердца своих солдат, запретили им в этот день выходить из казарм. Их там просто заперли.

Утром 1 Мая вышла наша газета «Набат», полностью посвященная первомайскому празднику. Помню, что на ее страницах были напечатаны лозунги:

«Да здравствует международный пролетарский праздник 1 Мая!», «Да здравствует всемирная пролетарская революция!» — и несколько статей, посвященных 1 Мая.

К началу демонстрации около рабочего клуба собрался Президиум Рабочей конференции, члены правлений всех профсоюзов, рабочие городского района, и все вместе мы двинулись на площадь Свободы.

Пришли на площадь, распределили по трибунам ораторов. Площадь была уже полна народу. Подходили все новые и новые колонны из районов со знаменами своих заводов и предприятий, с пением песен и музыкой. Многие рабочие пришли семьями, захватив с собой жен и детей. Когда вся эта огромная масса людей потекла со всех улиц на площадь, картина получилась довольно впечатляющая. На самую площадь эти колонны не проходили, а двигались организовано вокруг площади, но так, что каждая из них прошла мимо всех четырех трибун, с которых каждый район и предприятие встречались приветствиями и речами представителей Бакинской организации партии большевиков, «Гуммета», «Адалета» и левых эсеров. Речи у всех были короткие, вдохновенные; они содержали революционные призывы и лозунги партии. Народ встречал все это с большим подъемом, криками «ура» и бурными одобрениями. Трудно было сосчитать, сколько народу собралось на площади, не говоря уже о том, что все прилегающие улицы были переполнены черной, как нефть, лавиной рабочих, пришедших прямо с промыслов.

В момент, когда колонны демонстрантов стали выходить с площади и двигаться в сторону набережной, неожиданно появилась небольшая группа мусаватистских демонстрантов — человек в 300—400. Они несли синие и зеленые знамена, причем знамена этих было довольно много на такое небольшое количество демонстрантов.

Однако никакого впечатления они не произвели. Рабочая демонстрация спокойно прошла мимо них, своим путем. Впереди головной колонны двигались автомобили с живыми картинами и советской звездой, о которых я уже рассказывал. В первом ряду колонны шли члены Президиума Бакинской Рабочей конференции, представители профсоюзов и партии. На всем пути, пройденном демонстрацией, никто не чинил ей никаких препятствий. Полиции не было видно. Не было также и английских военных патрулей. Мы шли, очень довольные тем, что наша демонстрация проходит так мирно и организовано.

Вдруг вдали навстречу нашему шествию показались два английских танка. Они медленно двигались навстречу нам по центру улицы. У каждого из нас возник вопрос: Что это значит? Что предпринять? Как поступить?

Быстро переговорив между собой, мы, члены Президиума, решили: не отступать ни шагу, если даже танки будут идти на нас своими гусеницами. Мы крепко взяли за руки, еще громче запели и продолжали свой путь. Конечно, мы очень волновались, не зная, чем все это кончится. Но внешне нашего волнения никому не было видно. Мы шли спокойно и твердо: будь что будет! Танки подходят все ближе и ближе. Наступила минута крайнего напряжения. И в последний момент, когда до столкновения оставались буквально каких-то несколько метров, танки неожиданно свернули в сторону, остановились у тротуаров и дали нам дорогу.

Мы были горды своей выдержкой и с еще большим подъемом продолжали свой путь. Через некоторое время на набережной появился большой английский военный обоз с сипаями, который также двигался нам навстречу. Но, подойдя ближе, он тоже

был вынужден отойти в сторону и ждать, пока мимо него пройдет наша демонстрация.

Так, поднимаясь по Садовой, мы подошли к двухэтажному дому с балконом. Это был особняк, хорошо мне знакомый. Дело в том, что годом раньше в этом доме я по поручению Бакинского революционного комитета арестовывал видного нефтепромышленника Тагианосова. Теперь в этом особняке располагался английский военный штаб. На балконе особняка стояли английские офицеры и смотрели на приближающуюся демонстрацию.

Оценив обстановку, мы сразу же приняли решение — организовать перед английским штабом митинг. Я поднялся на один из грузовиков и произнес краткую речь, направленную против военной интервенции английского империализма и его союзников, с требованием ухода английских войск с русской территории и ликвидации оккупации Азербайджана, за ликвидацию колониального гнета, за свободу народов Востока, за победу Советской России над интервентами и контрреволюционерами. Во время выступления я с досадой подумал о том, как жаль, что английские офицеры не знают русского языка и что мы заранее не подумали о таком митинге и не взяли с собой переводчика.

Вдруг, когда я закончил свою речь, на грузовик вскочил молодой парень, видимо, студент, и попросил разрешения перевести речь на английский язык. Мы были очень этому рады. Говорил он громко, уверенно, убежденно. Демонстранты шумно ему аплодировали. Англичане же со свойственным им хладнокровием спокойно выслушали эту речь; видимо, удивились, но в ответ ничего не сказали.

Демонстрация двинулась дальше. Через 200—300 метров мы увидели трехэтажный дом, который был тогда приспособлен под казарму английских солдат. Все окна в доме были раскрыты и буквально забиты головами английских солдат, удивленно смотревших на нашу демонстрацию. Демонстранты шумно, криками и различными жестами высказывали солдатам свою симпатию и дружбу, а наш неожиданно объявившийся переводчик вел с ними разговор по-английски. Вот тут-то и сыграла свою роль «наглядная агитация» — те плакаты, которые мы специально заготовили для английских солдат. Они очень внимательно и с интересом слушали нашего переводчика и читали плакаты.

Потом демонстрация подошла к зданию, в котором помещался Азербайджанский парламент. Здесь мы тоже организовали митинг. Сначала выступил я, потом на азербайджанском языке — Караев. Обращаясь к грузовикам к членам парламента, я, между прочим, сказал: «Господа помещики и капиталисты! Знайте, что в следующий международный майский праздник в этом здании будет заседать Совет рабочих и крестьянских депутатов Азербайджана».

И действительно, на следующий год, за два дня до 1 Мая, в Баку победила Советская власть. В доме, где был буржуазный парламент, разместился Революционный комитет Азербайджана. И первая майская демонстрация прошла в тот день как радостный праздник счастливого, освобожденного народа Азербайджана.

Демонстрация двинулась дальше, к зданию рабочего клуба. Здесь на балконе была установлена трибуна, и снова состоялся большой митинг, закончившийся лишь часам к шести вечера.

Радостные, возбужденные, демонстранты стали расходиться по своим районам.

Надо сказать, что эта демонстрация, как и вообще все празднование 1 Мая в том году, произвела огромное впечатление не только на рабочих, но и на рядовых городских обывателей, которым казалось,

что уже «пришли большевики». Их поражало, что улицы Баку так переполнены рабочими, идущими под своими знаменами и лозунгами, в то время как местная буржуазия и полиция попрятались по своим домам и казармам и, видимо, ничего уже не могут сделать. Это был тогда довольно серьезный сдвиг в сознании всех бакинцев.

ПОДГОТОВКА ВСЕОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАБАСТОВКИ

На следующий день, когда мы собрались в помещении Президиума Рабочей конференции, неожиданно появилась делегация от моряков торгового флота. Они взволнованно сообщили нам, что получили приказ от английского командования подготовить 18 пароходов для отправки оружия, боеприпасов и войск в Петровск, в помощь Деникину для подавления революционного восстания в Дагестане. Некоторые из этих пароходов должны были зайти в Энзели, чтобы погрузить там оружие и отвезти его в Петровск. Делегация спрашивала, как им быть.

Конечно, мы не могли допустить, чтобы англичане помогали Деникину разгромить восстание в Дагестане. Однако мы решили избрать гибкую тактику и отвести от моряков возможные репрессии: дали указание делегации моряков не прямо саботировать выполнение приказа англичан, а заявить им, что они — моряки — не могут выполнить приказа английского военного командования без санкции Бакинской Рабочей конференции, которую они признают как свой руководящий центр. Так и было сделано. Моряки заявили англичанам, что они ничего не знают и слушают только указания Рабочей конференции. «Поэтому идите туда, если конференция разрешит — тогда мы сделаем все, что ею будет сказано».

На следующий день к нам в Президиум Рабочей конференции пришел представитель английского военного командования и заявил, что им срочно нужны эти 18 пароходов и они просят Рабочую конференцию распорядиться об их предоставлении английскому командованию.

Выслушав английского офицера, мы сказали ему, что сами решить этого вопроса немедленно не можем, а должны вынести его на разрешение Президиума Рабочей конференции и что ответ сможем дать только на следующий день.

Обсудив этот вопрос на заседании Президиума, мы решили не менять своей прежней позиции и ни в коем случае не давать англичанам пароходов.

Наутро представитель английского командования пришел к нам за ответом. Мы сказали ему, что, поскольку пароходы нужны им для переброски оружия и войск для подавления восстания, то есть для ведения войны, мы, как противники войны, не можем удовлетворить просьбы английского командования. После получения такого ответа английский представитель ушел, но вскоре вернулся и заявил, что они готовы ограничиться четырьмя пароходами, на которых предполагают перевезти не войска и оружие, а медикаменты и продовольствие. На это мы ответили, что перевозка такого груза в данных условиях представляет собой тоже косвенную поддержку войны и поэтому мы не можем на это согласиться. На том и закончились наши переговоры с английским командованием по вопросу о предоставлении ему пароходов. Для всех было ясно, что фактически с этого началась забастовка торговых моряков.

Надо сказать, что в то же примерно время в Пре-

зидиум Рабочей конференции обратилась делегация бакинских железнодорожников. Они заявили нам о том, что англичане, потерпев неудачу с переброской вооружения морским путем, стараются провезти его в Петровск и Дербент по железной дороге. Но они, железнодорожники, не хотят этого допустить и поэтому спрашивают у нас совета, как им быть.

И в данном случае мы подтвердили свое предложение — ни в коем случае не допускать перевозки вооружения и по железной дороге.

Таким образом, мы оказались не только перед фактом возникновения частичной забастовки рабочих и служащих морского и железнодорожного транспорта Баку, носящей к тому же политический характер, но и вступили в прямой конфликт с английским военным командованием.

Поступающие сообщения из разных районов города свидетельствовали о большой напряженности: рабочие не хотели дальше терпеть создавшееся положение и требовали немедленно начать уже давно подготовленную всеобщую забастовку за коллективный договор. Больше того, на ряде промыслов рабочие, не дожидаясь указаний Стачечного комитета, уже начали экономические забастовки.

Немедленно был собран Бакинский комитет партии для обсуждения сложившейся ситуации. Как и раньше, мы не хотели торопиться с началом всеобщей забастовки, но теперь обстоятельства складывались так, что, если всеобщая забастовка не будет объявлена, начавшиеся забастовки в отдельных районах будут подавлены порознь. К тому же 3 мая истек срок, установленный Рабочей конференцией для получения ответа от нефтепромышленников, правительства и английского командования в отношении коллективного договора и товарообмена в Астраханью. И мы пришли к выводу, что надо объявить всеобщую забастовку с требованием коллективного договора и вывоза нефти в Астрахань.

Все это происходило в те дни, когда мы ожидали в Баку прибытия делегатов на ранее назначенную нелегальную Кавказскую краевую конференцию коммунистов. В связи с создавшимся положением стали поступать предложения о переносе конференции и, следовательно, возвращении ее делегатов обратно по республикам с тем, чтобы провести конференцию после окончания всеобщей забастовки в Баку. Однако существовавшие тогда тяжелые условия работы коммунистов в Грузии и Армении затрудняли такой возврат делегатов и новый их приезд через некоторое время в Баку: это было сопряжено с большим риском их ареста. К тому же у них (как, впрочем, и у нас) не было для этого достаточных материальных средств. Поэтому, несмотря на крайне неблагоприятные условия, мы все же решили партийную конференцию проводить немедленно.

Вечером, после заседания Бакинского комитета партии, состоялась Общебакинская партийная конференция, которая, заслушав сообщение о сложившейся политической обстановке в Баку, одобрила линию, занятую в этом вопросе нашим комитетом партии.

Было решено созвать 4 мая заседание Бакинской Рабочей конференции для принятия решения о проведении всеобщей экономической забастовки. Это не вызвало среди коммунистов никаких споров и было одобрено конференцией без особых прений.

Самым важным вопросом на этой нашей конференции было обсуждение вопроса о лозунге «независимого Советского Азербайджана». Вопрос этот был в свое время предметом споров на заседаниях Бакинского комитета партии, в результате которых мы пришли к определенному мнению, о чем я уже рассказывал несколько раньше. Однако ввиду после-



довавших возражений со стороны Кавказского краевого комитета партии мы выдвинули в майские дни лозунг о Советской власти только в Азербайджане.

Надо сказать, что тогда во всех этих лозунгах не было полной ясности. Как-то стороной обходился вопрос о независимости Азербайджана. Мы считали необходимым, чтобы конференция высказалась по этому важному и принципиальному вопросу, тем более что идеи самостоятельности Азербайджанской национальной республики пустили уже глубокие корни в азербайджанском народе.

Интересы революции настоятельно требовали, чтобы коммунисты взяли на вооружение идею **независимой** Азербайджанской республики, но не буржуазно-помещичьей, а Советской, рабоче-крестьянской, тесно связанной братскими узами с Советской Россией и с закавказскими республиками. Эта наша точка зрения восторжествовала на партийной конференции, хотя надо сказать, что было и довольно много сомневающихся в ее правильности.

Однако решение Бакинской конференции по этому спорному для всего Закавказья вопросу было принято; теперь мы могли уже более уверенно идти на Кавказскую краевую конференцию, открытие которой должно было состояться 6 мая.

Мы были поглощены подготовкой к предстоящей всеобщей забастовке. 4 мая состоялось заседание Бакинской Рабочей конференции. Надо сказать, что выборы делегатов на эту конференцию мы провели по новой системе — по одному делегату от пятидесяти рабочих и служащих. Раньше делегаты выбирались от предприятий вне зависимости от их численности.

В связи с этим состав Рабочей конференции обновился. Поэтому мы сочли необходимым внести предложение об избрании нового состава Президиума конференции. Предложение это было принято. Делегаты избирались персонально с обсуждением каждой кандидатуры. Примечательно, что прошли все кандидатуры, выдвинутые коммунистами, поскольку подавляющее большинство делегатов нас поддерживало. В новый состав членов Президиума Рабочей конференции были избраны Агаев, Анашкин, Азимзаде, Губанов, Ибрагимов, Ильин, Микоян, Чураев; кандидатами оказались избранными Гогоберидзе, Казбеков, Полторацкий и Стура.

С докладом на конференции о проведении всеоб-

щей стачки было поручено выступить мне. Краткое изложение этого доклада было опубликовано в газете «Набат», поэтому сошлюсь на него:

«Как вы помните, товарищи, в 1917 году большевистская власть заставила капиталистов принять коллективный договор. Потом капиталисты вновь вернулись к власти и отказались выполнять тот договор. И вот Рабочая конференция, стоя на страже интересов рабочего класса, приступила к восстановлению коллективного договора. Промышленники думали ограничиться прибавкой в 360 рублей и тем успокоить нас, но рабочая комиссия выработала и предъявила им коллективный договор полностью и билась целых три месяца, чтобы достигнуть соглашения с промышленниками; но даже постоянные соглашения с капиталистами путем переговоров нельзя. Решено было предъявить ультимативное требование до 3 мая. И вот ответ: о ставках — дан отрицательный ответ, правовые нормы — не приняты. Рабочие не могут отступить, перчатка брошена. Надо ее поднять и продолжать борьбу. Коллективный договор нужен, — значит, надо за него бороться.

Но эту борьбу надо рассматривать шире. Ведь коллективный договор существует, поскольку существует промышленность; погибнет она — и договор становится клочком бумаги. А вопрос о бакинской нефтяной промышленности — это вопрос о существовании самого Баку, да и всего Азербайджана.

Все здесь зависит от нефти. Нефть вывозится — есть деньги; значит, есть из чего удовлетворить и требования рабочих. Но в этом году вот уже два месяца с открытия навигации не вывезено ничего. А имеется больше 200 миллионов пудов нефти! При наличии перевозочных средств, как говорят нефтепромышленники, можно вывозить ежедневно лишь 10% ежедневной добычи. Но даже и это вывозить нелегко: Закавказье — Тифлис, Ереван, Батум в таком количестве нефти не нуждаются.

На днях приехали английские и другие капиталисты для организации товарообмена на нефть, но, узнав здешние очень высокие цены, они заявили, что согласны сами давать сюда нефть и по более низким ценам.

Ясно одно: при какой бы то ни было политической ситуации — Баку без России, как и Россия без Баку существовать не могут. Это мнение не только коммунистов, но и азербайджанских властей. Им нужны деньги. А их бонусы стремительно падают. Доверия к ним нет никакого, и не сегодня-завтра азербайджанское правительство ожидает финансовый и экономический крах.

Однако англичане, сидящие здесь, хотят подавить большевиков, хотя они знают отлично, что в конечном счете победят большевики. Зная это, они стремятся, хозяйничая здесь, хоть как-нибудь выручить свои деньги.

Но и они, понятно, не могут вывести из затруднения.

Вот сейчас, например, возник вопрос: откуда достать деньги для уплаты жалованья? — Денег нет,



На снимках (слева направо): Б. Д. Агаев, И. И. Анашкин, Ф. К. Губанов, Г. Ф. Стуруа.

нефть девать некуда. От этого остановится вся жизнь. Это отразится губительно на всем населении. Если даже сейчас приступить к вывозу нефти, то можно вывезти слишком незначительные количества.

Значит, надо сократить добычу. Но при отсутствии вывоза — и это не спасет: нас ждет голод. Кто этому не верит, — пусть вспомнит, когда черный хлеб стоил здесь 15 рублей.

Когда азербайджанское правительство соглашается на товарообмен, англичане препятствуют этому, и бессильное правительство должно им уступить. Они же имеют целью задавить Советскую власть. Они подобны разбойнику, который ворвался в нашу квартиру — грабит и поджигает ее. Бакинский пролетариат должен сам изгнать этих господ!

Мы обязаны выступить и бороться за товарообмен!

Представитель Московского Совета народного хозяйства на днях здесь заявил, что у них — для товарообмена — есть миллиард аршин мануфактуры, обуви и т. п. Значит, товарообмен вполне реален.

Бакинский пролетариат должен идти в бой. Его интересы — интересы всего просвещенного общества, интересы культуры.

Не думайте, что наш враг — английское военное командование — так уж страшен. Ведь английское командование боится своих солдат и не доверяет им, а солдаты не доверяют своему начальству. Лучшее доказательство этой боязни в том, что солдат не выпускали из казармы до 1 мая, а солдаты охотно брали наши летучки на английском языке: ясно, что и среди англичан близка революция, но они здесь слишком оторваны от родины и колеблются, они стремятся домой.

Не доверяя своим солдатам, англичане боятся арестовывать и нас. Победа будет за нами. На нашей стороне — сочувствие всего трудового населения, ибо мы боремся за всех и для всех.

От имени Президиума Конференции я предлагаю сегодня же решить вопрос о вступлении в организованную борьбу, планомерную, без эксцессов, против тех, кто не дает нам вступить в связь с Астраханью.

Конечно, в этой борьбе неизбежны жертвы. Но лучше принести несколько жертв, чем погибнуть потом всем от голодной смерти.

Товарищи моряки уже открыли борьбу. Они не дают пароходов для перевозки войск и снаряжения в помощь добровольческой армии, которая вместе с англичанами хочет задушить дагестанские народы, как и большевиков. И Президиум Конференции приказал морякам не давать ни одного парохода. Английские власти угрожают увольнением всех моряков. Управляющий морским транспортом Браун пишет Союзу работников водного транспорта: «Ссылаясь на Ваше распоряжение от вчерашнего числа, сообщая, что если оно не будет отменено, я буду считать платеж жалования на всех пароходах, кроме почтовых, приостановленным со 2 мая. Кроме того, если пароходы «Ван», «Экватор», «Эльбрус» и «Запад» не выйдут в море, согласно вчерашнему приказу, — я прошу Вас снять всю команду с этих судов».

Моряки будут с нами! Железнодорожники нас поддержат!

Англичане хотят нас задушить голодом. Так не они, а мы их задушим! (Шумные аплодисменты.)»

Вокруг моего доклада развернулись оживленные прения. Выступало много ораторов, и все они, в том числе эсеры, меньшевики, а также правые гумметисты, высказывались за объявление забастовки. Один из ораторов предложил объявить политическую забастовку, другие — и их было большинство — приводили различные аргументы в пользу экономической забастовки. Представитель железнодорожников заявил, что они готовы немедленно приступить к забастовке. То же самое заявили и моряки.

Примечательным было выступление одного рабочего-азербайджанца, Сумбата, который сказал: «Рабочие мусульмане еще не осознали своих классовых интересов. Возможен их откол, и, чтобы избежать этого, необходима специальная работа среди них по разъяснению задач забастовки. Рабочие-мусульмане несут двойное иго мировых и местных империалистов. Раскрепощение их возможно только с помощью русского пролетариата». Моряк Минаев, говоря о предстоящей забастовке, закончил свою речь возгласом: «Да здравствует Азербайджанская Советская власть!» Эти слова, сказанные к тому же русским моряком, вызвали бурю аплодисментов со стороны всех участников конференции.

В своем заключительном слове я остановился особенно подробно на вопросе политической забастовки. Бакинский пролетариат, говорил я, богат традициями всеобщих политических забастовок. Это оружие мы и впредь сохраним в своих руках, и, когда наступит соответствующий момент, мы им воспользуемся. Но требование объявить предстоящую забастовку политической является неправильным и даже вредным. В этой забастовке мы выдвигаем чисто экономические требования — коллективный договор и товарообмен. Приклеивать к нашей забастовке ярлык политической будут наши враги — мусаватисты и оккупанты, чтобы иметь повод для репрессий против бастующих рабочих. Поэтому пока ни одного политического требования мы не выдвигаем. В этой забастовке мы не выступаем ни против азербайджанского буржуазного правительства, ни против английских оккупантов. Конечно, экономическая забастовка может иметь и часто имеет политическое значение, но это не значит, что всякая забастовка становится обязательно политической. Мы должны строго придерживаться в данном случае позиций **экономической** забастовки.

Конференция единогласно приняла такую резолюцию:

«Бакинская рабочая конференция, заслушав доклад Президиума о коллективном договоре и товарообмене с Астраханью для спасения бакинских рабочих и всего населения Азербайджана от неминуемой голодной смерти, полного финансового и хозяйственного краха и во избежание остановки нефтяного производства, вследствие невывоза нефтяных запасов, **ПОСТАНОВИЛА**: во что бы то ни стало — экономической стачкой — добиваться принятия коллективного договора и решения о вывозе нефти в Астрахань. Время как объявления, так и прекращения забастовки, равно и порядок ведения ее, поручается Президиуму и Центральному Стачному. Центральный Стачный избирается в составе: Президиум, по два представителя от районов, по два представителя от профсоюзов, один — от краевого центра профсоюзов, один — от моряков, один — от железнодорожников. Представители партий кооптируются в состав Стачного лишь с правом совещательного голоса».

Надо сказать, что к тому времени Рабочая конференция совсем по-иному стала вести себя с английскими оккупантами.

Вспоминаю такой случай. Во время заседания конференции 4 мая я вышел из Президиума в коридор, где столкнулся с каким-то высоким и толстым анг-

лийским офицером, направлявшимся на сцену в президиум. Думая, что произошло недоразумение и ему просто неизвестно, что в зале идет заседание Рабочей конференции, я сказал ему об этом. Однако получил на это весьма спокойный ответ на хорошем русском языке:

— Я знаю. Но я не раз раньше присутствовал на конференции.

Этот военный оказался капитаном Вальтоном, с которым позже нам приходилось встречаться в различных обстановке.

Я сказал ему:

— Вам там присутствовать нельзя. Впрочем, может быть, конференция и разрешит вам. Подождите, я выясню.

Вернувшись в Президиум, я сделал внеочередное заявление конференции о том, что представитель английского командования желает присутствовать на конференции и что, по его словам, раньше на такие собрания меньшевики его пускали.

Конференция единодушно отклонила просьбу Вальтона, признав невозможным присутствие на своем заседании представителя английского военного командования, и одновременно обратилась к английским солдатам с предложением о выделении к нам своих представителей: Рабочая конференция готова охотно их принять как своих братьев, но она «не может принимать у себя агентов империализма». Это постановление было принято при бурных аплодисментах и криках одобрения.

Вернувшись в коридор, я сообщил Вальтону об этом решении. Он был очень удивлен. Я же попросил его от имени конференции передать нашу просьбу английским солдатам.

5 мая состоялось заседание Стачечного комитета, избранного Рабочей конференцией. Он принял решение о начале забастовки и направил требования бакинского пролетариата председателю Совета министров азербайджанского правительства, в Главный английский штаб (через капитана Вальтона), Совету съезда нефтепромышленников и в копии — всем судовладельцам и промышленникам, а также министру труда:

«Центральный Стачечный комитет, руководствуясь постановлением Бакинской Рабочей конференции от 4 мая с. г., объявляет 6 мая с. г. всеобщую экономическую забастовку и представляет съезду нефтепромышленников следующие требования:

1. Принятие коллективного договора в редакции Рабочей конференции;

2. Установка товарообмена с Астраханью и ряд других экономических требований, которые не удовлетворены.

Если с Вашей стороны будет изъявлено желание удовлетворить предъявленные требования, то Центральный Стачечный комитет готов вести переговоры».

Фактически забастовка на водном и железнодорожном транспорте началась 5 мая, с целью помешать погрузке воинских эшелонов и военных грузов, направляемых в Дагестан для добровольческой армии Деникина, уже начавшей военные операции против революционных горцев.

НА ОБЩЕКАВКАЗСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В БАКУ

Члены крайкома и делегаты Общекавказской партийной конференции собрались в Баку 5 мая. Состоялось заседание крайкома, на котором мы ознакомили приехавших товарищей с нашими событиями. Они одобрили проведение всеобщей забастовки и согласились с нами, что, несмотря на сложную обстановку в Баку, откладывать проведение

краевой партийной конференции нельзя. Однако я и еще некоторые бакинцы предупредили собравшихся, что мы не сможем принять участия во всех заседаниях конференции, так как мы были связаны с руководством забастовкой.

Не помню точно, но в работе краевой конференции приняло участие (вместе с приехавшими делегатами) что-то около 25—30 человек. Из приехавших делегатов на конференцию мне запомнились Махарадзе, Миша Окуджава, Орахелашвили, Назеретян, Шавердян, Торшелидзе, Мравян, Ладондубадзе, Федор Калантадзе, Кахоян, Георгий Стурца, Бесо Ломинадзе. Были и другие, но фамилии их я теперь уже не помню. Были также делегаты из Дагестана и от Северного Кавказа. Конференция проходила на квартире Каспаровых. Помню, что первое заседание мы начали 7 мая в 9 часов утра, приняв решение работать до поздней ночи с небольшими перерывами на еду. Председателем конференции был избран Миша Окуджава, а секретарями — Гогоберидзе и Мирзоян.

Работа конференции началась докладами с мест. Кроме того, было два отчетных доклада: один от крайкома, работавшего во Владикавказе, — о деятельности на Северном Кавказе; доклад этот сделал Филипп Махарадзе. От Тифлисского центра доклад делал Саркис Касьян. Я этих докладов не слышал — подоспел только к прениям, развернувшимся после докладов, так как находился на заседании Центрального Стачечного комитета.

Товарищи выступали с резкой критикой слабых сторон деятельности крайкома как по Северному Кавказу, так и по Закавказью. Мне потом рассказывали, что Махарадзе выступил с очень длинным и скучным докладом, в котором все время пытался объяснить и «обосновать» недостатки в работе крайкома. Говорили, что и Касьян сделал довольно скучный и в целом неинтересный доклад. Не отрицая слабого руководства крайкома, он пытался объяснить все это трудными условиями, созданными меньшевиками в Грузии и дашнаками в Армении, а также нехваткой руководящих кадров из-за отъезда многих на Северный Кавказ.

Я не излагаю здесь содержание доклада о положении дел в Баку и Азербайджане, который был сделан мной на конференции, поскольку из текста воспоминаний это и без того ясно.

Из выступлений на конференции было понятно, что, несмотря на продолжающиеся преследования коммунистов в Грузии и Армении, партийная работа там за последние месяцы заметно оживилась. Возросло влияние коммунистов на рабочих, а в некоторых уездах и на крестьян. В некоторых районах Грузии и Армении шла уже подготовка к вооруженным восстаниям. Власть мелкобуржуазного горского правительства в Дагестане распространялась только на г. Темир-хан-Шуру и Дербент. В остальном Дагестане господствовали повстанческие отряды, которыми руководил Дагестанский обком партии.

Потом в Дагестане начались ожесточенные бои между деникинцами и революционными повстанческими отрядами. Деникинцы заняли Петровск, а затем и Дербент. Мы знали, что в горах Чечни действуют отряды партизан во главе с Николаем Гикало и Асланбеком Шериповым. Что же касается положения в Дагестане, то нам, бакинцам, оно было известно еще до конференции: начиная с марта, у нас регулярно бывали дагестанские товарищи, и мы находились в курсе событий, которые там происходили.

Конференция приняла решение об активной поддержке борющегося Дагестана. Я не говорю уже о том, что стачка моряков и железнодорожников, на-

чавшаяся у нас в Баку в первых числах мая, была фактически стачкой солидарности и поддержки повстанцев Дагестана и послужила большой помехой английскому военному командованию, стремившемуся оказать помощь орудовавшим там белогвардейцам.

На конференции Ломинадзе справедливо критиковал крайком партии за то, что он отозвал из Тифлиского Совета рабочих депутатов группу депутатов-коммунистов, учитывая реакционный характер этого Совета. То же самое было сделано в отношении единственного коммуниста — депутата армянского парламента.

Ломинадзе правильно говорил, что этого делать было нельзя, так как мы лишили себя хотя и плохой, но все же легальной трибуны, с которой мог раздаваться голос коммуниста. (Кстати сказать, когда в марте депутат азербайджанского парламента стал коммунистом, — вопрос о его отзыве из парламента в Бакинском комитете не возникал.)

В ходе прений на конференции центральное место занял национальный вопрос. Началось с того, что Филипп Махарадзе подверг критике решение бакинских коммунистов о «независимом Советском Азербайджане». Махарадзе, не считаясь с новыми условиями, рожденными самой жизнью, продолжал догматически отстаивать в этом вопросе старые позиции первого Кавказского партийного съезда (октябрь 1917 года), считая неправильным решение, принятое бакинской партийной организацией о лозунге «независимого Советского Азербайджана». Естественно, мы, бакинские коммунисты, выступили на конференции с критикой позиции Махарадзе и с обоснованием наших собственных позиций в этом вопросе.

Мы говорили, в частности, о том, что сила «Мусавата» была в том, что он шел под лозунгом независимого национального государства. Если мы возьмем этот лозунг на свое вооружение, но вложим в него наше советское содержание, то мы разоружим «Мусават» перед лицом трудящихся, которые вопреки своим классовым интересам шли за «Мусаватом». Тогда трудящиеся пойдут туда, куда подскажет им классовый интерес. С них спадет пелена национального дурмана. Сейчас, говорил я, возражая Махарадзе, сложилась совершенно иная обстановка, нежели была в 1917 году, хотя и в той обстановке мы неправильно решили этот вопрос, не поддержав идею Степана Шаумяна о разделении территории Закавказья на три области и создании, таким образом, в крае трех национальных автономий. Теперь же все сложилось по-другому. Более года

фактически существуют три буржуазных независимых национальных государства. Хотя независимость у них чисто фиктивная, поскольку их дела крутит английское оккупационное командование, но, несмотря даже на это, нельзя не считаться с самим фактом существования национальных государств. Отвергая же это, как предлагал Махарадзе, мы неизбежно оттолкнем от себя мелкобуржуазные, националистически настроенные слои азербайджанского народа, а без тесного союза с мелкой буржуазией и крестьянством Советская власть не может победить и устоять в условиях Закавказья. Нельзя было не ставить по-новому и вопрос о судьбах Дагестана и других народов Северного Кавказа.

Длительные прения по этому вопросу показали, что мы никак не можем найти общий язык с Махарадзе и поддержавшими его товарищами из Грузии и Армении. Тогда мы категорически заявили, что не можем отказаться от лозунга независимого Советского Азербайджана и лишь в крайнем случае, учитывая имеющиеся разногласия, мы в качестве компромисса не будем выдвигать этот лозунг применительно к Грузии и Армении, с тем, однако, условием, чтобы грузинские и армянские товарищи не выступали против нас. На том мы и сошлись, договорившись, что окончательно этот вопрос будет решаться в ЦК РКП(б).

Конференция продолжала свою работу до поздней ночи. Хорошо помню, что, когда я уходил с этого заседания, уже рассветало. Утром состоялось еще одно заседание, на котором был выбран новый состав краевого комитета партии.

Делегаты съезда разъехались. В Баку на время заставки остались товарищи Стуруа, Махарадзе, Мравян и Ломинадзе.

Вновь избранный краевой комитет принял новое решение по организационному вопросу. По нашему предложению было решено создать Бакинское бюро крайкома. Оно состояло из членов крайкома, работающих в Баку. Нам были даны широкие полномочия принимать решения по всем вопросам, связанным с Азербайджаном, с последующим докладом о них крайкому партии. Такая организационная перестройка была необходима для внесения большей оперативности в руководство быстро меняющимся положением и ежедневным возникновением таких политических событий, которые требовали немедленной реакции со стороны крайкома. Фактически Бакинское бюро стало органом, руководящим всей работой той большевистской Азербайджана.

(Продолжение следует.)



УЧЕНИК, НАЙДИ УЧИТЕЛЯ

Дорогая «Юность»! Прочитав в третьем номере журнала за этот год интересную и важную статью профессора В. В. Кованова «Учитель, воспитай ученика...», я, откровенно говоря, искренне позавидовал ее автору. Ему посчастливилось учиться у таких выдающихся педагогов, как Н. Н. Бурденко, П. А. Герцен, М. П. Кончаловский. Да и сам В. В. Кованов пишет «посчастливилось», именно посчастливилось, выпало счастье, как выигрыш в лотерею. И у меня возникло желание написать в «Юность», так как давно волнует меня проблема учителя, твоего единственного, направление в науке которого — твое, идеи которого тебе близки, как свои.

Научная школа — понятие обширное, включающее в себя людей-единомышленников, способных развивать это направление и быть настолько преданными ему, чтобы отстаивать его, невзирая ни на какие превратности судьбы и нападки (при условии, конечно, что научная ценность данного направления для ученика бесспорна).

Мне кажется, что винокуровские строки, приведенные в статье В. В. Кованова: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться...», — необходимо читать полностью. Ибо только тогда крупного ученого можно назвать еще и учителем, когда он сам воспитает учеников, свою смену, способную учить других, творчески развивать его идеи. Для крупного ученого вклад в науку измеряется не только и не столько количеством научных трудов, сколько созданием своей, оригинальной научной школы, своего направления в науке. А научная школа — это прежде всего люди!

Ведь ни для кого не является секретом тот факт, что наиболее выдающиеся научные школы создавались под эгидой крупного научного руководителя, и создавались преимущественно из людей, преданных ему. Иногда бывает так, что группа ученых, работающих над одной проблемой, становится научной школой, только спланиваясь вокруг талантливого руководителя, всецело увлекаясь его идеями, мыслями. Так было с итальянскими физиками, которыми руководил Энрико Ферми, так создавалась и знаменитая школа Абрама Федоровича Иоффе, объединившего вокруг себя плеяду замечательных ученых,

едва ли не каждый из которых впоследствии возглавил свою научную школу.

Хорошо известны случаи, подтверждающие мысль о важности быть верным идее учителя. Когда Луи Пастер разработал свой метод предохранительной прививки против бешенства, для проверки правильности его теории необходим был эксперимент на человеке. Человек, осуществивший этот героический опыт, говорил: «...я так убежден в правильности ваших прививок, что охотно предоставляю себя в ваше распоряжение». Несомненно, провести такой смертельно опасный опыт на себе мог только человек, безоговорочно веривший в своего руководителя и его научную идею.

Другой, не менее убедительный пример связан со школой русских советских физиологов. Как известно, у Ивана Петровича Павлова была довольно крутой характер. Немногие выдерживали его поистине жесткую требовательность, и только плеяда учеников, верных учителю, могла развить его гениальные идеи и создать то, что сейчас называют Павловской школой физиологии.

Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы каждый молодой специалист, идущий в большую науку, четко представлял себе, что он хочет в науке, — без настоящей заинтересованности, без желания принадлежать к той или иной научной школе не может быть настоящего ученого. И, мне кажется, не нужно опасаться, что принадлежность к определенной научной школе, научному направлению скует инициативу, сузит горизонт, «смажет» проблему. Ибо верность идее ни в коей мере не предполагает слепого, фанатичного следования ей. Такой фанатизм ведет к догматизму. Настоящая верность научным идеям учителя состоит, по-моему, в критическом осмыслении, в творческом развитии идеи. Настоящая верность не терпит фальши. Если идея в конце концов окажется неверной, нужно иметь мужество отказаться от нее. Как сказал один физик: «Из ста возможных путей к истине один оказался ложным, но есть еще девяносто девять, и по ним нужно идти!» А для того, чтобы обладать таким мужеством, нужно быть достойным представителем той школы, которую для себя избрал.

Кроме того, на мой взгляд, большую роль играет и психологический фактор в выборе для себя учителя. Если ты выполняешь научную работу, являющуюся частью большой научной проблемы, разрабатываемой на кафедре, которой руководит твой учитель, то можно не сомневаться, что работа будет выполнена с полной отдачей, максимальным творчеством, и результаты не замедлят сказаться. Но если работа выполняется лишь только потому, что она есть в плане кафедры, если ты до конца не увлечен ею, не предан ей, если тему «подкинул» научный руководитель, вряд ли можно ожидать положительных результатов. Да и сам процесс творчества требует психологической любви к предмету исследования. А любовь к учителю естественно переходит на предмет, которым занимается учитель.

В настоящее время в системе подготовки молодых научных кадров проводятся коренные изменения. Это и широкая сеть студенческих научных обществ, и подключение к творческой научной деятельности студентов младших курсов вузов, и целевые аспирантуры. Но вот ведь какое создается положение: студенты-выпускники или молодые специалисты, решившие посвятить себя научной работе, в подавляющем большинстве своем выбирают для себя профиль работы и поступают в любую аспирантуру, соответствующую избранному научному направлению, зачастую даже не зная, какого взгляда на данную область науки придерживается будущий научный руководитель; получают тему, «отрабатывают» ее и, быть может, только тогда, в финале, неожиданно и в полной мере осознают совершенную ими ошибку. Поэтому выбор научного руководителя или, говоря более общо, научной школы является важнейшим этапом для полноценного развития науки. Времена гениальных одиночек прошли безвозвратно. Современное состояние науки таково, что значительные научные открытия под силу только коллективам, объединенным родством мыслей, идей, стремлений. Поэтому, на мой взгляд, очень важно выбрать себе учителя, научные идеи которого близки тебе. Ибо только в коллективе единомышленников, скрепленном родством душ и идей, возможна по-настоящему плодотворная научная работа. И увлеченные идеей учителя, преданные ей ученики, творчески осваивая и развивая идею, могут создать то, что называется научной школой.

Очень ярко иллюстрирует это положение пример, приведенный в статье профессора В. В. Кованова. Аспирант Саша настолько предан учителю, так верит в него и его научную школу, что только одно слово любимого (не побоимся этого эпитета!) учите-

ля оказывает на него столь сильное трансформирующее влияние.

В этой связи мне хочется рассказать вот что. Я врач. После окончания института работал в Казахстане. Учас в институте, занимался научной работой в студенческих научных кружках. Получил направление в Казахстан и, практикуя там, имел возможность поступить в аспирантуру в Алма-атинский медицинский институт. Но та научная школа, которую представляют сотрудники кафедры челюстно-лицевой хирургии этого института, не очень убеждала меня. Дело в том, что, еще будучи студентом, да и сейчас, работая хирургом в Москве, я заинтересовался работами одного из наших ученых в области восстановительной хирургии лица и решил поступить именно на эту кафедру. Я понимаю огромную занятость ученых и то, что они просто физически не в состоянии поговорить лично с каждым претендентом, чтоб выяснить, подходит ли он для данной научной работы. А как было бы здорово, если бы на кафедрах проводились не только открытые конкурсы, но и такие мероприятия, когда можно было бы просто поговорить с научным руководителем, поделиться своими мыслями. И тогда было бы достаточно ясно, подходит ли данный претендент для научной работы. Пусть это был бы не просто «день открытых дверей», но «день сокровенных мыслей». И, может быть, стоило бы предоставить научным руководителям больше свободы в подборе молодых научных кадров. По-моему, это привело бы к качественному улучшению научной смены. Существующее положение, когда для поступления в аспирантуру достаточно сдать только вступительные экзамены, не может в достаточной мере отвечать современным научным требованиям. Ведь иногда может случиться, что человек, прекрасно сдавший все экзамены, на проверку окажется научно бесплодным, не способным продолжать дело учителя, и тогда не может быть речи о создании научной школы.

Но случается и другое. Ты твердо знаешь, чего хочешь, ты убежден, что нашел своего учителя; ты мечтаешь быть в его научной школе, а открытого конкурса на его кафедру нет. Целевые же направления, как правило, распределяются без учета всех или хотя бы некоторых факторов, в том числе и личных способностей.

Вот и возникает вновь и вновь едва ли не гамлетовский вопрос: как сделать, чтобы посчастливилось, чтобы удалось найти своего учителя?!

Михаил ПАРКАНСКИЙ,
врач





Игорь Губерман

ВЛАСТЬ И БЕССИЛИЕ ЭМОЦИЙ



Рисунки
И. Оффенгендена.

Эмоции (от латинского «потрясаю», «волную») — переживание человеком отношения к окружающему миру и к самому себе.

Из энциклопедии.

В КАЛЕЙДОСКОПЕ ФАКТОВ

Только вчера этот парень схватил большой камень и швырнул его через реку в садовладельца, бывшего мальчонку за кражу черешен. Полицейский вахмистр с удивлением убедился, что бросок камня такого веса на такое расстояние был мировым рекордом, и предложил виновнику повторить. Парень (ему обещали прощение) старательно размахнулся... Брызги взлетели на середине реки.

— Что же ты? — разочарованно вскричал вахмистр. — Небось, наврал, что кинул ты?

Парень ответил фразой, необычайно важной для нашей темы:

— Пусть он снова там станет, я еще раз попаду.

Этот рассказ Чапека исчерпывающе иллюстрирует значение и власть эмоций. Известны бесчисленные случаи, когда испуг или злость удесятворяли силы, позволяли человеку совершать поступки, в спокойном состоянии немислимые, переносить голод и боль, мороз и жажду, ломать железные прутья решеток, рвать толстые канаты.

Влияние душевных волнений огромно: тысячами фактов можно заполнить тома — человечество тщательно вело эту опись, не всегда умея объяснить.

Эмоции резко и необъяснимо сказываются на реализации способностей. Недавно литературоведы при анализе стихов одного известного поэта сделали открытие, над которым стоило бы подумать: те стихи поэта, в которых описывались обычные события, привычные переживания, были ничем не примечательны: стереотипные, с банальными рифмами, стертыми образами и обилием штампов. Но... как только в стихах (причем детских!) заходила речь о наказаниях, побоях, поэт преображался: появлялись яркие слова, упругий язык, точные сравнения. Эмоции обостряли талант на любимой теме.

Вскоре после поймки фашистского палача Эйхмана к нему был допущен журналист. Один из первых вопросов: что почувствовал Эйхман, когда его схватили и он понял, что от возмездия не уйти,—

отчаяние, боль, раскаяние? Нет, ответил Эйхман, громадное душевное облегчение, почти радость. Уже лет пятнадцать он знал, что его ищут, и непрерывный страх ожидания, сменившись определенностью, принес такое неожиданное чувство.

Добрососедство и взаимопереход эмоций несовместимых, противоположных или просто очень разнящихся веками отмечали поэты (Катулл: «люблю и ненавижу»; Пушкин: «печаль моя светла»; Блок: «ликуя и скорбя»). Сейчас о необходимости познания этой стороны работы мозга единым хором говорят физиологи и психологи, кибернетики и врачи.

Неодолимая разумом и волей, становящаяся постоянным настроением какая-либо одна эмоция — нездоровое состояние психики. Стабильная подавленность, непреходящая депрессия, устойчивая опустошенность — это уже болезнь. В таком состоянии находился последний год своей жизни Хемингуэй. Одержимый смертной тоской, он дважды пытался выброситься из самолета, несколько раз загонял последний патрон в ствол любимого ружья. Бдительное вмешательство жены и друзей спасало его. Двукратное лечение в клинике не помогло, и при очередной попытке жена опоздала.

Иногда приступы глубокой тоски беспричинно и вдруг сменяются маниакальным возбуждением. Это вовсе не тот подъем, который именуют вдохновением, — болезненно приподнятое настроение малопродуктивно.

Анализ состояний такого рода давно привел ученых к мысли, что многие болезни психики являются неполадками не разума — аппарата анализа мира, а эмоций. Расстройства, при которых чувства и влечения берут над рассудком верх, опрокидывая его ослабевшие или разлаженные барьеры, известны врачам по проявлениям слепого, яростного буйства, непобедимого отчаяния, неумной сексуальности, звериного эгоизма, маниакальной восторженности. Беспричинные и непреодолимые тоска, радость или страх служат, возможно (и вероятно!), стержнем, на который разум услужливо наматывает подходящие мысли: о преследовании, о неизвестной вине, о величии и могуществе и десятки других идей, зависящих от характера и уровня интеллекта.

Что происходит в нормальном, здоровом организме, в котором волей судьбы (просто по душевному складу или по стечению обстоятельств) постоянно

преобладают положительные эмоции? Кажется, ничего дурного, хотя лично автору не доводилось видеть людей нормального разума, настроенных постоянно благодушно. Что же до эмоций отрицательных, то их длительное преобладание не сулит организму (организму в целом!) ничего хорошего.

В Сухумском обезьяньем питомнике ученые проводили некогда эксперимент, о котором снят фильм, выразительный и печальный. Огромный, красивый гамадрил Зевс имел все основания испытывать довольство и счастье: в стаде он был сильнее всех и, естественно, ходил в жоках, а его подруга Богема была нежна и послушна. Время от времени люди забирали Зевса из групповой клетки в камеру, где обучали условным рефлексам: по звонку он нажимал на рычаг, на белый свет бежал к кормушке, а на красный делал что-то еще. Всему этому он научился быстро и снисходительно выполнял требуемое, неукоснительно получая награду.

Для начала его лишили верховодства — вместе с Богемой он был отсажен в отдельную клетку.

Вскоре, вернувшись с очередных занятий в камере условных рефлексов, он обнаружил, что Богема сидит в соседней клетке. Это уже было слишком! Он кидался на решетку грудью, рвал ее лапами, звал Богему к себе. Напрасно.

Оскорбления продолжались: Богеме первой дали еду! Раньше Зевс неторопливо съедал все самое вкусное, а стадо почтительно толпилось вокруг, ожидая своей очереди. Тот же порядок соблюдала, естественно, и Богема. Теперь, несколько минут недоуменно просидев возле пищи, она опасливо стала есть первой. Зевс, бессильно рыча, метался по своей клетке.

Дальше — больше. Его начали отрывать ото сна. Будто кто-то свихнувшийся, перепутавший ход суток заставлял теперь и Зевса вращаться в противостоенном колесе работы в ночное время. Его безжалостно будили, уносили выполнять заученное и только потом отпускали спать.

Однажды, вернувшись с работы, он увидел в клетке Богемы нового повелителя. Напрасно Зевс кидался на решетку и кричал то яростно и злобно, то жалостно и тоскливо.

А в ночное время его продолжали будить и часто обносили едой, и Богемы уже не было, и от восторгов власти остались одни тревожащие воспоминания.

Зевс затосковал. Он уже не знал, с какой стороны последуют новые напасти. Постоянный страх, подозрительность и покорное ожидание бед стали неизменными спутниками его угрюмого существования. Куда девалась его бывшая веселость, общительность и доверчивость, его бывшая работоспособность, смекалка и даже инициатива! Он выполнял теперь задания кое-как, лишь бы отделаться, часто путался, часами угрюмо и апатично сидел в углу, лишь бы отбыть в камере заданий положенное время.

Приборы беспристрастно зафиксировали: предынфарктное состояние. Испорчено сердце, высокое кровяное давление, повышенная раздражительность и нервозность, общее ухудшение здоровья.

Эксперимент продолжался: Зевсу вернули Богему (о, как быстро она была прощена!) и обоих посадили к стаду. Двумя ударами Зевс поставил на место карьериста, вздумавшего руководить стадом вместо него, от радостного волнения съел тройную порцию еды (стадо почтительно сидело вокруг) и... полностью выздоровел.

В опыте с Зевсом было продемонстрировано, к чему ведет преобладание отрицательных эмоций. Здесь работал многообразный набор: ярость и страх, ревность и зависть, злоба и тоска.

Американские психологи даже попытались некогда помочь людям во избежание сердечных расстройств выместить, отработать отрицательные эмоции — как выпускают из котла лишний пар (общее известно, что порой, когда покричишь или поплачешь, становится легче). Был заведен целый музей резиновых фигур, разнящихся ярлыками-этикетками: домовладелец, полицейский, начальник, мастер, жена, теща, завистник, клеветник, сосед. Фигуры можно было щипать, кусать, обливать кипятком, бить, бросать в них тухлые яйца. Как развлечение это действовало, но успокоения не приносило.

ПСИХИКА, СОЗНАНИЕ, КНОПКА

В 1924 году швейцарский физиолог Гесс вживил в мозг нескольких кошек тончайшие трубочки, через которые вводил разные химические вещества, наблюдая изменения в поведении подопытных. Успех привел его к мысли о возможности раздражать разные области мозга электрическим током. Через двадцать пять лет за эту перспективную методику исследований он получил Нобелевскую премию. Поток открытий нарастал лавиной.

Ошибка Колумба, стремившегося в Индию и открывшего Америку, столь же счастливо и закономерно была повторена пятнадцать лет назад физиологами, которые, не вполне освоив технику точного введения электрода в заданное место, попали в другое. Еще не зная, что материк не Индия, матросы Колумба сошли на берег. Ученые, предполагая, что попали, куда целили, приступили к опытам.

Содержавшаяся в большом ящике крыса, случайно приходя в один из его углов, получила электрическое раздражение в ту зону мозга, куда был введен электрод. Получив такой укол, крыса начинала метаться по ящику, явно что-то разыскивая. Сначала было неясно, что она ищет, но после непрерывных возвращений в угол, где следовал укол, стала ясной необходимость в специальном эксперименте.

В большой клетке был установлен маленький рычаг, нажимая на который крыса замыкала электрическую цепь и получала импульс тока через электрод, вживленный в найденную зону мозга. Если бы при этом крыса ничего не чувствовала, она нажимала бы на рычаг только случайно — не чаще, чем ее подруги, гуляющие по клетке и изредка равнодушно трогающие рычаг лапой. Если бы доставлялось удовольствие, крыса возвращалась бы чаще.

Но она так и не отошла от рычага! Она буквально плясала на нем. Еда и питье уже не интересовали ее, она валилась от изнеможения, немного спала и снова бросалась к рычагу. Нажатие — электрический укол. Теперь надо отпустить рычаг, снова подготовить цепь тока. Потом — опять нажатие. Эту нехитрую последовательность зверек усвоил немедленно. Частота барабанных ударов лапой доходила до нескольких тысяч в час! Если ученый на время разрывал цепь, крыса, несколько раз яростно ударив рычаг, разочарованно отходила. Спала, чистилась, ела. Но время от времени подходила проверить.

Сейчас такие опыты проделаны уже на морских свинках, кошках, обезьянах, дельфинах, собаках. Зоны удовольствия найдены у всех, и разнообразие экспериментов позволяет исследовать самые разные стороны психики.

Крысе, очень долго перед экспериментом голодавшей, был предоставлен выбор: любимая пища или рычаг. Крыса предпочла удовольствие.

Чтобы добраться до заветного рычага, надо было пробраться по металлической решетке, больно бью-

щей по лапам электрическим током. Перспектива такого удара, бывало, останавливала крысу, которая после суточной голодовки видела по ту сторону решетки еду. Увидев рычаг, она без колебаний пошла на муки пробуждения. Так был опровергнут известный афоризм о том, что только человек способен перепахать море слез, чтобы получить каплю радости.

Раздражение сходных зон производили и у человека. Больные говорили об успокоении, радости, удовольствии. Исчезали упорные, длительные боли самого разнообразного происхождения, удалось даже добиться просветления рассудка у нескольких психотропиков, давно невосприимчивых к лекарствам. Это подтверждало догадку об эмоциональном происхождении ряда психозов, хотя вовсе не вскрывало пока их механизм.

Зоны удовольствия оказались в тесном соседстве с зонами ощущений неприятных и болезненных. Однажды прикоснувшись к рычагу, подавшему сюда раздражение, крыса и обезьяна с тех пор тщательно избегали его. Больные, у которых были в эти зоны вживлены электроды (с целью лечения или постановки точного диагноза), говорили о страхе и тоске. Это были ощущения, ничем не объяснимые, не относящиеся ни к каким событиям (так же, как и при раздражении зон удовольствия). Беспричинная радость, беспредметная тоска, безотчетный, немотивированный ужас.

Области неприятных эмоций в отличие от центров радости, «старт-зон», были названы «стоп-зонами». Широкое поле новых исследований стремительно простерлось далеко за вчерашнюю линию горизонта. Найденный журналистами образ — рай и ад находятся рядом в нашем мозгу — ярко подчеркнул необъятность Вселенной психики. Зоны удовольствия и наказания, положительных и отрицательных эмоций расположены под корой мозга, в так называемой лимбической системе, к изучению которой только в последние годы ученые приступили вплотную. Кстати, приятно отметить, что зон радости у мозга гораздо больше: из сотен исследованных точек только пять процентов оказались зонами наказания, а тридцать пять — одобрения. Остальные нейтральны.

Впрочем, уже проделаны эксперименты, в которых показано, что длительное раздражение зоны удовольствия чревато внезапным появлением болезненных и неприятных ощущений.

Стадо обезьян, абсолютный хозяин в котором сильный и злобный самец. За малейшее непослушание

он жестоко наказывает укусами и побоями. Вот маленький макак чем-то провинился перед вожаком и в страхе забился в угол. Злобно ворча, вожак приготовился броситься на ослушника. Нажата кнопка. Вожак вяло и расслабленно, будто забыв о своем гневе, очень мирно бродит по клетке. Подданные, случайно задев его, еще по привычке вздрагивают, но наказание каждый раз предотвращается нажатием кнопки, и они смеются. А к вечеру выявился новый вожак. Нрав свергнутого каждый раз усмирился раздражением глубинной структуры, мягкотелый, он уже не годится для власти в стаде.

Арена старинного цирка в древнем испанском городе Кордове. Здесь обычно устраиваются корриды. И сейчас бык, с налитыми кровью глазами, низко наклонив голову и взметая песок, бросается на спокойно стоящего человека. В руке у человека передатчик (антенна походит на шпагу), а на ошейнике быка крохотный приемник, усилитель и пучок проводов к электродам. Нажата кнопка. Бык застывает на месте и мирно переступает с ноги на ногу. Он добр, как пожилая корова.

Кнопочный контроль психики... Угрожает ли он человечеству? Нет, отвечают ученые. И вот их доводы.

Человек отличается от животных наличием сознания, способностью обдумывать и анализировать свои влечения и чувства, не давая им выйти за пределы, установленные человечеством за тысячелетия разумной жизни и с ранних лет прививаемые детям и подросткам. Сознание, этот результат общения людей друг с другом, укрощает инстинкты и эмоции, делая человека человеком. Во всех странах во все века были борцы за идеи, преодолевавшие сознанием, преданностью убеждениям даже муки пыток и истязаний. Об одном из таких людей я напомним, и, думаю, мы обойдемся без комментариев.

В 1907 году, чтобы закупить и тайно переправить в Россию оружие, приехал в Берлин двадцатипятилетний революционер

Камо. Вскоре он был схвачен полицией. Ему угрожал суд и выдача царской охранке. Камо симулировал сначала буйное помешательство, а потом — нечувствительность к боли. Его кололи иглами, жгли тело добела раскаленным металлом (шрамы остались на всю жизнь). Он не только не издал ни звука — он в это время разговаривал и смеялся. К сожалению, психиатры профессионально заинтересовались этим чудом, и слепая любознательность ученых оказалась на руку палачам. Невозможно описать муки, которым



поддержался Камо. Но он перенес все. Выдержка ни разу не изменила ему. Через четыре года ему удалось бежать.

Общезвестна биография великого мыслителя Томаса Кампанеллы, прославившего среди инквизиторов человеком, равнодушным к пыткам. Человеческое сознание выше биологических реакций.

А исследования психики и поведения с помощью вживленных электродов стали (развиваясь и совершенствуясь с каждым днем) мощным инструментом познания мозга, его анатомии, управления и взаимосвязи областей. И, в частности, инструментом фиксации, определения эмоций, ибо даже эта задача была вовсе не из легких.

ОБЛАВА НА ЧУВСТВА

Говорят: глаза — зеркало души. Это — распространенное заблуждение, одна из давних попыток как-то узнавать чувства, обуевающие человека. Толстой описал восемьдесят пять оттенков выражения глаз и девяносто семь разновидностей улыбки. Глаза, а также мимика, жесты, интонация, дыхание — вот показатели, по которым мы судим об эмоциях собеседника. Помимо этих внешних показателей, есть и другие — биение сердца, пульс, кровяное давление. Один физиолог говорил когда-то, что с помощью прибора, вычерчивающего кривую биения сердца, умирающий мог бы с легкостью установить искренность опечаленных наследников.

С появлением приборов, записывающих биотоки мозга, обострилась надежда связать прихотливые кривые биотоков с чувствами, которые в это время переживает испытуемый. В хаосе этих электрических волн был обнаружен и выделен так называемый ритм, который удается четко найти в некоторых глубоких структурах мозга. Его постоянное соответствие эмоциональным переживаниям приковывает сейчас внимание многих нейрофизиологов.

В этих исследованиях недавно появился найденный ленинградскими учеными еще один многообещающий, прямой способ измерения чувств. На шкале прибора, созданного для таких измерений, нельзя было бы обозначить страх или ненависть, любовь, жалость и тоску, но точно разделить эту шкалу на чувства положительные и отрицательные удалось бы вполне. Это открытие может стать важным инструментом дальнейшего познания.

Одной из больных с целью постановки точного диа-

гноза ввели пучок тончайших золотых проволочек-электродов. Между двумя различными глубинными областями мозга прибор показал постоянную разницу электрических потенциалов. Когда во время очередного исследования настроение больной по какой-то причине изменилось, уровень потенциала тоже сдвинулся. Замеченный факт подал идею о целой серии подобных экспериментов.

В зависимости от знака потенциала (понятие чисто условное, чтобы обозначить, вправо или влево от нуля шкалы пошла стрелка гальванометра) уровень называли позитивным или негативным. Отрицательные эмоции увеличивали один уровень потенциала, положительные — другой. В случае, когда уровень указывал на положительные ощущения, подачей портящих настроение сведений его удавалось сбить. И соответственно наоборот: радостные эмоции снижали или нейтрализовали угнетающие чувства.

Для этих экспериментов эмоции надо было вызывать по требованию — пошли в дело старые исследовательские приемы психологов. Больной показывали карточки с цветными пятнами. Там были то светлые и радужные, то пугающие, мрачные тона. Попутно ей задавали вопросы, не вызывают ли у нее расцветки каких-либо воспоминаний, какие мысли и чувства они ей навевают. Показывались картинки с заведомо приятным содержанием: дети, герои сказок, симпатичные звери. Показывали и заведомо неприятные, тревожные фотографии: войны, фашистские злодеяния. И, наконец, пользуясь знанием биографий и профессий больных, устно им сообщали специально составленные сведения, сулящие им радость или огорчение.

Если цветные пятна вызывали довольно слабый сдвиг, то ответ на картинки и фотографии был гораздо явственней, а устные сообщения резко и отчетливо сдвигали вверх или вниз уровень потенциала, давая возможность (впервые в истории науки о мозге!) объективно, по прибору судить о силе эмо-

ции. Не только о силе, но и о длительности — после сильных воздействий потенциал еще долго не возвращался к исходному уровню, и только успокаивающим разговором его удавалось сбить.

Этот уровень (уже как-то явно отражающий эмоции) удавалось сдвинуть и воспоминаниями, правда, только в случае, если испытуемые вновь переживали прошлое. Особенно это удавалось одной больной — актрисе, легко вживающейся в свои воспоминания или заказанную эмоцию.



Такая фиксация чувства прибором — первые, но ценнейшие шаги на пути возведения психологии в высокий ранг точных наук. Несмотря даже на то, что в области эмоций остается пока открытым самый существенный вопрос.

ЧТО ЖЕ ОНИ ТАКОЕ!

Перечитайте еще раз эпиграф к этой статье, пригласите к себе эрудированного соседа и спросите: что такое переживание? Он ответит: — Переживание — это наши чувства, ощущения, состояния, настроения, ну, одним словом, эмоции. И круг замкнулся.

Психологам пришлось труднее всех. Физиолог мог заявить: меня не интересует название эмоции, я вижу, что происходит в организме с сердцем, пульсом, дыханием, обменом веществ, и это единственно важное, что определяет для меня состояние человека. А психологу приходилось иметь дело с внешним выражением переживания и рассказами человека о его личных чувствах и ощущениях. Для понимания механизма это ничего не давало.

Не случайно поэтому возникла даже некогда парадоксальная теория, ставящая, казалось бы, проблему эмоций с ног на голову: не потому мы дрожим и обливаемся холодным потом, что нам страшно, а потому нам страшно, что тело наше дрожит; не потому мы сжимаем кулаки и напрягаем мышцы, что мы озлоблены, а, наоборот, чувствуем гнев и ярость потому, что наше тело пришло в возбужденное состояние. Не правда ли, парадокс? Однако парадокс — это почти всегда хвост заатавившейся истины.

Кстати, вообще нужны ли эмоции? Ведь гораздо лучше выполняет свое дело тот, кто совершает его абсолютно хладнокровно, с полным самообладанием.

Ответ на этот вопрос носит пока косвенный характер, но он достаточно убедителен: эмоции нужны, ибо в противном случае естественный отбор давно и безжалостно вырубил бы этот ненужный придаток психики, непонятное излишество эволюции. А эмоции становятся все тоньше и острее, они развиваются и властно влияют на нашу жизнь.

Бросается в глаза одно из главных проявлений эмоций: приведение всего организма в форсированное, возбужденное состояние готовности. Обостряется внимание (зрение, слух, все чувства сразу), мышцы готовы к работе, в кровь щедро выбрасываются необходимые для интенсивной деятельности вещества: сахар — топливо мышц и норадреналин — побудитель их активности. И это одинаковое состояние наступает при совершенно различных эмоциях.

Естественно возникает вопрос: может быть, организм каждый раз приходит в соответствующее предстоящей деятельности состояние, а сигналы, сообщающие об этом сознанию, истолковываются им (сообразно ситуации) ощущениями различных эмоций? Эмоций, свидетельствующих о боевой перестройке, мобилизации организма или о его погружении в расслабленное, недееспособное состояние (тоска, уныние, самодовольство, блаженство)? А может быть, наоборот: именно эмоция (страх, гнев, радость) вводит в действие резервы?

Споры об этом еще не кончены.

Есть у эмоций еще одно назначение. Давид Коперфильд с первой встречи чувствует неприязнь и отвращение к Урии Гипу, Джульетта и Ромео стремительно и неожиданно влюбляются друг в друга; то же происходит с опытным вором Джимми Валентайном (героем О'Генри; влюбленность заставила его бросить воровство). Не явились ли эти чувства следствием мгновенной взаимооценки?

Но оценка человека — это оценка собственных жизненных ситуаций, связанных с этим человеком. Это часть общего предвидения будущего, которым, по сегодняшнему мнению ученых, непрерывно занимается мозг. За бодростью или разочарованием, жалостью, гордостью или досадой можно всегда найти взвешенные на каких-то подсознательных весах и вполне оцененные будущие обстоятельства, которые человек предвидит (с определенной степенью вероятности). Тревога и злость, подозрительность и отвращение, доверие, симпатия и уважение — все это оценки, баллы, плюсы и минусы, которые ставит многообразию жизненных событий, людей и предметов мозг, вооруженный прошлым опытом, но постоянно нацеленный в будущее.

(Здесь необходимо подчеркнуть отличие эмоций, чувств в биологическом смысле от чувств социальных: патриотизма, чувства долга, свободы, мужества, достоинства и других нравственных качеств. Перечисленное не чувства в биологическом понимании слова: это наши взгляды на мир, установки поведения, впитанная с детства система понятий и мировоззрения. А потом эти установки сталкиваются с жизнью и отмечаются эмоциями, укрепляющими или подправляющими заученное. В школах всех стран детям внушаются понятия о гражданских правах и обязанностях — естественных и древних атрибутах государства. Но первые же столкновения с возможностью реализации прав и необходимостью выполнения обязанностей оцениваются положительными или отрицательными — подтверждающими или останавливающими эмоциями. И вся система социальных понятий, изустно внушенных с детства, мгновенно перестраивается, перековывая человека для действительности. Механизм управления поступками, за века настроенный эволюцией на выживание в любой среде, с помощью аппарата эмоций строит поведение человека, живущего в обществе.)

Шкала этих регуляторов поведения, эмоций-оценок невероятно велика: длина перечня зависит, наверно, лишь от богатства языка. Оттенков чрезвычайно много, хотя все они являются смешением всего двух, главных — хорошо или плохо. (Так при трех основных цветах — красном, желтом и синем — художники насчитывают тысячи тончайших оттенков.) Об этом гениально догадывался Спиноза: множество эмоций (он писал — аффектов) выводится всего из трех: радости, печали и желания.

Однако почему мы все время говорим о будущих ситуациях и действиях, которые мозг, сверяясь с архивами опыта, оценивает баллами эмоций? Потому что радость по поводу свершившегося или сделанного, тоска по утрате и страх — это, в сущности, оценка того, что ближайшее будущее спокойно или чревато осложнениями. Мозг нацелен в будущее, пройденное уже не грозит опасностями; все, что было, уже достояние памяти, кладовая опыта, а малейший недосмотр будущего — возможная потеря всего. Эволюция должна была воспитать в аппарате управления именно это качество — устремленность вперед, постоянную самоорганизацию. И в непрерывной, всеобщей, генеральной оценке будущих ситуаций незаменимую роль играет механизм эмоций. Однако, несмотря на множество гипотез, до сих пор неизвестно, как этот механизм устроен.

В науке более чревато урожаем поле, усеянное знаками вопроса, а не восклицания. На исследования эмоций вышло в настоящее время такое количество ученых, что недолго останется прогнозом уверенность одного из лидеров поиска: «Мы закроем брешь между нашим пониманием атома и нашим пониманием мозга».



Хайбула Абдулгашуров:

Быть честным перед самим собой

Драма «Горцы» в Аварском театре — один из лучших спектаклей, подготовленных театрами Дагестана к 50-летию Октября.

Все в этом спектакле: облик людей, их чувства, быт — предельно достоверно. Закрылся занавес, и тут я узнал, что этот глубокий, умный, с хорошим вкусом сделанный спектакль — дипломная работа режиссера Хайбулы Абдулгашурова, выпускника Тбилисского театрального института.

Хайбула о себе рассказывает:

— Я вырос в ауле Ратлуб, самом высокогорном в Дагестане. Он находится на одном из склонов Эльбурса. Весь аул, как один многоэтажный дом: сакля над саклей.

— Как в спектакле «Горцы»?

— Да, там изображен наш аул. Художник спектакля не бывал в горах. Я подробно ему рассказал про Ратлуб, принес фотографии, и он довольно верно все изобразил. Раньше из аула мало кто уходил. У нас говорили: если у человека есть хинкал (пицца), ему незачем идти даже в соседний аул. Недавно у нас умерла одна 90-летняя старушка. Она гордилась тем, что ни разу не была за пределами родного аула. Да и уйти нелегко: сзади и с боков неприступные скалы, впереди — пропасть. Отрезанность даже от соседних селений привела к тому, что у нас в ауле говорят на своем, ахвахском, наречии. И хотя мы

аварцы, но аварский язык у нас в ауле называют языком гостей. Кино к нам первый раз привезли в 1953 году. Мы узнали, что в селении четырьмя километрами ниже нас показывают кино. В наш аул машина-кинопередвижка подняться не могла. К нам вела тогда лишь выючная дорога. Тогда киноустановку и мотор погрузили на мулов и доставили к нам. Фильм крутили на главной, она же единственная, площади аула — там, где собираются мужчины и толкуют о своих делах. Кино всех потрясло. Одна старушка не смогла прийти на площадь. Но когда ей говорили, что она не видела кино, она возмущалась: «Как же не видела, видела свет и кто-то громко на весь аул разговаривал». Мне было тогда 11 лет.

Потом, — продолжает Хайбула, — к нам приехал Аварский театр. Я узнал, что артисты остановились отдохнуть внизу, у речки, и побежал туда. Они попросили принести яблок. Я принес. Яблоки были кислые. Они ели, морщились и при этом разговаривали и пересмеивались со своими женщинами. Это меня поразило: в ауле мужчина не станет попросту разговаривать с женщиной, тем более смеяться вместе с ней. Вечером артисты поднялись в аул и дали концерт. Под сцену задрапировали крышу сакли. Сельсовет велел всем мальчишкам, когда они пойдут на концерт, принести по одному полону. Зажгли два костра по бокам, они освещали сцену (электричест-

во в ауле будет, когда пустят Чиркейскую ГЭС). Артисты показались мне совершенно необыкновенными людьми. Я спрашивал у взрослых: как становятся артистом? Мне отвечали: это берут подкидышей, сирот и с самого детства обучают их всяким штукам. Убивают они друг друга в кино по-настоящему. Плакать по ним некому. Живут они отдельно от людей. Меня не обманывали: говорили, как думали. Был момент, когда я пожалел, что я не сирота. В ауле была только начальная школа. Потом я учился в другом ауле. А старшие классы школы заканчивал в Кахибе. Участвовал в художественной самодеятельности: драматической и танцевальной. Лезгинку я умел танцевать, сколько себя помню. В Кахиб часто приезжал Аварский театр. Я смотрел все спектакли, видел «Отелло». Я уже знал, что артисты — люди, как все. Но с родителями бесполезно было говорить о том, чтобы мне позволили идти в актеры. Совсем недавно я помог своему односельчанину поступить в аварскую студию при Киевском институте. С тех пор для его родителей я враг.

А со мной было так, — заканчивает Хайбула. — После десятилетки я поехал в Махачкалу и подал документы в университет на исторический факультет. Это было в 1960 году. И вдруг читаю в газете объявление о наборе в аварскую актерскую студию при Тбилисском театральном институте. Я долго колебался, потом, никого не спросив, забрал документы и подал их в студию. Меня приняли. Руководили нашим курсом Антон Ясонович Товзарашвили и Александр Ильич Микеладзе. В 1964 году я окончил актерский факультет. Кому-то из нашей студии нужно было стать режиссером. Педагоги остановились на мне. Меня приняли на 3-й курс режиссерского факультета, которым руководил Михаил Иванович Туманишвили.

— Хайбула, почему для дипломного спектакля ты выбрал именно «Горцев»?

— Мне советовали взять пьесу полегче. Но аварцы говорят: лучше падать с коня, чем с ишака. В «Горцах» я почувствовал дыхание гор, хотя автор этой пьесы — русский драматург Роман Фатиев, участник гражданской войны в Дагестане. Мне хотелось показать, как начал рушиться дух вражды и недоверия человека к человеку, возвращенный адатом — обычаем предков. Среди них самый жестокий обычай — кровная месть. Она длилась десятилетиями, переходила от поколения к поколению, пока не погибли оба враждующих рода. Вот 84-летний Тапа Хартум. «Я жду того дня, — говорит он, — когда будет истреблен весь род моих кровников. Тогда я пойду на могилу брата и скажу: спи спокойно, ты отмщен». Посылая в горы своего сына найти и убить Айгази — своего кровника, — он напутствует: «Дверь в родную саклю тебе откроет только кровь Айгази». И этот глубокий старик усомнился в верности законов адата. В ауле появляется первый русский, большевик. Его встречают недоверчиво: русский — значит, враг. Но оказалось, что это не так. Вместо отчуждения — солидарность и дружба. Театр может делать людей лучше, доброжелательней друг к другу. Это для меня главное в театре. Я даже футбол не люблю, потому что трибуны раскалываются на два враждебных лагеря. Я ненавижу вражду, основанную на том, что эти свои, а те чужие. Ненавижу национальную рознь. Когда я покидал институт, Михаил Иванович Туманишвили подарил мне свою фотокарточку с надписью: «Главное — будь человеком». А быть человеком для меня означает — быть честным перед самим собой, перед своей совестью. И этому тоже должен учить театр.

Интервью вел Е. ЗАХАРОВ.

САМАЯ ДРЕВНЯЯ И САМАЯ МОЛОДАЯ

В советской и иностранной печати теперь немало пишут об ансамблях грузинского искусства. Но, помимо этих широко известных танцевальных, хороших, драматических коллективов Грузии, уже получивших большую известность и дома и за рубежом, есть у нас в республике великолепные ансамбли, о которых мало кто знает, кроме специалистов, но которые в своей сфере приносят не меньше победы, чем наши певцы, танцоры, артисты и спортсмены.

Я говорю о семьях знаменитой грузинской серой горной пчелы, которая сейчас широко распространялась и по нашей советской земле и по многим странам земного шара, неизменно вызывая признание и восторг пчеловодов. Не будет, пожалуй, преувеличением сказать, что слава грузинской пчелы, в особенности в последние годы, растет, как снежный ком, сорвавшийся с горной вершины в теплый весенний день.

Порода грузинских пчел — одна из самых древних в мире. Условия Грузии, ее холмистый рельеф, ее ущелья, обилие разнообразной медоносной альпийской растительности, разные сроки ее цветения содействовали появлению большого количества трудолюбивых пчел еще в древние времена. С другой стороны, наша изменчивая погода летом и осенью, глубокое залегание нектара в цветах — все это выработало у грузинских пчел ценнейшие, непревзойденные качества, сделало их породу единственной в своем роде.

У грузинской пчелы-труженицы, так сказать, хороший производственный инструмент. Ее



Золотая медаль, присужденная грузинским пчелам.

длинный хоботок, достигающий семи с лишним миллиметров, позволяет ей добывать нектар, а следовательно, и опылять с успехом энтомофильные культуры, даже такую, как красный клевер.

Не избалованная природными условиями, она хорошо переносит жару и холод и продолжает активно работать даже при низких температурах. Она необыкновенно трудолюбива. Утром вылетает раньше, а вечером возвращается в улей позже пчел других пород. Все эти качества делают ее высокопродуктивной.

Семьи грузинских пчел, представленные на международных выставках, неоднократно награждались медалями. Международный конгресс пчеловодов, работавший в Бухаресте, единодушно присудил грузинской пчеле Золотую медаль.

При всех этих добрых качествах грузинская пчела славится и еще одним, делающим ее просто уникальной: она исключительно миролюбива и позволяет опытному человеку работать без сетки.

Сейчас наши грузинские пчелы завоевали заслуженный авторитет не только на пасеках республик Советского Союза, но и далеко за их пределами. Они летают во Франции, Италии, Швейцарии, Англии, Греции, в Китае, в Аргентине, на далекой Кубе, в Марокко, Ливии, Индии, США, не говоря уже о наших соседних братских странах — таких, как Чехословакия, Венгрия, Румыния, в странах, где наши пчелы давно уже акклиматизировались и стали своими. Столь широкое расселение грузинских пчел, происшедшее в последние годы, говорит и еще об одном их добром качестве, а именно о способности быстро приспособляться к самым разным климатическим условиям и умело осваивать новые, необычные для них кормовые базы.

Недавно в адрес ЦК Коммунистической партии Грузии и Министерства сельского хозяйства республики поступила такая телеграмма:

«Жюри Международного юбилейного конкурса пчеловодства присудило Золотую медаль серым горным грузинским пчелам, представленным на конкурс. Поздравляем Центральный Комитет партии и Министерство сельского хозяйства Грузии с высокой наградой и выражаем твердую уверенность, что руководители республики сделают все возможное для дальнейшего совершенствования удивительной грузинской пчелы, представляющей мировую ценность».



Наш автор — известный грузинский пчеловод
Варлам Бадзагуа.

Телеграмму подписал президент Международной федерации пчеловодных объединений профессор Харнаж.

Я рад был рассказать читателям журнала «Юность» об успехах скромных и незаметных грузинских тружениц-пчел, ансамбли которых имеют за пределами нашей Родины успех не меньший, чем ансамбли танцев, пения и других видов искусства.

Варлам БАДЗАГУА,
Герой Социалистического Труда

ПРОЦЕСС ПАЛАЧЕЙ БАБЬЕГО ЯРА

Западная Германия. Дармштадт. Матильденплац, 13. Серое здание ландгерихта — земельного суда. Небольшой зал, в котором для публики отведено всего мест двадцать. Начиная со второго октября 1967 года каждый понедельник и вторник здесь совершается ставший привычным ритуал. Ровно в 8 часов утра полицейские вводят пятерых подсудимых. Они занимают места слева от судейского стола. Справа рассаживаются еще шестеро подсудимых, которых суд не счел нужным содержать под стражей.

Они живут у себя дома, в разных городах Федеративной республики, и еженедельно приезжают, словно в командировку, на два дня на суд в Дармштадт.

Перед одиннадцатью подсудимыми располагаются двадцать два адвоката — дело, стало быть, серьезное...

Появляются прокуроры Узе и Фогель, входят пять судей и десять присяжных заседателей.

Председатель Винцент Паке открывает заседание... 29 апреля, в отличие от обычных дней, маленький зал набит до отказа. Га-

зеты сообщили, что сегодня должна выступить свидетельница из Советского Союза. Действительно, Паке приглашает из свидетельской комнаты Дину Проничеву, из Киева.

Да, да, Дину Мироновну Проничеву — ту самую, которая чудом спаслась во время боины, устроенной гитлеровцами в Киеве в 1941 году, и о судьбе которой рассказал писатель Анатолий Кузнецов в романе-документе «Бабий Яр», напечатанном в «Юности». Героиня документального повествования свидетельствует против своих палачей. Дело в том, что почтенные с виду буржуа, сидящие на скамье подсудимых, в сентябре 1941 года зверски убили в Бабьем Яре де-

сятки тысяч ни в чем не повинных, незащитных людей. При Гитлере эти убийцы послали черные эсэсовские мундиры и служили в зондеркоманде СС 4-а — одном из отрядов, «очищавших» тылы вермахта. «Очистка» заключалась в физическом истреблении на временно оккупированных советских территориях всех «коммунистических» функционеров, азиатски неполноценных субъектов, евреев и цыган.

...Из свидетельской комнаты выходит среднего роста, немолодая женщина.

Судья предлагает ей дать показания о преступлениях зондеркоманды 4-а.

— До начала моего выступления я прошу разрешения сказать несколько слов, — обращается к судьям советская свидетельница. — Я хотела бы, чтобы меня правильно поняли. Я не питаю зла к немецкому народу и приехала сюда не для того, чтобы мстить за причиненные мне боль и страдания... Я приехала, чтобы рассказать правду о Бабьем Яре...

Дина Мироновна обстоятельно рассказывает о том, что произошло в Киеве 29 и 30 сентября 1941 года.

Когда она прочла плакат германской комендатуры, приказывающий всем евреям явиться на сборный пункт, то, как и тысячи других, поверила, что состоится эвакуация евреев. Но то, что она увидела, было ужасно. Громадную толпу людей гнали по направлению к Бабьему Яру, по дороге яростно избивали палками, натравливали собак. Обессиленных топтали ногами. Около края оврага заставляли раздеваться донага, грубо толкали вниз. Потом раздавались автоматные очереди. А поток людей все не кончался и не кончался...

Те, кто читал документальный роман «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, помнят, сколько страшных часов пережила тогда Дина Проничева, — когда, оцепенев, следила за бойней в яре: там были ее родные, — когда везли ее на расстрел, когда, считая мертвой, закапывали вместе с трупами.

Был момент, когда, рассказывая обо всем этом, она не выдержала. Ей стало плохо. Заседание суда прервали. Пока Дине Мироновне оказывалась помощь, к ней подходили люди из зала суда. Они говорили о своем глубоком возмущении, которое испытывали,

когда слушали ее искренний рассказ о злодеяниях садистов-убийц.

Успокоившись, Проничева продолжала свои показания. Ее выступление заняло почти четыре часа. Зал слушал, затаив дыхание. Только лица подсудимых оставались безразличными.

Когда Дина Мироновна перешла к рассказу об убийствах, которые совершались в Бабьем Яре в последующие годы, адвокаты прервали ее показания, сославшись на то, что это не относится к теме процесса.

Так прошел один из центральных дней на процессе, который западногерманская юстиция скромно именует делом зондеркоманды СС 4-а.

Данные обвинительного заключения подтверждают содержание повести Анатолия Кузнецова и дополняют его именами и фактами, о которых автор книги не мог знать. Сводятся они к следующему.

Зондеркоманда 4-а шла за 6-й германской армией. Первые преступления она совершила на Западной Украине. В маленьком городке Сокале 28 июня 1941 года было расстреляно 117 мирных жителей, заподозренных в том, что они коммунисты. Потом начальник зондеркоманды штандартенфюрер (полковник) Пауль Блобель аккуратно рапортовал: в Луцке «ликвидировано» 1160, в Житомире — 3145. Команда убийц оставила свой смертоносный след во Львове, Ровно, Радомышле, Белой Церкви.

Убийцы выслуживались перед начальством. Когда в Житомире потребовалось проверить годность партии боеприпасов для стрелкового оружия, хауптштурмфюрер (капитан) Кальсен предложил провести проверку на живых мишенях: выхватил для этого наугад из ближайшего лагеря для военнопленных первых попавшихся одиннадцать советских солдат. Боеприпасы оказались доброкачественными, а хауптштурмфюрера начальство похвалило за находчивость.

Преступления зондеркоманды достигли апогея в столице Украины. Авангард зондеркоманды 4-а ворвался в Киев в сентябре 1941 года сразу же вслед за частями вермахта. Командовали им оберштурмфюреры Янсен и Хеффнер. Они немедленно принялись за «работу». Уже 24 сентября по городу расклеили 2 тысячи плакатов с приказом коменданта генерал-майора Эберхарда, предлагавшим под угрозой расстрела всем евреям явиться на сборный пункт.

Со свойственным гитлеровцам коварством они одновременно распустили слух, что евреев переселят, что жизни их ничто не угрожает.

«Военная хитрость» удалась. Вот что значится в Донесении № 128 Имперского главного управления безопасности:

«Хотя первоначально рассчитывали на явку не более 5 000—6 000 евреев, прибыло свыше 30 000 евреев, которые благодаря исключительно ловкой организации вплоть до экзекуции еще верили в переселение».

Впоследствии Блобель рапортовал: в Киеве с утра 29 сентября до вечера 30 сентября 1941 года казнено 33 771 человек. Золото, ценные вещи и одежда изъятые.

Вечером 30 сентября появились немецкие саперы. Они подорвали края яры, земля осыпалась и прикрыла кучи трупов. Затем овраг кое-как заровняли.

В Бабьем Яре экзекуции продолжались и позднее, вплоть до 1943 года, но только не в таком массовом масштабе. В ходе этих экзекуций погибло очень много военнопленных.

Пройдя всю Украину, палачи летом 1942 года добрались до Калача-на-Дону. За год они истребили не менее 80 тысяч советских людей. Слово притаившиеся гены, эсэсовцы ждали в Калаче падения Сталинграда, чтобы ринуться на новые жертвы. Ожидание оказалось тщетным. Вместе с битым вермахтом зондеркоманда покатилась на запад, продолжая, однако, и на обратном пути «операции по очистке».

Когда пишутся эти строки, процесс в Дармштадте продолжается. Трудно предугадать, каков будет приговор. За свою жизнь преступники не беспокоятся. Шестеро из них к тому же пребывают на свободе. Им предъявлено обвинение только в содействии при убийстве — значит, грозит лишь незначительное наказание. Материалы процесса содержат доказательства участия в преступлениях ряда представителей командования вермахта, но ни один из них не привлечен к ответу. К тому же по принятому в ФРГ закону 31 декабря 1969 года истекает срок давности по всем, даже самым тяжелым преступлениям гитлеровцев.

Но разве можно забыть преступления палачей? Разве можно простить? Справедливость требует отмены закона о давности.

В. ХАРУТО,
В. РОЗЕН



Елена Семенова

НА САНЯХ С «РУССКИХ ГОР»

Этой зимой в нашей стране стартует санный спорт. Будет создана всесоюзная федерация. Состоятся соревнования среди школьников, первенства республик, областей, городов, чемпионаты спортивных обществ. Этой зимой, мы полагаем, наши спортсмены-саночники возьмут курс на трассы Олимпиад.

Наш корреспондент Елена Семенова побывала в начале года на первой санной трассе страны. Она рассказывает, что же это такое — санный спорт и как в окрестностях Ленинграда родилась самая первая санная секция.



Фото
Е. Волкова.

Никогда не думала, что буду ездить по ледяной стене, цирком вставшей в конце желоба. Холодно. И вообще-то мороз — под тридцать, а здесь еще тянет с озера — совсем холодно.

С этого озера месяц назад парни таскали воду и поливали желоб: от эстакады до ледяной стены. Но потом была оттепель, столь нередкая в Ленинграде и окрест него, и лед пропал. И я уже несколько дней жду, когда снова залиют желоб. Я должна по нему проехать. Должна сама ощутить скорость саней.

Парни посоветовали:

— Пока трасса не залита, пробегись по ней и сразу поймешь что к чему.

Пробежалась... Поняла... Пропала охота спускаться на санях. Страшновато. Попросту страшно. А как не спускаться — командировка! Надо спускаться!

Володя смотрит на меня испытующе. Ему-то к скорости не привыкать. Он мотогонщик и саночник. Это он, электромеханик Ленинградского морского порта Владимир Бирюков, организовал первую в стране секцию санного спорта. Было это несколько лет назад. Володя приехал на Финляндский вокзал, где по воскресеньям собираются джекисты, которых ленинградские горнолыжники величают не иначе, как «хулиганами кавголовских гор». Джек — это самодельные управляемые сани на одном полозе. Сидит джекист на этих санях верхом, с гиканьем и воем мчит вниз, путаясь под ногами у лыжников и оставляя на гладком, укатанном склоне глубокие борозды. Но как ни ругай джекиста, все же отчаянное это дело — съехать на таком вертком, неустойчивом сооружении с высокой горы. И мотогонщик Володя Бирюков подошел на Финляндском вокзале к джекистам и предложил им: не хотите ли попытать счастья в санном спорте? И шестьдесят джекистов сразу же записались в секцию.

Так вот, Володя смотрит на меня испытующе:

— Ну и?..

Пожала плечами. А что отвечать?

— То-то!.. Понимаешь, по методике надо пару неделек походить по снежному склону. Потом — по трассе, отрезками, ну хоть недельку каждый день. Затем привыкнешь к саням, к скорости, научишься как-то управлять... Ну и тогда!..

«Пару неделек... Еще недельку». А у меня командировка на «недельку». И уже два дня я здесь. Сани привезли только сегодня. Трасса не залита. Правда, с утра прибыла наконец для поливки трассы... ассенизационная машина, продралась сквозь лес по полному бездорожью, увязая в снежной целине. И вот теперь поливает... с позволения сказать. За четверть часа полила только эстакаду разгона. Володя нервничает, кричит водителю:

— Ну прибавь же давления!

Прошло полтора часа, а еще не залита и треть трассы. Парни терпеливо перемешивают капли воды со снегом и этим составом мажут желоб метр за метром. А их, этих метров, почти тысяча. Но саночники привыкли упорствовать.

Трасса. Желоб длиной почти в километр, глубиной в полметра, шириной в полтора-два метра прокопали вручную. Вдоль всего желоба лежат огромные валуны. Прежде они лежали на его пути. Их тоже убирали вручную. Вирази строили, как дом, — складывали, укрепляли, чтобы стояли они под напором скорости, не рушились. И финишный цирк — полукруглую стену — тоже надо было сделать так, чтобы она не рухнула под напором скорости, собранной на всем протяжении километровой желоба.

Работали все лето — каждую пятницу, субботу, воскресенье. Иногда и в понедельник — «за свой

счет». И создали трассу, отвечающую международным требованиям, тем описаниям, которые прислал ленинградцам президент Федерации санного спорта ГДР, он же председатель технической комиссии Международной федерации санного спорта и бобслея Эрхард Фойерайс.

Сани. Чертежей не было. Делали сани по фотографии, на которой был изображен около своих саней олимпийский чемпион Томас Келер. За единицу измерения был принят нос Келера. Измерили его нос и по количеству носов, «уложившихся» в санях, определили их длину, ширину и т. д.

Напомню, в самом начале в секцию санного спорта записалось шестьдесят человек. Но далеко не у всех хватило нужного терпения, упорства. Хорошо это или плохо, но спустя два года в секции осталось двадцать человек. Это студентки Тамара Кукушкина и Ира Сивявина, школьник Саша Иванов, слесарь, он же студент-заочник, Коля Ковалев, радиомонтажник Михаил Федоров, военнослужащий Сергей Автономов, токарь Саша Самохвалов, студенты Клим Таткер и Виктор Богданов и другие.

А в тот день, несмотря на упорство саночников, трассу залить не удалось. Мы уезжали из леса в полной тьме. Решили попытаться счастья иначе — попросить в совхозе пожарную машину, ведь она подает воду под очень большим давлением. Вот уж поистине лед и пламень. И на другой день, в воскресенье, к вечеру с ее помощью трасса была залита. В воскресенье же вечером последним автобусом парни уезжали из Коробицына в Ленинград.

Тщательно укладывали рюкзаки, увязывали сани.

— Оставьте хоть одни, — просила я.

— Ну так что, оставим сани? А? — спрашивал Бирюков.

Если они не оставят сани, моя командировка теряет смысл. А ребята молчат.

— Саша, оставь свои сани, слышь? — твердо говорит Бирюков.

— Понимаешь...

— Ничего, ничего!.. А ты не расшибешься?

— Нет, — обещаю, — я потихоньку.

— Смотри. Мне попадет... Саша, слышь?..

Саше Иванову жалко сани. Мне тоже было бы

жалко. Я б, наверное, никому их не дала. А Саша дал мне сани.

— Только никому не давайте, хорошо? — с нескрываемой мольбой попросил он.

— Конечно! Я их спрячу под кровать.

Хотя кому их было давать, от кого прятать? Уехали саночники, и никого на базе не осталось. Оглушительно тихо в старой избе. Анастасия Фидиппова — тетя Настя, хранительница этой нехитрой зимней базы общества «Урожай», разожгла печь, принесла ведро снега, будем пить чай. А завтра утром я возьму Сашины сани и пойду на трассу.

И вот это утро. И вот я иду на трассу. Тащу сани



На верхнем снимке: Вот так, на эстакаде, принимается старт.

Внизу: Саша Иванов на санной трассе — тот самый Саша, который дал мне свои сани.

Фото
Е. Волкова.



за веревку. На их плетеном сиденье лежат мои горные ботинки и Сашина каска — белая с черным котом. Сворачиваю в лес и иду по колею, оставленной колесами сперва ассенизационной, потом пожарной машины. Иду не торопясь, собираюсь с мыслями и духом. Путь довольно долгий.

Эстакада разгона, на которой спортсмен-саночник получает изначальную скорость? Ерунда. Похожа на деревянную горку, которую строят во дворах детских садов. Ну, повыше, покруче.

Страшно? Глупости! Посчитаю ступени на эстакаде — и все. Никакого страха. Надеваю горные ботинки. Затягиваю ремень каски на подбородке. Кладу на плечи сани. Считаю ступени, ведущие наверх.

Ступеней оказалось тридцать шесть. Наверху — скамейка под навесом из еловых веток, для судей. В лесу безветренно. Из Коробицына доносится собачий лай.

Желоб теперь темный, ледяной. В нем отражаются солнечные блики. Лед неровный, не то что на катке, но все же лед.

Максимальная скорость на санной трассе — это тридцать километров в час. Обычная — около ста. Скорость, объяснил мне Володя, зависит от положения спортсмена в санях. Если он лежит, улучшается его аэродинамика и увеличивается скорость. Но управлять санями лежа умеют лишь такие знаменитости, как Томас Келер или Ежи Войнар, а большинство спортсменов располагается в санях полужелеза.

А как поеду я? Какой будет моя скорость? Хотелось, чтоб поменьше...

Ставлю сани на край эстакады. Беру, как учил меня Бирюков, веревку в зубы, обнимаю ногами полозья, осторожно отталкиваюсь руками от бортов, и... сани мои пляшут от борта до борта, и кажется, вылечу я в ту березу или в ту сосну... Добрым словом поминаю каску... Болтает меня по эстакаде, болтает, но наконец выносит в желоб, втыкает в его стену. Пропарываю собой всю толщу льда и снега и лечу прочь с саней. Вот тебе и детская горка!

Семь раз меня трепало по эстакаде, хотя я старалась делать как можно меньше лишних движений и даже почти их не делала. И только на восьмой раз мои сани оставили более или менее ровный след. Но опять слишком грубо я перекладывала веревку из зубов в ладонь, слишком судорожно хваталась за ручку позади себя. И снова сани становились поперек желоба.

Наконец, после девятого старта, меня удачно вынесло в желоб.

Скорость возникла сразу. Из-под стальных, раскосых полозьев саней полетело ледяное грошево. Хлещет по лицу, глазам. Ничего не вижу. Конечно, следовало надеть очки...

Не вижу, но чувствую — меня резко выносит на крутой вираж. Прижимает к саням. Это «папуля». У каждого виража есть имя. Вышвыривает дальше вперед, вниз. Воздух крут и забивает ноздри. Наконец начинаю кое-что видеть. Совсем близко S-образный вираж. Этот сейчас кинет с одной ледяной стены на другую. Начинаю постигать, откуда берется скорость на санной трассе. Виражи-то надо проходить осмысленно, вписываться в них. А меня втыкает в одну стенку, швыряет на другую и дальше мотает по желобу от стены к стене.

Вспоминаю Володины советы — управлять можно ногами и телом. Лучше ногами для начала. Они лежат впереди, обхватив верхнюю, переднюю часть гибких полозьев. Надо мягко, а не резко надавить на

полоз правой ногой, и сани повернут налево. И наоборот.

Пытаюсь избавиться от неуправляемости, мягко даваю на правый полоз — тогда, полагаю, впишу свой путь в путь желоба, уходящего влево. И меня едва не разворачивает спиной вперед, едва не вышвыривает прочь. С трудом удерживаюсь в санях и продолжаю путь по воле божьей. Но уж теперь меня колотит о стенки желоба беспрестанно. Пятками, защищенными непробиваемыми горными ботинками, кое-как выравниваю свой спуск и теряю всякую скорость.

Но опять набираю ее на прямой... И опять пытаюсь управлять санями.

Предпоследний вираж — «полоска». Ну, попробуем вписаться? Попробовали!.. Выкинуло с виража, с трассы.

Эту «полоску» мне так и не удалось пройти, пыталась ли я управлять телом, тормозила ли пяткой, вела ли себя безучастно. И хотя после каждого спуска меня все меньше колотило о стенки желоба и я чувствовала себя все более управляемой, «полоска» неизменно выбрасывала меня из саней. Здесь я отрывалась, ставила сани в желоб и почти по прямой катилась к финишу — на высокую ледяную стену. И острые стальные полозья саней оставляли след на самом ее вершине.

К концу недели, вдоволь насытившись санными ощущениями, я спрятала Сашины сани под кровать Анастасии Филипповны и возвратилась в Москву.

«Катание с гор всегда было исконно русским народным занятием, — пишет олимпийский чемпион Томас Келер. — Отдавая дань истории, во многих странах и сейчас говорят: катание на санях с «русских гор».

Странно до сей поры получалось: в Испании, Италии и даже в Ливане санный спорт был признан, а в снежной России — на его родине — о санном спорте забыли. И наконец только в Гренобле, где ценилась каждая медаль и победа в спуске по ледяному желобу была не менее дорога, чем победа на хоккейном поле, наши спортивные руководители решили всячески поддерживать и культивировать санный спорт. Вскоре после этого под Ленинградом, возле села Коробицыно, на трассе, которая стала уже и моей, были проведены знаменательные соревнования. Володя Бирюков и его сподвижники (иначе их не назовешь) принимали саночников Прибалтики. И эти соревнования можно назвать днем рождения санного спорта в нашей стране.

Наши журналисты, побывавшие в Гренобле, тщетно пытались увидеть гонки саночников — трасса все время таила, соревнования без конца отменялись, переносились. Я не была в Гренобле, но однажды ночью между периодами олимпийского хоккейного матча показывали кинохронику. И вдруг — сани! Спортсменка — в темном чреве ледяного желоба... Сани стремительно мчатся вниз. Вираж!.. Прошла. А дальше... Дальше сани заматались от стены к стене... Ну да, знакомо, не удалось вписаться. Спортсменка пытается выправить спуск... Перестаралась! Сани встали поперек желоба, перевернулись. Похоже, честное слово, все это было так похоже на мои метания по желобу. Только скорость — совсем иная. Куда больше!

Да, нужно быть очень смелым, чтобы кататься на санях с «русских гор». Я решила на это лишь с отчаяния. Мне сказали в редакции: не проедешь по трассе — считай, что задание не выполнено.





Гр. Горин

«Внимание! Вы забыли набрать цифру «2»»

Рисунки И. Оффенгендена.

В июле все шестизначные номера телефонов Москвы были переведены на семизначные.

Егор Крюков этого не знал. Он приехал в Москву из деревни, чтобы повидать брата, погостить у него пару дней. Брату он решил позвонить прямо с вокзала. Но едва Егор повернул телефонный диск на букву «И», как в трубке послышался треск и ровный женский голос сказал:

— ВНИМАНИЕ! ВЫ ЗАБЫЛИ

НАБРАТЬ ЦИФРУ «2» ПЕРЕД НУЖНЫМ ВАМ ШЕСТИЗНАЧНЫМ НОМЕРОМ!

— Чего? — не понял Егор.

— ВНИМАНИЕ! — повторилось автоматически записанное объявление. — ВЫ ЗАБЫЛИ НАБРАТЬ ЦИФРУ «2» ПЕРЕД НУЖНЫМ ВАМ ШЕСТИЗНАЧНЫМ НОМЕРОМ!

— Это в каком смысле? — снова не понял Егор. — Я ничего не забыл. Я брату звоню...

— ВНИМАНИЕ! ВЫ ЗАБЫЛИ НАБРАТЬ ЦИФРУ «2» ПЕРЕД НУЖНЫМ ВАМ ШЕСТИЗНАЧНЫМ НОМЕРОМ!

— Во заладила, — усмехнулся Егор. — Ты по-человечески объясни: чего сделать-то надо?

— ВНИМАНИЕ! ВЫ ЗАБЫЛИ НАБРАТЬ ЦИФРУ «2» ПЕРЕД НУЖНЫМ ВАМ ШЕСТИЗНАЧНЫМ НОМЕРОМ!

— А ну тебя! — рассердился Егор. — Бубнит, как попугай...

Он повесил трубку, взял такси и поехал к брату. Брата дома не было. Соседи сказали, что он с семьей уехал на юг отдыхать. Егор огорченно вздохнул, оставил у соседей чемодан и пошел в город. Несколько часов он шатался по магазинам, делая необходимые покупки, потом поехал на ВДНХ, посмотрел два-три павильона, потом зашел в ресторан, пообедал, выпил водки и загрустил. Знакомые у него в Москве не жили, поговорить было не с кем.

Егор вышел из ресторана, несколько минут постоял в раздумье и решительно направился к телефону-автомату. Набрал букву «И»...

— ВНИМАНИЕ! ВЫ ЗАБЫЛИ НАБРАТЬ ЦИФРУ «2» ПЕРЕД НУЖНЫМ ВАМ ШЕСТИЗНАЧНЫМ НОМЕРОМ!

— Алло! — нерешительно сказал Егор. — Это опять я звоню, Егор Крюков...

— ВНИМАНИЕ! ВЫ ЗАБЫЛИ НАБРАТЬ ЦИФРУ «2» ПЕРЕД НУЖНЫМ ВАМ ШЕСТИЗНАЧНЫМ НОМЕРОМ!

— Я ничего не забыл, — сказал Егор. — Я вам звоню.... Познакомиться хотел...

— ВНИМАНИЕ! ВЫ ЗАБЫЛИ НАБРАТЬ ЦИФРУ «2» ПЕРЕД НУЖНЫМ ВАМ ШЕСТИЗНАЧНЫМ НОМЕРОМ!

— Я к брату приехал, а он на юг смотался, — грустно сообщил Егор. — Во какая неудача!..

— ВНИМАНИЕ! ВЫ ЗАБЫЛИ НАБРАТЬ ЦИФРУ «2» ПЕРЕД НУЖНЫМ ВАМ ШЕСТИЗНАЧНЫМ НОМЕРОМ!

— Ну, ну, — усмехнулся Егор.

Я понимаю: работа есть работа... Я тоже, когда на работе, — ко мне не лезь! Так шугану!...

— ВНИМАНИЕ! ВЫ ЗАБЫЛИ НАБРАТЬ...

— Это хорошо, что ты гордая, — перебил Егор. — А у нас мужики зря болтают: мол, в Москве такие девицы, только пальцем помани... Врут все...

— ВНИМАНИЕ! ВЫ ЗАБЫЛИ НАБРАТЬ ЦИФРУ «2»...

— Я ведь не набиваюсь, — сказал Егор. — Просто поговорить приятно. Голос у вас красивый, ровный... Между прочим, я в Москву корзину яблок привез... Из нашего сада... Думал брату отдать... Может, хотите попробовать?..

— ВНИМАНИЕ! ВЫ ЗАБЫЛИ НАБРАТЬ ЦИФРУ «2» ПЕРЕД НУЖНЫМ ВАМ ШЕСТИЗНАЧНЫМ НОМЕРОМ!

Егор кричал так, что я, стоя у телефонной будки, все слышал.

— Послушай, друг, — сказал я, открыв дверь автомата. — Ты извини, что я вмешиваюсь, но дело в том, что там никого нет... Это автомат говорит, понимаешь?.. Магнитофонная пленка крутится...

— Ты зачем подслушиваешь? — сурово спросил меня Егор.

— Я не подслушиваю, — сказал я. — Ты сам громко разговариваешь! Но дело не в этом... Там нет никакой девушки... Это автомат с тобой разговаривает... Машина, понимаешь?

— Сам ты автомат! — сказал Егор.

— Да ты не обижайся! — сказал я. — Просто я твою жалую. Пойми, что это магнитофонная запись... И никакой девушки нет!

— Разберусь, не глупее вас! — снова рассердился Егор. — Отойди от телефона, не мешай человеку...

Я пожал плечами, отошел в сторону, закурил.

Прошло минут двадцать. Наконец Егор кончил говорить, улыбнулся, повесил трубку и вышел из автомата.

— Ну, как? — снисходительно спросил я. — Договорился?

— А как же! — спокойно сказал Егор. — Сегодня увидимся... на десять условились...

— То есть как? — опешил я.

— А вот так!

— Врешь!

— Не хочешь — не верь! — сказал Егор и пошел прочь.

Шел он уверенной, твердой походкой.

Глядя на его широкую спину, можно было верить, что этот человек всего в жизни добьется...

УБИЙЦА

Кирюша Лапенков, высокий худой мужчина, сидел в диетической столовой и обедал. Настроение у Кириуши было скверное. Мрачное было настроение.

Да и с чего, спрашивается, быть хорошему настроению у человека, имеющего гастрит, сидящего в душной столовой и поедающего обед за 43 копейки в составе: суп овощной протертый, тефтели паровые с картофельным пюре, кисель молочный? Какие мысли должна рождать в мозгу такая пища?

Грустные мысли. Протертые мысли. Паровые. Желеобразные. Бессолевые.

Но нет! Организм Лапенкова протестовал. И в тот момент, когда его желудок равнодушно принимал в своих стенах всю эту преснятину, мозг Кириуши вел активную, буйную деятельность. Мозг кипел. Он рождал острые, соленые мысли, мысли, пересыпанные перцем и одобренные аджикой, мысли шипящие и дымящиеся, как шашлык на шампуре.

Вот они, мысли Кириуши Лапенкова, в кратком изложении:

«1. Повар — сволочь! Протираешь овощи — протирай, но не до дыр!.. Сам, небось, харчо жрет!..»

2. Участковый врач — халтурщик! Раз нашел у человека гастрит, так лечи. А он, кроме диеты, ничего не прописывает. За что им, коновалам, только зарплату повысили?

3. Председатель месткома Точилин — прохиндей! Не дал путевку в Кисловодск. У вас, говорит, товарищ Лапенков, всего-навсего гастритик, а у нас есть товарищи с язвочкой. Мерзавец! На следующие выборы месткома не приду. В знак протеста!

4. Начальник отдела Корольков — убогий чинуша. И голос у него визгливый, как у бабы. «Вы почему, товарищ Лапенков, не отправили запрос в Керчь по поводу трансформаторов?..» «Потому что забыл!» «А зарплату вы получать не забываете?» У, зануда! Тебе бы мою зарплату!

5. Сосед по квартире Рубинин — подонек и извращенец. Каждую ночь у него музыка орет и женщины повизгивают. Оргии устраивает! И хоть бы раз пригласил, каналья!

6. Лето нынче ужасное. Жара, духота! Говорят, солнечная радиация усилилась. Полизеем все к чертовой бабушке!

7. Вообще народ как-то измельчал... Стал хлипкий и пузатый... Сегодня шел по улице — ни одной красивой девушки не встретил...

8. В футбол наши играть определенно не умеют. Распустить бы команды, а Лужники — огурцами засеять... Все же польза была бы...

9. По телевизору все время какую-то муру персдают... В комиссионку отнести его, что ли?

10. Эх, жизнь...»

На десятом пункте мысли Лапенкова приостановились в своем развитии. Но произошло это вовсе не потому, что этот пункт был наиболее ярким и всеобъемлющим. Просто Лапенков вдруг заметил, что сидящий рядом за столиком бородатый мужчина пристально его разглядывает. Кириуша этого не любил. Под чужим взглядом он терялся и нерничал. Поэтому, быстро дохлебав кисель, Лапенков встал и направился к выходу. Однако спиной он почувствовал, что бородач тоже поднялся и идет за ним.

Так они прошли вместе по улице шагов десять, и все время Лапенков чувствовал на своем затылке сверлящий взгляд бородача. Тогда Лапенков обернулся.

— Извиняюсь, — сказал бородач, — но дело в том, что меня, как художника, поразило ваше лицо... Это то, что я искал...

— В каком смысле? — растерянно спросил Лапенков.

— В прямом! — сказал бородач. — У вас выдающееся лицо... Низкий скошенный лоб, тяжелые надбровные дуги, острый нос, губы тонкие, нервные... А скулы какие? Ведь это черт знает какие скулы!..

— При чем здесь скулы? — начал нерничать Лапенков. — Что вы хотите, товарищ?

— Я хочу вас попросить позировать мне, — сказал художник. — Ваше лицо мне нужно для картины... Это не займет у вас много времени... Всего несколько сеансов... И я заплачу!

Приветливая улыбка на лице бородача и ласковое «заплачу» как-то успокоили Лапенкова. Он смутился и спросил:

— А кого ж вы хотите с меня рисовать?

— Убийцу! — сказал художник и улыбнулся.

Наступила пауза.

— То есть как это? — наконец осторожно спросил Лапенков. — Почему убийцу? С какой стати?

— Это не совсем убийца в обычном понимании этого слова, — продолжая улыбаться, сказал бородач. — Это браконьер. Понимаете, картина называется «Убийство». Композиционно она решается так: опушка леса, а на переднем плане — косуля и охотник. Нежная, трепетная косуля, обгаренная кровью, лежит на траве, а над ней склонился охотник. Браконьер с дымящимся ружьем. У него низкий скошенный лоб, тяжелые надбровные дуги. Тонкие нервные губы искривились в садистской усмешке...

— Не, не! — запротестовал Лапенков. — Я отказываюсь... Что вы, на самом-то деле?.. Я люблю животных... И потом, у меня семья, соседи...

— При чем здесь соседи? — поморщился художник. — А что касается животных, то именно из любви к ним я и взялся за это полотно. Я считаю охоту занятием аморальным! Моя картина будет публицистична от начала до конца. Это будет полотно-протест! Почему же вы отказываетесь мне помочь в этом благородном деле?

— Я не отказываюсь, — пробормотал Лапенков, — но как-то странно. Вы меня нарисуете, а что потом скажут?.. Лапенков — мерзавец, скажут...

— Ну зачем же так примитивно! — снова поморщился художник. — Картина не фотография, это все прекрасно понимают... А если кто и узнает вас в охотнике, то ничего, кроме уважения к вам, это не вызовет...

— Это почему же? — не понял Лапенков.

— Потому что не каждого рисуют, — сказал бородач. — Это, если хотите, большая честь... Неужели вы этого не понимаете?

— Подумать надо! — вздохнул Лапенков.

— Хорошо! — сказал художник. — Пойдемте ко мне домой... Это пятнадцать минут ходу... Вот вам и время на раздумье...

Он взял Лапенкова под руку и



повел по улице... Лапенков едва поспевал за ним. Приходилось семенить ногами и даже иногда подпрыгивать... Оттого и мысли в лапенковской голове были тоже какие-то семенящие и подпрыгивающие...

Вот они, мысли Кирюши Лапенкова, в кратком изложении:

«Откажусь! К черту!.. Почему?.. Потому!.. Зачем людей смешить? Почему смешить?.. Ну, не смешить — пугать?.. Зачем людей пугать?.. А чего их не пугать?!.. Пусть знают! с кем! имеют! дело! Они все думают, что у меня лицо как лицо! Тьфу, лицо!.. А у меня лоб скошенный!.. Ага, задрожите, голубчики! И Точилин! И Корольков! И Рубинин!.. И все! С таким лицом шутки плохи!.. Попробуй! обиди! а! я! с! ружьем! на картину!.. Над косулей!.. Ничего! Они не дураки! Сегодня над косулей — завтра над тобой!.. Попробуй обхами! Попробуй не дай путевку!.. Картина-протест!.. Смотрите, люди, до чего довели человека!.. Всех на выставку свою — звериный лик свой покажу!.. Да и самому на себя со стороны посмотреть интересно. Роковой мужчина!.. Девуцы! будут! замирать! от! страха! и! любить!.. Эх!..»

— Пришли! — сказал художник, остановившись перед подъездом большого кирпичного дома. — Ну как, согласны?

— Согласен! — выдохнул Лапенков.

— Я так и подумал, — сказал художник. — Прошу вас...

Квартира у художника оказалась огромная и светлая. Три комнаты, через котские прошел

Лапенков, были уставлены красивой старинной мебелью и книжными полками. С потолков свешивались огромные люстры с множеством стеклянных подвесок. Было очень уютно и, главное, прохладно.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал художник.

Кирюша робко сел и с удовольствием почувствовал спиной приятный холодок кожи.

— Коньяку выпьете? — спросил художник.

— Нельзя мне, — грустно сказал Лапенков. — Врачи...

— Плюйте на них, — сказал художник. — Мне тоже нельзя, а я принимаю понемножку, и ничего...

Он вышел в другую комнату и вскоре вернулся, везя перед собой маленький деревянный столик на колесиках. На столике стояли два больших бокала с каким-то желтым соком, блюдечко с нарезанным лимоном, коробка шоколадных конфет, маленькие бисквитики, большая темная бутылка с яркой наклейкой и две пустых пузатых рюмки.

Лапенков зачарованно смотрел на все эти прелести и, к своему удивлению, проглотил слюну, хотя ел совсем недавно.

— Пейте, не смущайтесь, — сказал художник, наливая рюмки. — Это «Камю». Отличнейший коньяк... А сейчас я включу музыку... Я, знаете, люблю работать под музыку... Особенно Легран вдохновляет... Вы не возражаете?

— Нет, что вы... Конечно, — смутился Лапенков.

Они выпили. Художник чуть-чуть пригубил, а Лапенков выпил всю рюмку коньяку и сок. Коньяк был крепкий, ароматный, сок — апельсиновый, холодный. Кирюше как-то сразу сделалось хорошо и радостно, тем более что он увидел, как художник вновь наполнил его рюмку.

— Курите, — сказал художник и положил на стол пачку сигарет в золотой обертке. — Это «Бенсон»... Я их очень люблю...

— Врачи запрещают, — робко сказал Лапенков, но потом обреченно махнул рукой и закурил. Сигареты были удивительно приятные и крепкие. От них закружилась голова.

— Ну вот, а теперь за работу, — сказал художник.

Он включил магнитофон, достал большой альбом и сел в кресло напротив Лапенкова.

Из динамиков, висевших на стенах, полилась музыка. Сам не понимая почему, Кирюша вдруг почувствовал в груди какое-то

блаженное томление. Он выпил вторую рюмку коньяку и уже сам налил себе третью.

«Вот дурак-то я!—подумал про себя Лапенков.—Еще отказывался... Хорошо-то как, господи!..»

Художник несколько минут внимательно смотрел на Лапенкова, потом неожиданно отложил блокнот, закурил, встал и прошелся по комнате.

— Послушайте, Лапенков,— наконец сказал он, глядя Кирюше

прямо в глаза,— что у вас случилось с лицом?

— А что?— удивился Лапенков и провел рукой по щекам.— Что случилось?

— У вас резко изменилось лицо,— сказал художник.— Черты, в общем, те же, а выражение совсем другое... Не то, что было там, в столовой...

— Не знаю,— сказал Кирюша.— Выпил потому что...

— Это я понимаю,— сказал художник.— Но мне-то необходимо именно то выражение... Жестокое, гневное и непреклонное... Вспомните, о чем вы думали там, в столовой...

— О разном думал,— тихо сказал Лапенков.— О людях, о жизни... Вообще, так сказать...

— У вас много неприятностей?

— Много,— вздохнул Лапенков.

— Очень хорошо,— сказал художник.— Тогда припомните все, о чем вы думали, всех своих врагов и попытайтесь расправиться с ними мысленно...

— То есть как? — не понял Лапенков.

— Убейте их... Мысленно! Представьте: вам дали ружье в руки, разрешили стрелять в кого хочешь... Ожесточайтесь!.. Давайте, давайте... Проведем этот психологический опыт... Ну?.. Закройте глаза и сосредоточьтесь...

Лапенков послушно закрыл глаза и стал думать.

Сначала мыслей никаких не было. Просто в голове было какое-то приятное кружение, а во всем теле сладкая ломота. Лапенков напрягся. Мелькнула мысль: выпить бы еще коньяку! Но это было не то. Потом снова мыслей не было. Потом наконец они появились. Это были удивительные мысли, тягучие и ароматные, пах-

нушие коньяком и сигаретами «Бенсон»...

Вот они, мысли Кирюши Лапенкова, в кратком изложении:

«Убью повара! Он сволочь! Впро-чем, по-че-му? Ну, суп плохо готовит! Ну, и что?.. Не нравится— не ешь. За что убивать? Лучше участкового доктора кокну!.. Он, бедняга, бегаёт целый день по вызовам, ночей недосыпает, а я его из ружья!.. Вот Точилина действительно стоит у-ко-ко-шить!.. Почему путевочку не даешь?! Потому что нет!.. Где он ее возьмет?.. Родит, что ли?.. А так он хороший человек, Точилин!.. И начальник отдела Корольков— тоже хо-ро-ший человек!.. Если и кричит, то за дело!.. Запрос в Керчь я ж действительно забыл отправить... Пусть живет на радость людям. Ох, какая музыка! Легран?.. Хороший человек Легран!.. Надо посоветовать соседу Рубину, пусть он эту музыку достанет... Хороший он парень, молодой, красивый... Его девушки любят... За что ж его убивать?.. Нет, я не на него злился... Я на лето злился!.. Жаркое лето! Радиации много!.. И ничего не много!.. В самый раз... Футболистов пострелять, что ли?.. Да их же тысячи! Патронов не наберешься... Да и как же без футбола? Одна радость... Почему одна?.. А телевизор вечером посмотреть, плохо что ли?.. «А я иду, шагаю по Москве, и я еще пройти смогу...» Это что, тоже Легран?.. Нет, это наша песня... Хорошая песня... Ой ты рожь вы-со-ка-я... Ой ты... хм... вт... бт... уа...»

Лапенков уснул. Ему приснился красивый сон. Будто он идет по красивому городу, навстречу идут красивые люди, а у него прошел гастрит. Лапенкову стало так хорошо, что он достал ружье и на радостях пальнул в воздух. Выстрел получился громкий, и Лапенков проснулся.

Несколько секунд он изумленно смотрел на бородатого человека, сидящего в кресле напротив и что-то рисовавшего в альбоме, а потом вспомнил, где он и что с ним.

— Послушайте, товарищ художник,— жалобно сказал Кирюша.— Не надо...

— Что не надо? — спросил художник, подняв голову.

— Не надо с меня убийцу,— сказал Лапенков.— Не подхожу я...—И, сам не зная почему, Лапенков вдруг всхлипнул.

— Да не волнуйтесь вы,— сказал художник и улыбнулся.— Не расстраивайтесь... Я рисую с вас кошулю...

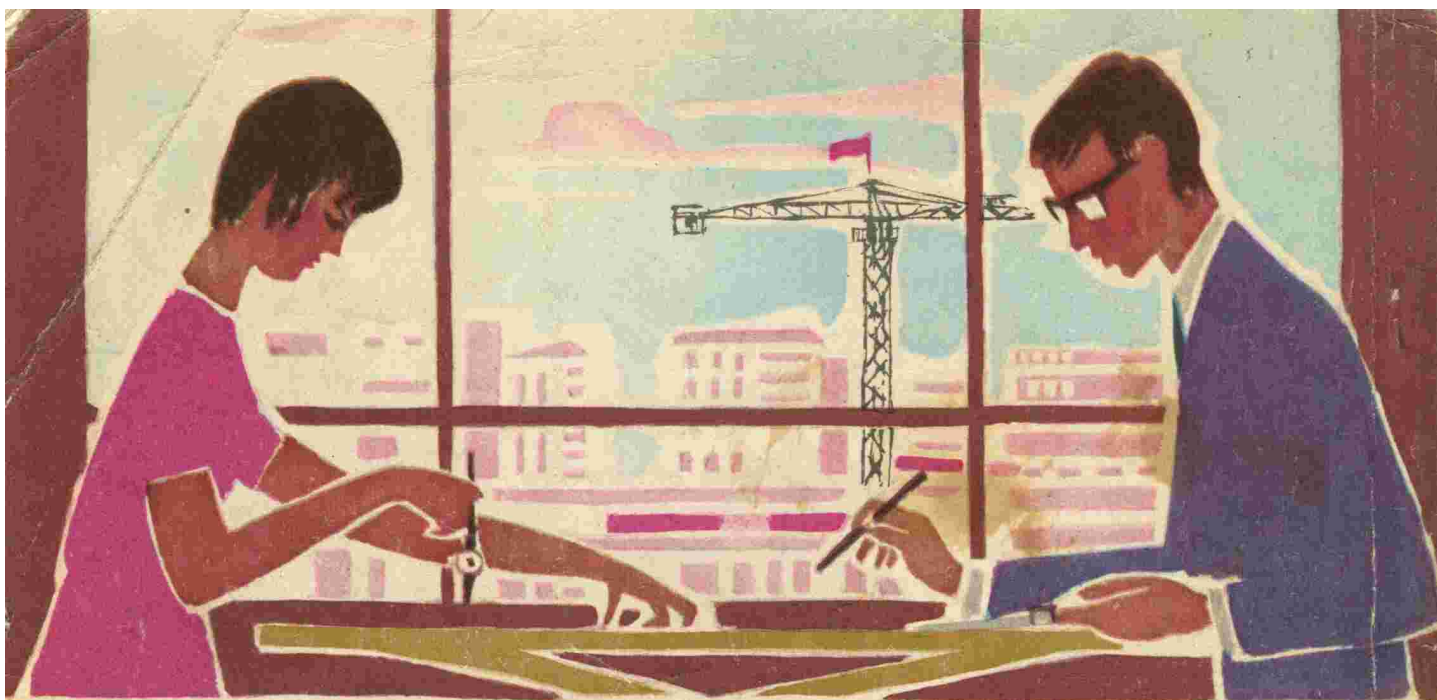




И. ОЧНАУРИ.

Пиросманишвили (Чеканка).

По залам выставки работ художников, удостоенных медалей Академии художеств СССР.



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ,
В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь),
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120